

Дорогой друг! Я хочу рассказать тебе о книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «По эту сторону рая». Читал ли ты ее? Если нет, то послушай меня. Почему-то, не знаю почему, но книга эта не стала популярна, как другие книги Фицджеральда, может быть, именно поэтому ты и не прочитал ее? Вот ты спрашиваешь, почему она не популярна, а знаешь, по-моему, ее просто никто не понимает. Помнишь замечательные слова Уайльда о том, что ненависть девятнадцатого века к реализму похожа на ненависть Калибана, увидевшего себя в зеркале? Вот и наш мир увидел себя в этой книге, как в зеркале, и разъярился. Это первое большое произведение, написанное Фицджеральдом. Он был молод, беспечен и потрясающе талантлив, поэтому первый свой роман он написал о себе, о своем времени и о месте человека в этой жизни. «Писать нужно для молодежи собственного поколения, которое придет на смену, и для профессоров всех поколений,» — слова самого Фицджеральда...

Френсис Скотт Фицджеральд

По эту сторону рая

...По эту сторону рая
Мудрость — опора плохая.

Руперт Брук.

Опытом люди называют свои ошибки.

Оскар Уайльд.

Книга первая: РОМАНТИЧЕСКИЙ ЭГОИСТ

Глава 1: ЭМОРИ, СЫН БЕАТРИСЫ

Эмори Блейн унаследовал от матери все, кроме тех нескольких трудно определимых черточек, благодаря которым он вообще чего-нибудь стоил. Его отец, человек бесхарактерный и безликий, с пристрастием к Байрону и с привычкой дремать над «Британской энциклопедией», разбогател в тридцать лет после смерти двух старших братьев, преуспевающих чикагских биржевиков, и, воодушевленный открытием, что к его услугам весь мир, поехал в Бар-Харбор, где познакомился с Беатрисой О'Хара. В результате Стивен Блейн получил возможность передать потомству свой рост — чуть ниже шести футов, и свою неспособность быстро принимать решения, каковые особенности и проявились в его сыне Эмори. Долгие годы он маячил где-то на заднем плане семейной жизни, безвольный человек с лицом, наполовину скрытым прямыми шелковистыми волосами, вечно поглощенный «заботами» о жене, вечно снедаемый сознанием, что он ее не понимает и не в

силах понять.

Зато Беатриса Блейн, вот это была женщина! Ее давнишние снимки — в отцовском поместье в Лейк-Джинева, штат Висконсин, или в Риме, у монастыря Святого Сердца — роскошная деталь воспитания, доступного в то время только дочерям очень богатых родителей, — запечатлели восхитительную тонкость ее черт, законченную изысканность и простоту ее туалетов. Да, это было блестящее воспитание, она провела юные годы в лучах Ренессанса, приобщилась к последним сплетням о всех старинных римских семействах, ее, как баснословно богатую юную американку, знали по имени кардинал Витори и королева Маргарита, не говоря уже о менее явных знаменитостях, о которых и услышать-то можно было, только обладая определенной культурой. В Англии она научилась предпочитать вино виски с содовой, а за зиму, проведенную в Вене, ее светская болтовня стала и разнообразнее и смелее. Словом, Беатрисе О'Хара досталось в удел воспитание, о каком в наши дни нельзя и помыслить; образование, измеряемое количеством людей и явлений, на которые следует взирать свысока или же с благоговением; культура, вмещающая все искусства и традиции, но ни единой идеи. Это было в самом конце той эпохи, когда великий садовник срезал с куста все мелкие неудавшиеся розы, чтобы вывести один безупречный цветок.

В каком-то промежутке между двумя захватывающими сезонами она вернулась в Америку, познакомилась со Стивеном Блейном и вышла за него замуж — просто потому, что немножко устала, немножко загрустила. Своего единственного ребенка она носила томительно скучную осень и зиму и произвела на свет весенним днем 1896 года.

В пять лет Эмори уже был для нее прелестным собеседником и товарищем. У него были каштановые волосы, большие красивые глаза, до которых ему предстояло дорасти, живой ум, воображение и вкус к нарядам. С трех до девяти лет он объездил с матерью всю страну в личном салон-вагоне ее отца — от Коронадо, где мать так скучала, что с ней случился нервный припадок в роскошном отеле, до Мехико-Сити, где она заразилась легкой формой чахотки. Это недомогание пришлось ей по вкусу, и впоследствии она, особенно после нескольких рюмок, любила пользоваться им как элементом атмосферы, которой себя окружала.

Таким образом, в то время как не столь удачливые богатые мальчики воевали с гувернантками на взморье в Ньюпорте, в то время как их шлепали и журили и читали им вслух «Дерзай и сделай» и «Фрэнка на Миссисипи», Эмори кусал безропотных малолетних рассыльных в отеле «Уолдорф», преодолевал врожденное отвращение к камерной и симфонической музыке и подвергался в высшей степени выборочному воспитанию матери.

— Эмори!

— Что, Беатриса? (Она сама захотела, чтобы он так странно ее называл.)

— Ты и не думай еще вставать, милый. Я всегда считала, что рано вставать вредно для нервов. Клотильда уже распорядилась, чтобы завтрак принесли тебе в номер.

— Ладно.

— Я сегодня чувствую себя очень старой, Эмори, — вздыхала она, и лицо ее застывало в страдании, подобно прекрасной камее, голос искусно замирал и повышался, а руки взлетали выразительно, как у Сары Бернар. — Нервы у меня вконец издерганы. Завтра мы уедем из этого ужасного города, поищем где-нибудь солнца.

Сквозь спутанные волосы Эмори поглядывал на мать своими пронизательными зелеными глазами. Он уже тогда не обольщался на ее счет.

— Эмори!

— Ну что?

— Тебе необходимо принять горячую ванну — как можно горячее, как сможешь терпеть, и дать отдых нервам. Если хочешь, можешь взять в ванну книжку.

Ему еще не было десяти, когда она пичкала его фрагментами из «Fetes galantes» 1 Дебюсси; в одиннадцать лет он бойко, хотя и с чужих слов, рассуждал о Брамсе, Моцарте и Бетховене. Как-то раз, когда его оставили одного в отеле, он отведал абрикосового ликера, которым поддерживала себя мать, и, найдя его вкусным, быстро опьянел. Сначала было весело, но на радостях он попробовал и закурить, что вызвало вульгарную, самую плебейскую реакцию.

Этот случай привел Беатрису в ужас, однако же втайне и позабавил ее, и она, как выразилось бы следующее поколение, включила его в свой репертуар.

— Этот мой сынишка, — сообщила она однажды при нем целому сборищу женщин, внимавших ей со страхом и восхищением, — абсолютно все понимает и вообще очарователен, но вот здоровье у него слабое... У нас ведь у всех слабое здоровье. — Ее рука сверкнула белизной на фоне красивой груди, а потом, понизив голос до шепота, она рассказала про ликер. Гости смеялись, потому что рассказывала она отлично, но несколько буфетов было в тот вечер заперто на ключ от возможных поползновений маленьких Бобби и Бетти...

Семейные паломничества неизменно совершались с помпой: две горничные, салон-вагон (или мистер Блейн, когда он оказывался под рукой), и очень часто — врач. Когда Эмори болел коклюшем, четыре специалиста, рассевшись вокруг его кровати, бросали друг на друга злобные взгляды; когда он подхватил скарлатину, число служащих, включая врачей и сиделок, достигло четырнадцати. Но несмотря на это, он все же выздоровел.

Имя Блейн не было связано ни с одним из больших городов. Они были известны как Блейны из Лейк-Джинева; взамен друзей им вполне хватало многочисленной родни, и они пользовались весом везде — от Пасадены до мыса Код. Но Беатриса все больше и больше тяготела к новым знакомствам, потому что некоторые свои рассказы, как, например, о постепенной эволюции своего организма или о жизни за границей, ей через определенные промежутки времени требовалось повторять. Согласно Фрейду, от этих тем, как от навязчивых снов, нужно было избавляться, чтобы не дать им завладеть ею и подточить ее нервы. Но к американкам, особенно к кочевому племени уроженков Запада, она относилась критически.

— Их невозможно слушать, милый, — объясняла она сыну. — Они говорят не как на Юге и не как в Бостоне, их говор ни с какой местностью не связан, просто какой-то акцент... — Начиналась игра фантазии. — Они откапывают какой-нибудь обветшалый лондонский акцент, давно оставшийся не у дел, — надо же кому-то его приютить. Говорят, как английский дворецкий, который несколько лет прослужил в оперной труппе в Чикаго. — Дальше шло уже почти непонятное. — Наверно... период в жизни каждой женщины с Запада... чувствует, что ее муж достаточно богат, чтобы ей уже можно было обзавестись акцентом... они пытаются пустить мне пыль в глаза, мне...

Собственное тело представлялось ей клубком всевозможных болезней, однако свою душу она тоже считала больной, а значит — очень важной частью себя. Когда-то она была католичкой, но, обнаружив, что священники слушают ее гораздо внимательнее, когда она готова либо вот-вот извериться в матери-церкви, либо вновь обрести веру в нее, — удерживалась на неотразимо шаткой позиции. Порой она сетовала на буржуазность католического духовенства в Америке и утверждала, что, доведись ей жить под сенью старинных европейских соборов, ее душа по-прежнему горела бы тонким язычком пламени на могущественном престоле Рима. В общем, священники были, после врачей, ее любимой забавой.

— Ах, епископ Уинстон, — заявляла она, — я вовсе не хочу говорить о себе. Воображаю, сколько истеричек толпится с просьбами у вашего порога, зная, какой вы симпатиком... — Потом, после паузы, заполненной репликой священника: — Но у меня, как ни странно, совсем иные заботы.

Только тем священнослужителям, что носили сан не ниже епископского, она поверяла историю своего клерикального романа. Давным-давно, только что вернувшись на родину, она встретила в Ашвилле молодого человека суинберновско-языческого толка, чьи страстные поцелуи и недвусмысленные речи не оставили ее равнодушной. Они обсудили все «за» и «против» как интеллигентные влюбленные, без тени сентиментальности, и в конце концов она решила выйти замуж в соответствии со своим общественным положением, а он пережил духовный кризис, принял католичество и теперь звался монсеньер Дарси.

— А знаете, миссис Блейн, он ведь и сейчас еще интереснейший человек, можно сказать — правая рука кардинала.

— Когда-нибудь, я уверена, Эмори обратится к нему за советом, — лепетала красавица, — и монсеньер Дарси поймет его, как понимал меня.

К тринадцати годам Эмори сильно вытянулся и стал еще больше похож на свою мать — ирландку. Время от времени он занимался с учителями, — считалось, что в каждом новом городе он должен «продолжать с того места, где остановился». Но поскольку ни одному учителю не удалось выяснить, где именно он остановился, голова его еще не была сверх меры забита знаниями. Трудно сказать, что бы из него получилось, если бы такая жизнь тянулась еще несколько лет. Но через четыре часа после того, как они с матерью отплыли в Италию, у него обнаружился запущенный аппендицит — скорее всего, от частых завтраков и обедов в постели, — и в результате отчаянных телеграмм в Европу и в Америку, к великому изумлению пассажиров, огромный пароход повернул обратно к Нью-Йорку, и Эмори был высажен на мол. Согласитесь, что это было великолепно, если и не слишком разумно.

После операции у Беатрисы был нервный срыв, подозрительно смахивающий на белую горячку, и Эмори на два года оставили в Миннеаполисе у дяди с теткой. И там его застигла, можно сказать, врасплох грубая, вульгарная цивилизация американского Запада.

ЭПИЗОД С ПОЦЕЛУЕМ

Он читал, презрительно кривя губы:

«Мы устраиваем катанье на санях в четверг семнадцатого декабря. Надеюсь, что и Вы сможете поехать. Приходите к пяти часам.

Преданная вам Майра Сен-Клер».

Он прожил в Миннеаполисе два месяца и все это время заботился главным образом о том, чтобы другие мальчики в школе не заметили, насколько выше их он себя считает. Однако убеждение это зиждилось на песке. Однажды он отличился на уроке французского (французским он занимался в старшем классе), к великому конфузу мистера Рирдона, над чьим произношением он высокомерно издевался, и к восторгу всего класса. Мистер Рирдон, который десять лет назад провел несколько недель в Париже, стал в отместку на каждом уроке гонять его по неправильным глаголам. Но в другой раз Эмори решил отличиться на уроке истории, и тут последствия были самые плачевные, потому что его окружали сверстники, и они потом целую неделю громко перекрикивались, утрируя его столичные замашки: «На мой взгляд... э-э-э... в американской революции были заинтересованы главным образом средние классы...», или: «Вашингтон происходил из хорошей семьи, да, насколько мне известно, из очень хорошей семьи...»

Чтобы спастись от насмешек, Эмори даже пробовал нарочно ошибаться и путать. Два года назад он как раз начал читать одну книгу по истории Соединенных Штатов, которую, хоть она и доходила только до Войны за независимость, его мать объявила прелестной.

Хуже всего дело у него обстояло со спортом, но, убедившись, что именно спортивные успехи обеспечивают мальчику влияние и популярность в школе, он тут же стал тренироваться с яростным упорством — изо дня в день, хотя лодыжки у него болели и подвергались, совершал на катке круг за кругом, стараясь хотя бы научиться держать хоккейную клюшку так, чтобы она не цеплялась все время за коньки.

Приглашение мисс Майры Сен-Клер пролежало все утро у него в кармане, где пришло в тесное соприкосновение с пыльным остатком липкой ореховой конфеты. Во второй половине дня он извлек его на свет божий, обдумал и, набросав предварительно черновик на обложке «Первого года обучения латинскому языку» Коллара и Дэниела, написал ответ:

«Дорогая мисс Сен-Клер! Ваше прелестное приглашение на вечер в будущий четверг доставило мне сегодня утром большую радость. Буду счастлив увидеться с Вами в четверг вечером.

Преданный Вам Эмори Блейн».

И вот в четверг он задумчиво прошагал к дому Майры по скользким после скребков тротуарам и подошел к подъезду в половине шестого, решив, что именно такое опоздание одобрила бы его мать. Позвонив, он ждал на пороге, томно полужакрыв глаза и мысленно

репетируя свое появление. Он без спешки пройдет через всю комнату к миссис Сен-Клер и произнесет с безошибочно правильной интонацией:

«Дорогая миссис Сен-Клер, простите ради бога за опоздание, но моя горничная... — он осекся, сообразив, что это было бы плагиатом, — но мой дядя непременно хотел представить меня одному человеку... Да, с вашей прелестной дочерью мы познакомились в танцклассе».

Потом он пожмет всем руку, слегка, на иностранный манер поклонится разряженным девочкам и небрежно кивнет ребятам, которые будут стоять, сбившись тесными кучками, чтобы не дать друг друга в обиду.

Дверь отворил дворецкий (один из трех во всем Миннеаполисе). Эмори вошел и снял пальто и шапку. Его немного удивило, что из соседней комнаты не слышно хора визгливых голосов, но он тут же решил, что прием сегодня торжественный, официальный. Это ему понравилось, как понравился и дворецкий.

— Мисс Майра, — сказал он.

К его изумлению, дворецкий нахально ухмыльнулся.

— Да, она-то дома, — выпалил он, неудачно подражая говору английского простолюдина. Эмори окинул его холодным взглядом.

— Только, кроме нее-то, никого дома нет. — Голос его без всякой надобности зазвучал громче. — Все уехали.

Эмори даже ахнул от ужаса.

— Как?!

— Она осталась ждать Эмори Блейна. Скорей всего, это вы и есть? Мать сказала, если вы заявитесь до половины шестого, чтобы вам двоим догонять их в «паккарде».

Отчаяние Эмори росло, но тут появилась и Майра, закутанная в меховую накидку, — лицо у нее было недовольное, вежливый тон давался ей явно с усилием.

— Привет, Эмори.

— Привет, Майра. — Он дал ей понять, что угнетен до крайности.

— Все-таки добрался наконец.

— Я сейчас тебе объясню. Ты, наверно, не слышала про автомобильную катастрофу. Майра широко раскрыла глаза.

— А кто ехал?

— Дядя, тетя и я, — бухнул он с горя.

— И кто-нибудь убит? Он помедлил и кивнул головой.

— Твой дядя?

— Нет, нет, только лошадь... такая, серая. Тут мужлан-дворецкий поперхнулся от смеха.

— Небось лошадь убила мотор, — подсказал он. Эмори не задумываясь послал бы его на плаху.

— Ну, мы уезжаем, — сказала Майра спокойно. — Понимаешь, Эмори, сани были заказаны на пять часов, и все уже собрались, так что ждать было нельзя...

— Но я же не виноват...

— Ну, и мама велела мне подождать до половины шестого. Мы догоним их еще по дороге к клубу Миннегага.

Последние остатки притворства слетели с Эмори. Он представил себе, как сани, звеня бубенцами, мчатся по заснеженным улицам, как появляется лимузин, как они с Майрой выходят из него под укоряющими взглядами шестидесяти глаз, как он приносит извинения... на этот раз не выдуманные. Он громко вздохнул.

— Ты что? — спросила Майра.

— Да нет, я просто зевнул. А мы наверняка догоним их еще по дороге?

У него зародилась слабая надежда, что они проскользнут в клуб Миннегага первыми и там встретят остальных, как будто уже давно устали ждать, сидя у камина, и тогда престиж его будет восстановлен.

— Ну конечно, конечно, догоним. Только не копайся.

У него засосало под ложечкой. Садясь в автомобиль, он наскоро подмешал дипломатии в только что зародившийся сокрушительный план. План был основан на чьем-то отзыве, кем-то

переданном ему в танцклассе, что он «здорово красивый и что-то в нем есть английское».

— Майра, — сказал он, понизив голос и тщательно выбирая слова. — Прости меня, умоляю. Ты можешь меня простить?

Она серьезно поглядела на него, увидела беспокойные зеленые глаза и губы, казавшиеся ей, тринадцатилетней читательнице модных журналов, верхом романтики. Да, Майра с легкостью могла его простить.

— Н-ну... В общем, да.

Он снова взглянул на нее и опустил глаза. Своим ресницам он тоже знал цену.

— Я ужасный человек, — сказал он печально. — Не такой, как все. Сам не знаю, почему я совершаю столько оплошностей. Наверно, потому, что мне все — все равно. — Потом, беспечно: — Слишком много курю последнее время. Отразилось на сердце.

Майра представила себе ночную оргию с курением и Эмори, бледного, шатающегося, с отравленными никотином легкими. Она негромко вскрикнула:

— Ой, Эмори, не надо курить, ну пожалуйста. Ты же перестанешь расти.

— А мне все равно, — повторил он мрачное. — Бросить я не могу. Привык. Я много делаю такого, что если б узнали мои родственники... На прошлой неделе я ходил в театр варьете. Майра была потрясена. Он опять взглянул на нее зелеными глазами.

— Из всех здешних девочек только ты мне нравишься, — воскликнул он с чувством. — Ты симпатико.

Майра не была в этом уверена, но звучало слово модно, хотя почему-то и неприлично.

На улице уже сгустилась темнота. Лимузин круто свернул, и Майру бросило к Эмори. Их руки соприкоснулись.

— Нельзя тебе курить, Эмори, — прошептала она. — Неужели ты сам не понимаешь? Он покачал головой.

— Никому до меня нет дела. Майра сказала не сразу:

— Мне есть.

Что-то шевельнулось в его сердце.

— Еще чего! Ты влюблена в Фрогги Паркера, это всем известно.

— Неправда, — произнесла она медленно — и замолчала.

Эмори ликовал. В Майре, уютно отгороженной от холодной, туманной улицы, было что-то неотразимое. Майра, клубочек из меха, и желтые прядки выются из-под спортивной шапочки.

— Потому что я тоже влюблен... — Он умолк, заслышав вдали взрывы молодого смеха, и, прильнув к замерзшему стеклу, разглядел под уличными фонарями темные контуры саней. Нужно действовать немедленно. С усилием он подался вперед и схватил Майру за руку — вернее, за большой палец.

— Скажи ему, пусть едет прямо в Миннеагу, — шепнул он. — Мне нужно с тобой поговорить, обязательно.

Майра тоже разглядела сани с гостями, на секунду представила себе лицо матери, а потом — прощай строгое воспитание! — еще раз заглянула в те глаза.

— Здесь сверните налево, Ричард, и прямо к клубу Миннеага! — крикнула она в переговорную трубку.

Эмори со вздохом облегчения откинулся на подушки.

«Я могу ее поцеловать, — подумал он. — В самом деле могу. Честное слово».

Небо над головой было где чистое как стекло, где туманное, холодная ночь вокруг напряженно вибрировала. От крыльца загородного клуба тянулись вдаль дороги — темные складки на белом одеяле, и высокие сугробы окаймляли их, словно отмечая путь гигантских кротов. Они постояли на ступеньках, глядя на белую зимнюю луну.

— Такие вот бледные луны... — Эмори неопределенно повел рукой, — облачают людей таинственностью. Ты сейчас похожа на молодую колдунью без шапки, растрепанную... — ее руки потянулись пригладить волосы, — нет, не трогай, так очень красиво.

Они не спеша поднялись на второй этаж, и Майра провела его в маленькую гостиную, как раз такую, о какой он мечтал, где стоял большой низкий диван, а перед ним уютно потрескивал огонь в камине. Несколько лет спустя комната эта стала для Эмори подмостками, колыбелью

многих эмоциональных коллизий. Сейчас они поговорили о катании с гор.

— Всегда бывает парочка стеснительных ребят, — рассуждал он, — они садятся на санки сзади, перешептываются и норовят столкнуть друг друга в снег. И всегда бывает какая-нибудь косоглазая девчонка, вот такая, — он скорчил жуткую гримасу, — та все время дерзит взрослым.

— Странный ты мальчик, — задумчиво сказала Майра.

— Чем? — Теперь он был весь внимание.

— Да вечно болтаешь что-то непонятное. Пойдем завтра на лыжах со мной и с Мэрилин?

— Не люблю девочек при дневном свете, — отрезал он и тут же, спохватившись, что это слишком резко, добавил: — Ты-то мне нравишься. — Он откашлялся. — Ты у меня на первом, на втором и на третьем месте.

Глаза у Майры стали мечтательные. Рассказать про это Мэрилин — вот удивится! Как они сидели на диване с этим необыкновенным мальчиком, и камин горел, и такое чувство, будто они одни во всем этом большущем доме.

Майра сдалась. Очень уж располагающая была обстановка.

— Ты у меня от первого места до двадцать пятого, — призналась она дрожащим голосом, — а Фрогги Паркер на двадцать шестом.

За один час Фрогги потерял двадцать пять очков, но он еще не успел это заметить.

Эмори же, будучи на месте, наклонился и поцеловал Майру в щеку. Он еще никогда не целовал девочки и теперь облизал губы, словно только что попробовал какую-то незнакомую ягоду. Потом их губы легонько соприкоснулись, как полевые цветы на ветру.

— Нельзя так, — радостно шепнула Майра. Она нашарила его руку, склонилась головой ему на плечо.

Внезапно Эмори охватило отвращение, все стало ему гадко, противно. Хотелось убежать отсюда, никогда больше не видеть Майру, никогда больше никого не целовать; он словно со стороны увидел свое лицо и ее, их сцепившиеся руки и жаждал одного — вылезти из собственного тела и спрятаться подальше, в укромном уголке сознания.

— Поцелуй меня еще раз. — Ее голос донесся из огромной пустоты.

— Не хочу, — услышал он свой ответ. Снова молчание.

— Не хочу, — повторил он со страстью. Майра вскочила, щеки ее пылали от оскорбленного самолюбия, бант на затылке негодуяще трепыхался.

— Я тебя ненавижу! — крикнула она. — Не смей больше со мной разговаривать!

— Что? — растерялся он.

— Я скажу маме, что ты меня поцеловал. Скажу, скажу, и она запретит мне с тобой водиться. Эмори встал и беспомощно смотрел на нее, точно видел перед собой живое существо, совершенно незнакомое и нигде не описанное.

Дверь отворилась, на пороге стояла мать Майры, доставая из сумочки лорнет.

— Ну вот, — начала она приветливо, поднося лорнет к глазам. — Портье так и сказал мне, что вы, наверно, здесь... Здравствуйте, Эмори.

Эмори смотрел на Майру и ждал взрыва, но взрыва не последовало. Сердитое лицо разгладилось, румянец сбежал с него, и, когда она отвечала матери, голос ее был спокоен, как озеро под летним солнцем.

— Мы так поздно выехали, мама, я подумала, что нет смысла...

Снизу донесся звонкий смех и сладковатый запах горячего шоколада и пирожных. Эмори молча стал спускаться по лестнице вслед за матерью и дочерью. Звуки граммофона сливались с девичьими голосами, которые негромко вели мелодию, и словно налетело и окутало его теплое светящееся облако.

Кейси Джонс опять залез в кабину,
Кейси Джонс — работай, не зевай...
Кейси Джонс опять залез в кабину
И последним перегоном двинул в рай.

МОМЕНТАЛЬНЫЕ СНИМКИ ЮНОГО ЭГОИСТА

В Миннеаполисе Эмори провел почти два года. В первую зиму он носил мокасины, которые при рождении были желтыми, но после неоднократной обработки растительным маслом и грязью приобрели нужный зеленовато-коричневый оттенок; а также толстое, серое в клетку пальто и красную спортивную шапку. Красную шапку съела его собака по кличке Граф дель Монте, и дядя подарил ему серый вязаный шлем, очень неудобный: в него приходилось дышать, и дыхание замерзало, один раз он этой гадостью отморозил щеку и, как ни оттирал ее снегом, она все равно посинела.

Граф дель Монте как-то съел коробку синьки, но это ему не повредило. А через некоторое время он сошел с ума и понесся по улице, натываясь на заборы, катаясь в канавах, да так навсегда и умчался безумным аллюром из жизни Эмори. Эмори бросился на кровать и заплакал.

— Бедный маленький Граф! — плакал он. — Бедный, бедный маленький Граф!

Несколько месяцев спустя ему пришло в голову, что сцена сумасшествия была Графом разыграна, и очень ловко.

Самым мудрым изречением в мировой литературе Эмори и Фрог Паркер почитали одну реплику из третьего действия пьесы «Арсен Люпен». И в среду и в субботу они сидели на дневном спектакле в первом ряду. Изречение было такое:

«Если человек не способен стать великим артистом или великим полководцем, самое лучшее для него — стать великим преступником».

Эмори опять влюбился и сочинил стихи. Вот такие:

Их две, а я один —
Люблю и Салли и Мэрилин.
Хоть Сами очень хороша,
Но к Мэрилин лежит душа.

Его интересовало, первое или второе место займет Макговерн из Миннесоты на всеамериканских футбольных состязаниях, как показывать фокусы с картами и с монетой, галстуки «хамелеон», как рождаются дети и правда ли, что Трехпалый Браун как подающий сильнее Кристи Мэтьюсона.

Прочел он, среди прочих, следующие произведения: «За честь школы», «Маленькие женщины» (два раза), «Обычное право», «Сафо», «Грозный Дэн Макгру», «Широкая дорога» (три раза), «Падение дома Эшеров», «Три недели», «Мэри Уэр, подружка полковника», «Гунга Дин», «Полицейская газета» и «Сборник лучших остроумий и шуток».

В истории он следовал пристрастиям Хенти 2 и очень любил веселые рассказы с убийствами, которые писала Мэри Робертс Рейнхарт.

Школа испортила ему французский язык и привила отвращение к литературным корифеям. Учителя считали, что он ленив, неоснователен и знания у него поверхностные.

Многие девочки дарили ему прядки волос. Некоторые давали поносить свои колечки, но потом перестали, потому что у него была нервная привычка покусывать их, держа палец у губ, а это вызывало ревнивые подозрения у последующих счастливых.

Летом Эмори и Фрог Паркер каждую неделю ходили в театр. После спектакля, овеянные благоуханием августовского вечера, шли в веселой толпе домой по Хеннепин и по Николетт-авеню и мечтали. Эмори дивился, как это люди не замечают, что он — мальчик, рожденный для славы, и когда прохожие оборачивались на него и бесцеремонно встречались с ним глазами, напускал на себя самый романтический вид и ступал по воздушным подушкам,

которыми устлан асфальт для четырнадцатилетних.

И всегда, улегшись в постель, он слышал голоса — смутные, замирающие, чудесные — совсем близко, прямо за окном, а перед тем как уснуть, видел один из своих любимых, им же придуманных снов: либо о том, как он становится знаменитым полузащитником, либо про вторжение японцев и как в награду за боевые заслуги его производят в чин генерала — самого молодого генерала в мире. Во сне он всегда кем-то становился, а не просто был. В этом очень точно выражался его характер.

КОДЕКС ЮНОГО ЭГОИСТА

До того как его вытребовали обратно в Лейк-Джинева, он, робея, но не без тайного ликования, облекся в первые длинные брюки, а к ним — лиловый плиссированный галстук, воротничок «бельмонт» с плотно сходящимися на горле концами, лиловые носки и носовой платок с лиловой каймой, выглядывающий из нагрудного кармашка. И, что еще важнее, он выработал для себя кодекс, или свою первую философскую систему, которую вернее всего будет определить как аристократический эгоцентризм.

Он пришел к выводу, что самые важные его интересы совпадают с интересами некоего непостоянного, изменчивого человека, именуемого — дабы не отрывать его от прошлого, — Эмори Блейном. Он установил, что ему повезло в жизни, поскольку он способен бесконечно развиваться и в хорошую и в дурную сторону. Он не приписывал себе «сильный характер», но полагался на свои способности (заучиваю быстро) и на свое умственное превосходство (читаю уйму серьезных книг). Он гордился тем, что никогда не достигнет высот ни в технике, ни в точных науках. Все же остальные пути для него открыты.

Наружность . Эмори полагал, что он на редкость красив. Так оно, впрочем, и было. Он уже видел себя многообещающим спортсменом и искусным танцором.

Положение в обществе . Тут, пожалуй, таилась самая большая опасность. Однако он не отказывал себе в оригинальности, обаянии, магнетизме, умении затмить любого сверстника и очаровать любую женщину.

Ум . В этом смысле он ощущал свое явное, неоспоримое превосходство.

Далее придется выдать один секрет. Эмори был наделен чуть ли не пуританской совестью. Не то чтобы он слушался ее — в позднейшие годы он почти окончательно ее задушил, — но в пятнадцать лет она ему подсказывала, что он намного хуже других мальчиков...

беззастенчивость... желание влиять на окружающих во всем, даже в дурном... известная холодность и недостаток доброты, порой граничащий с жестокостью... зыбкое чувство чести... несправедливое себялюбие... опасливый, неотвязный интерес к вопросам пола.

И еще — все его существо пронизывала какая-то недостойная слабость. Резкое слово, брошенное мальчиком старше его годами (а они, как правило, терпеть его не могли), грозило выбить у него почву из-под ног, повергнуть его в хмурую настороженность или в трусливый идиотизм... он был рабом собственных настроений и сознавал, что хотя и способен проявить бесшабашную дерзость, однако лишен и настоящей храбрости, и упорства, и самоуважения.

Тщеславие, умеряемое если не знанием себя, то недоверием к себе, ощущение, что люди подвластны ему, как автоматы, желание «обогнать» возможно больше мальчиков и достичь некой туманной вершины мира — с таким багажом Эмори вступал в годы юности.

НАКАНУНЕ ВЕЛИКИХ ПЕРЕМЕН

Поезд, разморенный летней жарой, медленно остановился у платформы в Лейк-Джинева, и Эмори увидел мать, поджидавшую его в своем автомобиле. Мотор был старый, одной из первых марок, серого цвета. Увидев, как грациозно и прямо она сидит и как на ее прекрасном, чуть надменном лице заиграла легкая, полузабытая им улыбка, он вдруг почувствовал, что безмерно гордится ею. Когда он, обменявшись с ней сдержанным поцелуем, залезал в автомобиль, его кольнул страх — не утратил ли он обаяния, необходимого, чтобы держаться на ее уровне.

— Милый мальчик, ты так вырос... Посмотри-ка, не едет ли что-нибудь сзади.

Она бросила взгляд направо, налево и двинулась вперед со скоростью две мили в час, умоляя Эмори быть начеку; а на одном оживленном перекрестке велела ему выйти и бежать вперед, чтобы очистить ей дорогу, как делают постовые полисмены. Беатриса была, что называется, осторожным водителем.

— Ты сильно вырос, но по-прежнему очень красив, ты перешагнул через нескладный возраст — а может быть, это шестнадцать лет? — или четырнадцать, или пятнадцать — всегда забываю, но ты через него перешагнул.

— Не конфузь меня, — еле слышно сказал он.

— Но, дорогой мой, как ты странно одет! Все словно подобрано в тон, или это нарочно? А белье на тебе тоже лиловое?

Эмори невежливо хмыкнул.

— Тебе нужно будет съездить к Бруксу, заказать сразу несколько приличных костюмов. Мы с тобой побеседуем сегодня вечером, или, может быть, завтра вечером. Я хочу все выяснить насчет твоего сердца — ты, наверно, запустил свое сердце и сам этого не знаешь.

Эмори подумал, какую непрочную печать наложило на него общение со сверстниками. Оказалось, что, если не считать некоторой робости, его прежнее взрослое сродство с матерью нисколько не ослабло. И все же первые дни он бродил по саду и по берегу озера в состоянии предельного одиночества, черпая какую-то дремотную отраду в том, что курил в гараже дешевый табак с одним из шоферов.

По шестидесяти акрам поместья были во множестве разбросаны старые и новые беседки, фонтаны и белые скамейки, неожиданно возникавшие в тенистых уголках; жило там обширное и неуклонно растущее семейство белых кошек — они рыскали по клумбам, а вечерами внезапно появлялись светлыми пятнами на фоне темных деревьев. На одной из дорожек среди этих темных деревьев Беатриса наконец и настигла Эмори, после того как мистер Блейн по своему обыкновению удалился на весь вечер к себе в библиотеку. Побранив его за то, что он ее избегает, она вовлекла его в длинный интимный разговор при лунном свете. Его снова и снова поражала ее красота, которую он унаследовал, ее прелестная шея и плечи, грация богатой тридцатилетней женщины.

— Эмори, милый, — ворковала она, — после того как мы с тобой расстались, я пережила такое странное, нереальное время.

— В самом деле, Беатриса?

— Когда у меня в последний раз был нервный срыв... — она говорила об этом, как о геройском подвиге, — доктор сказал мне... — голос запел в доверительном регистре, — что любой мужчина, если бы он пил так же упорно, как я, буквально погубил бы свой организм и уже давно сошел бы в могилу, вот именно, милый, в могилу.

Эмори поморщился и попробовал вообразить, как воспринял бы такие слова Фрогги Паркер.

— Да, — продолжала Беатриса на трагических нотах, — меня посещали сны — изумительные видения. — Она прижала ладони к глазам. — Я видела, как бронзовые реки плещутся о мраморные берега, а в воздухе парят огромные птицы — разноцветные, с переливчатым оперением. Я слышала странную музыку и рев дикарских труб... что?

Это у Эмори вырвался смешок.

— Что ты сказал, Эмори?

— Я сказал, а дальше что, Беатриса?

— Вот и все, но это бесконечно повторялось — сады такой яркой расцветки, что наш по сравнению показался бы однотонным, луны, которые плясали и кружились, бледнее, чем зимние луны, золотистее, чем летние...

— А сейчас ты совсем здорова, Беатриса?

— Здорова — насколько это для меня возможно. Меня никто не понимает, Эмори. Я знаю, что не сумею это выразить словами, но... меня никто не понимает.

Эмори даже взволновался. Он обнял мать и тихонько потерся головой о ее плечо.

— Бедная, бедная Беатриса.

— Расскажи мне о себе, Эмори. Тебе эти два года жилось ужасно?

Он хотел было соврать, но передумал.

— Нет, Беатриса. Мне жилось хорошо. Я приспособился к буржуазии. Стал жить, как все. — Он сам удивился своим словам и представил себе изумленную физиономию Фрогги.

— Беатриса, — начал он вдруг. — Я хочу уехать куда-нибудь учиться. В Миннеаполисе все уезжают в школу.

— Но тебе только пятнадцать лет.

— Ну что ж, в школу все уезжают в пятнадцать лет, а мне так хочется!

Беатриса тогда предложила оставить этот разговор до другого раза, но неделю спустя она, к его великой радости, заговорила сама:

— Эмори, я решила, пусть будет по-твоему. Если ты не раздумал, можешь ехать в школу.

— Правда?

— В Сент-Реджис, в Коннектикуте. У Эмори даже сердце забилося.

— Я уже списалась с кем нужно, — продолжала Беатриса. — Тебе и правда лучше уехать. Я бы предпочла, чтобы ты поехал в Итон, а потом учился в Оксфорде, в колледже Христовой Церкви, но сейчас это неосуществимо, а насчет университета пока можно не решать, там видно будет.

— А ты что думаешь делать, Беатриса?

— Понятия не имею. Видимо, мне суждено доживать мою жизнь здесь, в Штатах. Имей в виду, я вовсе не жалею, что я американка, более того, таким сожалениям могут, на мой взгляд, предаваться только очень вульгарные люди, и я уверена, что мы — великая нация, нация будущего. Но все же... — она вздохнула, — я чувствую, что моя жизнь должна бы догорать среди более старой, более зрелой цивилизации, в стране зеленых и по-осеннему бурых тонов...

Эмори промолчал.

— О чем я жалею, — продолжала она, — так это о том, что ты не побывал за границей, но в общем-то тебе, мужчине, лучше взрослеть здесь, под сенью хищного орла... Так ведь это у вас называется?

Эмори подтвердил, что так. Вторжения японцев она бы не оценила.

— Мне когда ехать в школу?

— Через месяц. Выехать нужно пораньше, чтобы сдать экзамены. Потом у тебя будет свободная неделя, и я хочу, чтобы ты съездил в одно место на Гудзоне, в гости.

— К кому?

— К монсеньеру Дарси, Эмори. Он хочет тебя повидать. Сам он учился и в Англии, в Харроу, а потом в Йельском университете. Принял католичество. Я хочу, чтобы он с тобой поговорил, — я чувствую, он столько может для тебя сделать... — Она ласково погладила сына по каштановым волосам. — Милый, милый Эмори...

— Милая Беатриса...

И вот в начале сентября Эмори, имея при себе «летнего белья три смены, зимнего белья три смены, один свитер, или пуловер, одно пальто зимнее» и т. д., отбыл в Новую Англию, край закрытых школ.

Были там Андовер и Экзетер, овеянные воспоминаниями о местных знаменитостях, — обширные демократии типа колледжей; Сент-Марк, Гротон, Сент-Реджис, набиравшие учеников из Бостона и старых голландских семейств Нью-Йорка; Сент-Пол, славившийся своими катками; Помфрет и Сент-Джордж — процветающие и элегантные; Тафт и Хочкисс, где богатых сынков Среднего Запада готовили к светским успехам в Йеле; Поулинг, Вестминстер, Чоут, Кент и сотни других, из года в год выпускавшие на рынок вымуштрованную, самоуверенную, стандартную молодежь, предлагавшие в виде духовного стимула вступительные экзамены в университет, излагавшие в сотнях циркуляров свою туманную цель: «Обеспечить основательную умственную, нравственную и физическую подготовку, приличествующую джентльмену и христианину, дать юноше ключ к решению проблем своего времени и своего поколения, заложить прочный фундамент для занятий Искусствами и Науками».

В Сент-Реджисе Эмори пробыл три дня, сдал экзамены с высокомерным апломбом, а затем

вернулся в Нью-Йорк, чтобы оттуда отправиться с визитом к своему будущему покровителю. Огромный город, увиденный лишь мельком, не поразил его воображения, оставив только впечатление чистоты и опрятности, когда он ранним утром смотрел с палубы парохода на высокие белые здания вдоль Гудзона. К тому же он был так захвачен мечтами о спортивных триумфах в школе, что эту свою поездку считал всего лишь скучной прелюдией к великим переменам. Оказалось, однако, что его ждет нечто совсем другое.

Дом монсеньера Дарси — старинный, неопределенной архитектуры, стоял высоко над рекой, и владелец его жил там в промежутках между разъездами во все концы католического мира, как какой-нибудь король династии Стюартов, ожидающий в изгнании; когда его снова призовут на престол. Монсеньеру было в то время сорок четыре года — цветущий, чуть располневший человек с волосами цвета золотой канители, блестящий и чарующий в обхождении. Когда он входил в комнату в своих алых одеждах, он напоминал закаты у Тернера и сразу привлекал к себе восхищенное внимание. Он успел написать два романа: один, незадолго до своего обращения, резко антикатолический, а второй — через пять лет, в котором пытался изменить свои остроумные выпады против католиков на не менее остроумные шпильки по адресу членов епископальной церкви. Он был ярким сторонником обрядов, великолепным актером, уважал идею бога настолько, что соблюдал безбрачие и неплохо относился к своим ближним.

Дети обожали его. потому что он был как дитя; молодежь блаженствовала в его обществе, потому что он сам был молод и ничто его не шокировано. В другое время и в другой стране он мог бы стать вторым Ришелье — теперь же это был очень нравственный, очень верующий (если и не слишком набожный) священнослужитель, искусный в пустяковых тайных интригах и в полной мере ценящий жизнь, хотя, возможно, и не так уж ею избалованный.

Он и Эмори с первого взгляда пленили друг друга: вальяжный, почтенный прелат, блиставший на посольских приемах, и зеленоглазый беспокойный мальчик в своих первых длинных брюках, поговорив полчаса, уже ощутили, что их связывают отношения отца с сыном.

— Милый мальчик, я уже сколько лет мечтаю с тобой познакомиться. Выбирай кресло поудобнее, и давай поболтаем.

— Я к вам приехал из школы, знаете — Сент-Реджис.

— Да, твоя мама мне писала — замечательная женщина; вот сигареты — ты ведь, конечно, куришь. Ну-с, если ты похож на меня, ты, значит, ненавидишь естествознание и математику... Эмори с силой закивал головой.

— Терпеть не могу. Люблю английский и историю.

— Разумеется. В школе тебе первое время тоже не понравится, но я рад, что ты поступил в Сент-Реджис.

— Почему?

— Потому что это школа для джентльменов, и демократия не захлестнет тебя так рано. Этого успеешь набраться в университете.

— Я хочу поступить в Принстон, — сказал Эмори. — Не знаю почему, но мне кажется, что из Гарварда выходят хлюпики, каким я был в детстве, а в Йеле все носят толстые синие свитеры и курят трубки.

Монсеньер заметил со смешком:

— Вот и я там учился.

— Ну, вы-то другое дело... Принстон, по-моему, это что-то медлительное, красивое, аристократическое — ну, понимаете, как весенний день. Гарвард — весь замкнутый в четырех стенах...

— А Йель — ноябрь, морозный и бодрящий, — закончил монсеньер.

— Вот-вот.

Так, быстро и на вечные времена, у них установилась душевная близость.

— Я всегда был на стороне принца Чарли, — объявил Эмори.

— Ну еще бы. И Ганнибала...

— Да, и Южной конфедерации. — Признать себя патриотом Ирландии он решил не сразу

— в ирландцах ему чудилось что-то недостаточно благородное, но монсеньер заверил его, что Ирландия — романтическая обреченная страна, а ирландцы — милейшие люди, и отдать им свои симпатии более чем похвально.

Пролетел час, в который вместилось еще несколько сигарет и в течение которого монсеньер узнал — с удивлением, но не с ужасом, — что Эмори не взращен в католической вере; а затем он сказал, что ждет еще одного гостя. Этим гостем оказался distinguished Торнтон Хэнкок из Бостона, бывший американский посланник в Гааге, автор ученого труда по истории средних веков и последний отпрыск знатного, прославленного своими патриотическими подвигами старинного рода.

— Он приезжает сюда отдохнуть, — доверительно, как равному, сообщил Эмори монсеньер. — У меня он спасается от слишком утомительного агностицизма, и, думается, только я один знаю, что при всем своем трезвом уме он носится по воле волн и жаждет ухватиться за такой крепкий обломок мачты, как церковь.

Их первый совместный обед остался для Эмори одним из памятных событий его юности. Сам он так и лучился радостью и очарованием. Монсеньер вопросами и подсказкой вытаскивал на свет его самые интересные мысли, и Эмори с легкостью и блеском рассуждал о своих желаниях и порывах, антипатиях, увлечениях и страхах. Говорили только он и монсеньер, а старший гость, по характеру не столь восприимчивый и всеприемлющий, хотя отнюдь не холодный, слушал и нежился в мягком солнечном свете, перебегавшем от одного к другому. Монсеньер на многих действовал, как луч солнца, и Эмори тоже — в юности и отчасти много позднее, но никогда больше не повторилось это произвольное двойное свечение.

«Какой лучезарный мальчик», — думал Торнтон Хэнкок, которому довелось на своем веку повидать величие двух континентов, беседовать с Парнеллом, Гладстоном и Бисмарком, — а позже, в разговоре с монсеньером, он добавил: — Только не следовало бы вверять его образование какой-нибудь школе или колледжу.

Но в ближайшие четыре года способности Эмори были направлены главным образом на завоевание популярности, а также на сложности университетского общественного строя и американского общества в целом, в том виде, как они выявлялись на чаепитиях в отеле «Билтмор» и в гольф-клубах Хот-Спрингса.

...Да, удивительная неделя, когда весь духовный мир Эмори оказался перетряхнут и подтвердились сотни его теорий, а ощущение радости жизни претворилось в тысячу честолюбивых замыслов. Причем разговоры велись отнюдь не ученые, боже сохрани! Эмори лишь очень смутно представлял себе, что такое Бернард Шоу, но монсеньер умел извлечь столько же из «Любимого бродяги» и «Сэра Найджела», зорко следя за тем, чтобы Эмори ни разу не почувствовал себя профаном.

Однако трубы уже трубили сигнал к первому бою между Эмори и его поколением.

— Тебе, конечно, не жаль уезжать от меня, — сказал монсеньер. — Для таких, как мы с тобой, родной дом там, где нас нет.

— Мне ужасно жаль...

— Неправда. Ни тебе, ни мне никто по-настоящему не нужен.

— Ну, не знаю...

— До свидания.

ЭГОИСТУ ПЛОХО

Два года неудач и триумфов, проведенные Эмори в Сент-Реджисе, сыграли в его жизни столь же незначительную роль, как все американские «подготовительные» школы, придавленные пятой университетов, — в американской жизни в целом. У нас нет Итона, где формируется психология правящего класса, вместо этого у нас имеются чистенькие, пресные и безобидные подготовительные школы.

Эмори сразу взял неверный тон, его сочли высокомерным и наглым и дружно невзлюбили. Он усиленно играл в футбол, проявляя то залихватскую удаль, то максимум осторожности, совместимой с достойным поведением спортсмена на поле. Однажды, поддавшись

безотчетному страху, он отказался драться с мальчиком одного с ним роста и веса, а через неделю, войдя в раж, сам полез в драку с другим мальчиком, гораздо более рослым и сильным, и вышел из схватки жестоко избитый, но вполне довольный собой.

В любом начальнике он видел врага, и это, в сочетании с ленивым равнодушием к занятиям, бесило преподавателей. Захандрив, он вообразил себя отверженным, стал искать мрачного уединения и читать по ночам. Страшась одиночества, он завел себе двух-трех приятелей, но поскольку они не принадлежали к школьной элите, использовал их просто как зеркало, как публику, перед которой позировал, — без этого он не мог жить. Ему было до ужаса тоскливо, до невероятия тяжело.

Кое-какие мелочи служили ему утешением. Когда его заливали волны отчаяния, последним на поверхности оставалось его тщеславие, так что он все же не остался равнодушен, когда Вуки-Вуки, старая глухая экономка, сказала ему, что такого красавца, как он, отродясь не видала. Ему было приятно, что он — самый быстрый и самый младший в футбольной команде; приятно было после оживленного диспута услышать от доктора Дугала, что при желании он мог бы выйти на первое место в школе. Впрочем, доктор Дугал ошибался. Выйти на первое место в школе Эмори не мог — не так он был создан.

Несчастный, загнанный, не любимый ни товарищами, ни учителями — таким был Эмори в первом триместре. Однако, приехав на рождественские каникулы в Миннеаполис, он ни словом никому не пожаловался, напротив.

— Сначала было непривычно, — небрежно рассказывал он Фрогги Паркеру, — а потом все наладилось. Я самый быстрый в нашей команде. Надо бы и тебе поехать в школу, Фрогги. Там просто здорово.

ЭПИЗОД С ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНЫМ ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ

В последний вечер первого триместра старший преподаватель мистер Марготсон вызвал Эмори на девять часов к себе в кабинет. Эмори сразу заподозрил, что предстоит выслушивать советы, но решил держаться вежливо, потому что этот мистер Марготсон всегда относился к нему терпимо.

Учитель встретил его с серьезным лицом и знаком пригласил сесть. Потом откашлялся и придал себе нарочито доброе выражение, как человек, понимающий, что ступает на скользкую почву.

— Эмори, — начал он, — я хочу поговорить с вами по личному делу.

— Да, сэр?

— Я приглядывался к вам весь этот год, и я... я вами доволен. Мне кажется, у вас есть задатки очень... очень хорошего человека.

— Да, сэр? — выдавил из себя Эмори. Неприятно, когда с тобой говорят, как с отпетым неудачником.

— Однако я заметил, — продолжал учитель, набравшись духу, — что товарищи вас недолюбливают.

— Да, сэр. — Эмори облизал губы.

— Так вот, я подумал, может быть, вам не совсем ясно, что именно им в вас... гм... не нравится. Сейчас я вам это скажу, ибо я считаю, что если ученик знает свои недостатки, ему легче исправиться... понять, чего от него ждут, и поступать соответственно. — Он опять откашлялся, негромко и деликатно, и продолжал: — Видимо, они считают вас... гм... немного нахальным.

Эмори не выдержал. Он встал, и, когда заговорил, голос его срывался.

— Знаю, неужели вы думаете, что я не знаю? — Он почти кричал. — Знаю я, что они думают, можете мне не говорить. — Он осекся. — Я... я... мне надо идти... простите, если вышло грубо.

Он выбежал из комнаты. Вырвавшись на свежий воздух, по дороге в свое общежитие он бурно радовался, что не пожелал принять чью-то помощь.

— Старый дурак! — восклицал он злобно. — Как будто я сам не знаю!

Однако он решил, что теперь у него есть уважительная причина, чтобы больше сегодня не заниматься, и, уютно устроившись у себя в спальне, сунул в рот вафлю и стал дочитывать «Белый отряд».

ЭПИЗОД С ЧУДНОЙ ДЕВУШКОЙ

В феврале сверкнула яркая звезда. Нью-Йорк в день рождения Вашингтона внезапно открылся ему во всем блеске. В то первое утро город промелькнул перед ним белой полоской на фоне густо-синего неба, оставив впечатление величия и могущества под стать сказочным дворцам из «Тысячи и одной ночи»; теперь же Эмори увидел его при свете электричества, и романтикой дохнуло от гигантских световых реклам на Бродвее и от женских глаз в ресторане отеля «Астор», где он обедал с Паскертом из Сент-Реджиса. И позже, когда они шли по проходу в партере, а навстречу им неслась будоражащая нервы какофония настраиваемых скрипок и тяжелый, чувственный аромат духов и пудры, он весь растворялся в эпикурейском наслаждении. Все приводило его в восторг. Давали «Маленького миллионера» с Джорджем М. Козном, и была там одна миниатюрная брюнетка, которая так танцевала, что Эмори чуть не плакал от восхищения.

Чудная девушка,
Как ты чудесна, —

пел тенор, и Эмори соглашался с ним молча, но от всей души.

Чудные речи твои
Мне сердце пронзили...

Смычки пропели последние ноты громко и трепетно, девушка смятой бабочкой упала на подмостки, зал разразился аплодисментами. Ах, влюбиться бы вот так, под звуки этой томной, волшебной мелодии! Последнее действие происходило в кафе на крыше, и виолончели вздохами славили луну, а на авансцене, легкие, как пена на шампанском, порхали комические повороты сюжета. Эмори изнывал от желания стать завсегдатаем таких вот кафе на крышах, встретить такую девушку — нет, лучше эту самую девушку, и чтобы в волосах ее струилось золотое сияние луны, а из-за его плеча официант-иностранец подливал ему в бокал искрометного вина. Когда занавес опустился в последний раз, он вздохнул так глубоко и горестно, что зрители, сидевшие впереди, удивленно оглянулись, а потом он расслышал слова:

— До чего же красив мальчишка!

Это отвлекло его мысли от пьесы, и он стал думать, действительно ли его внешность пришлась по вкусу населению Нью-Йорка.

К себе в гостиницу они шли пешком и долго молчали. Первым заговорил Паскерт. Его неокрепший пятнадцатилетний голос печально вторгся в размышления Эмори.

— Хоть сейчас женился бы на этой девушке.

О какой девушке шла речь, было ясно.

— Я был бы счастлив привести ее к нам домой и познакомить с моими родителями, — продолжал Паскерт.

Эмори проникся к нему уважением и пожалел, что не сам произнес эти слова. Они прозвучали так внушительно.

— Я вот думаю про актрис. Интересно, они все безнравственные?

— Ничего подобного, — уверенно ответил многоопытный юноша. — Эта девушка, например,

безупречна, тут сразу видно.

Они шли, смешавшись с бродвейской толпой, паря на крыльях музыки, вырывавшейся из дверей кафе. Всё новые лица вспыхивали и гасли, как сотни огней, бледные лица или нарумяненные, усталые, но все равно возбужденные. Эмори вглядывался в них с жадностью. Он строил планы на будущее. Он поселится в Нью-Йорке, станет знакомой фигурой во всех ресторанах и кафе, будет носить фрак с раннего вечера до раннего утра, а днем, когда делать нечего, — спать.

— Да-да, я хоть сейчас женился бы на этой девушке!

ЭПИЗОД В ГЕРОИЧЕСКИХ ТОНАХ

Октябрь второго, и последнего, года, проведенного в Сент-Реджисе, крепко запомнился Эмори. Матч с Гротоном начался в три часа в прохладный, погожий день, а закончился, когда уже сгустились холодные осенние сумерки; и Эмори, игравший полузащитником, в отчаянии взывая о поддержке, совершая немыслимые захваты, выкрикивая команды голосом, осевшим до хриплого, исступленного шепота, все же нашел время с гордостью ощутить и белую, в пятнах крови, повязку у себя на голове, и героика сцепившихся в беспорядочной схватке потных, наседающих тел, ноющих рук и ног. В эти минуты храбрость, как вино, вливалась в него из октябрьского полумрака, и вот он, извечный герой, родной брат морскому бродяге с ладьи викинга, родной брат Роланду и Горацию, сэру Найджелу и Теду Кою, вырывается вперед и, собственной волей брошенный в прорыв, сдерживает натиск живой стены, слыша издали одобрительный рев трибуны... и наконец, весь в ушибах и ссадинах, вымотанный, но неуловимый, мчится с мячом по широкой дуге, виляет вправо, влево, меняет темп, работает кулаком и, чувствуя, что сразу двое хватают его за ноги, валится наземь за воротами Гротона, одержав для своей команды желанную победу.

ФИЛОСОФИЯ ПРИЛИЗЫ

С высоты своих успехов в старшем классе Эмори только посмеивался, вспоминая, как нелегко ему пришлось в первый год. Он изменился настолько, насколько Эмори Блейн вообще мог измениться. Эмори плюс Беатриса плюс два года в Миннеаполисе — таков он был, когда поступал в Сент-Реджис. Но годы в Миннеаполисе наложили на него лишь очень тонкий внешний слой, недостаточный, чтобы скрыть «Эмори плюс Беатрису» от всевидящих глаз закрытой школы, так что сама эта школа взялась безжалостно вытравливать из него Беатрису и натягивать на изначального Эмори новую, не столь экзотическую оболочку.

Однако ни Сент-Реджис, ни Эмори не оценили того обстоятельства, что изначальный-то Эмори не изменился. Свойства, за которые ему так жестоко доставалось, — обидчивость, позерство, лень, склонность прикидываться дурачком — теперь принимались как должное, как невинные чудачества блестящего полузащитника, способного актера и редактора сент-реджисского «Болтуна»: он с удивлением убеждался, что некоторые младшие школьники подражают тем самым замашкам, которые еще так недавно в нем осуждались.

Когда кончился футбольный сезон, он расслабился в мечтательном довольстве. В вечер бала перед каникулами он рано улизнул к себе и лег, чтобы насладиться музыкой скрипок, летевшей к нему в окно поверх газонов. И много еще вечеров он провел там, грезя наяву о тайных кабачках Монмартра, где матово-бледные женщины поверяют романтические секреты дипломатом и кондотьерам и оркестр играет венгерские вальсы, а воздух густо настоян на лунном свете, интригах и авантюрах. Весной он по заданию преподавателя прочел «l'Allegro» 3 и, вдохновленный Мильтоном, стал упражняться в лирических стихах на тему об Аркадии и свирели Пана. Он передвинул свою кровать к окну, чтобы солнце будило его пораньше, и, едва одевшись, бежал к старым качелям, подвешенным на яблоне возле общежития шестого класса. Раскачиваясь все сильнее и сильнее, он чувствовал, что возносится в самое небо, в волшебную страну, где обитают сатиры и белокурые нимфы — копии тех девушек, что встречались ему на улицах Истчестера. Раскачавшись до предела, он действительно

оказывался над гребнем невысокого холма, за которым бурая дорога терялась вдали золотой точкой.

Среди множества книг, прочитанных им в ту весну, когда ему только-только пошел восемнадцатый год, были «Джентльмен из Индианы», «Новые сказки 1001 ночи», «Человек, который был четвергом» (понравилось, хотя и не понял), «Стоувер в Йеле» (книга, ставшая для него своего рода руководством), «Домби и сын» (когда решил, что надо быть разборчивей в выборе чтения), Роберт Чемберс, Дэвид Грэм Филлипс и Филлипс Оппенгейм — все подряд; и кое-что Теннисона и Киплинга. Из всей школьной программы его, кроме «l'Allegro», привлекла только строгая ясность стереометрии.

К началу июня он ощутил потребность в собеседнике, чтобы было перед кем облекать в слова свои новые мысли, и сам удивился, найдя собрата-философа в лице Рэхилла, старосты шестого класса. В долгих беседах — то шагая по дорогам, то лежа на животе на краю бейсбольного поля, или поздно вечером, попыхивая в темноте сигаретами, — они обсуждали школьные дела, и тогда-то родился термин «прилиза».

— Курить есть? — шепнул как-то вечером Рэхилл, всунув голову к Эмори в спальню через пять минут после отбоя.

— Ага.

— Я вхожу.

— Возьми пару подушек и можешь лечь у окна.

Эмори сел в постели и закурил, пока Рэхилл устраивался. Любимой темой Рэхилла была будущность шестиклассников, и Эмори не уставал снабжать его прогнозами.

— Тед Коннерс? Ну, это просто. На экзаменах срежется, все лето будет заниматься с репетитором, по трем-четырем предметам сдаст переэкзаменовки, а первую же сессию опять завалит. Вернется к себе на Запад и с годик будет кутить напропалую, а потом папаша пристроит его торговать красками. Женится, народит четырех безмозглых сыновей. На всю жизнь сохранит уверенность, что Сент-Реджис пошел ему во вред, и сыновья его будут ходить в городскую школу в Портленде. Умрет в возрасте сорока одного года от двигательной атаксии, а жена его пожертвует пресвитерианской церкви купель, или как это там называется, и выгравировет на ней его имя, и...

— Стой, Эмори, хватит. Очень уж мрачно. А про себя ты что скажешь?

— Я из другой категории, высшей. И ты тоже. Мы философы.

— Я-то нет.

— Глупости. Котелок у тебя варит здорово. — Но Эмори знал, что любые абстракции, любые обобщения и теории для Рэхилла пустой звук, пока он не наткнется на вполне конкретные и наглядные их иллюстрации.

— Да нет же, — не сдавался Рэхилл. — Я всем даю собой помыкать, а сам ничего от этого не получаю. Я, черт подери, просто жертва моих одноклассников — готовлю за них уроки, выцарапываю их из всяких заварух, летом, как дурак, езжу к ним в гости и развлекаю их малолетних сестер, терплю, когда они ведут себя как эгоисты, а они воображают, что в награду за это делают мне приятное — голосуют за меня, и твердят, что я — вожак Сент-Реджиса. Я хочу жить там, где каждый делает свое дело и любого можно послать подальше. Надоело мне нянчиться со здешними недоумками.

— Ты не прилиза, — сказал вдруг Эмори.

— Не кто?

— Не прилиза.

— Это еще что такое?

— Как бы тебе объяснить — это что-то такое... их очень много. Ты не из них, и я тоже, хотя я, пожалуй, скорее.

— А кто, например, из них? И почему ты такой же? Эмори ответил, подумав:

— Ну... как тебе сказать... главный признак, по-моему, это когда человек зачесывает волосы назад, смачивает их и прилизывает.

— Как Карстэрс?

— Вот-вот. Он как раз прилиза.

Два вечера ушло на выработку точного определения. У прилизы красивая или, во всяком случае, аккуратная внешность. Он хорошо соображает и использует все средства, совместимые с честностью, чтобы продвинуться в жизни, заслужить популярность и восхищение и избежать неприятностей. Он хорошо одевается, сугубо опрятен, а названием своим обязан тому, что волосы носит короткие, на прямой пробор, и, смочив их водой, прилизывает по последней моде. В том году прилизы избрали эмблемой своего братства роговые очки, так что их было очень легко распознать, Эмори и Рэхилл ни одного не пропустили. Прилиза мог попасться в любом классе, всегда оказывался похитрее и поосмотрительнее своих сверстников и возглавлял какую-нибудь группу или команду, а способности свои тщательно скрывал.

Термин «прилиза» очень помогал Эмори классифицировать людей до первого года в университете, но там его контуры расплылись и смазались до того, что понадобились уже подклассы, из термина он превратился просто в качество. Идеал, который втайне лелеял Эмори, обладал всеми свойствами прилизы, но с добавлением храбрости и недюжинного ума и таланта — а еще Эмори наделил его некоторой долей эксцентричности, что уже никак не входило в портрет чистопородного прилизы.

Это было первым подлинным отходом от ханжества школьных традиций. Понятие «прилиза» подразумевало известную долю житейского успеха, чем он существенно отличался от школьного «примерного ученика».

Прилиза

1. Тонко чувствует общественную иерархию.
2. Считает, что одежда — чепуха и не уделяет ей должного внимания.
3. Занимается только тем, в чем можно блеснуть.
4. Поступает в университет и в светском смысле достигает успехов.
5. Волосы прилизывает.

Примерный

1. Глуповат и игнорирует общественную иерархию.
2. Хорошо одевается. Уверяет, что одежда — чепуха, но знает, что это не так.
3. Занимается всем подряд из чувства долга.
4. Поступает в университет, где будущее его проблематично. Теряется вне привычной обстановки и уверяет, что школьные годы как-никак были самые счастливые. Наезжает в школу и произносит речи о полезной деятельности учеников Сент-Реджиса.
5. Волосы не прилизывает.

Эмори окончательно остановил свой выбор на Принстоне, несмотря даже на то, что больше никто из его класса туда не поступал. Йель был овеян романтикой по рассказам, слышанным еще в Миннеаполисе, а позднее — от выпускников Сент-Реджиса, запроданных в «Череп и Кости», но Принстон притягивал сильнее — соблазняла его яркая красочность и репутация самого приятного в Америке загородного клуба. Омраченные грозной перспективой вступительных экзаменов, школьные годы Эмори незаметно уплыли в прошлое. Через много лет, когда он снова попал в Сент-Реджис, он словно начисто забыл свои успехи в старшем классе, а себя мог вспомнить только трудным мальчиком, что бегал когда-то по коридорам, спасаясь от издевок сверстников, обезумевших от избытка здравомыслия.

Глава II: ШПИЛИ И ХИМЕРЫ

Сперва Эмори заметил только яркий солнечный свет — как он струится по длинным зеленым газонам, танцует в стрельчатых окнах, плавает вокруг шпилей, над башнями и крепостными

стенами. Постепенно до его сознания дошло, что он в самом деле идет по Университетской улице, стесняясь своего чемодана, приучая себя смотреть мимо встречных, прямо вперед. Несколько раз он мог бы поклясться, что на него оглянулись с неодобрением. Смутно мелькнула мысль, что он допустил какую-то небрежность в одежде, сожаление, что утром не побрился в поезде. Он чувствовал себя скованным и нескладным среди молодых людей в белых костюмах и без шляп — скорее всего, студентов старших курсов, судя по их уверенному, скушающему виду.

Дом 12 по Университетской, большой и ветхий, показался ему необитаемым, хотя он знал, что обычно здесь живет десятка полтора первокурсников. Наскоро объяснившись с хозяйкой, он вышел на разведку, но, едва дойдя до угла, с ужасом сообразил, что во всем городе, видимо, только он один носит шляпу. Чуть не бегом он вернулся в дом 12, оставил там свой котелок и уже с непокрытой головой побрел по Нассау-стрит. Постоял перед витриной, где были выставлены фотографии спортсменов, в том числе большой портрет Алленби, капитана футбольной команды, потом увидел над окном кафе вывеску «Мороженое», вошел и уселся на высокий табурет.

— Шоколадного, — сказал он лакею-негру.

— Двойной шоколадный сандэ? Что-нибудь еще?

— Пожалуй.

— Булочку с беконом?

— Пожалуй.

Булочки оказались превкусные, он сжевал их четыре штуки, а потом, не наевшись, — еще один двойной шоколадный сандэ. После чего, окинув беглым взглядом развешанные по стенам сувениры, кожаные вымпелы и гибсоновских красавиц, вышел из кафе и, руки в карманах, пошел дальше по Нассау-стрит. Понемногу он учился отличать старшекурсников от новичков, хотя форменные шапки предстояло носить только со следующего понедельника. Те, кто слишком явно, слишком нервно корчил из себя старожилов, были новички, и каждая новая партия их, прибывшая с очередным поездом, тут же растворялась в толпе юнцов без шляп, в белых туфлях, нагруженных книгами, словно нанявшихся без конца шататься взад-вперед по улице, пуская клубы дыма из новеньких трубок. К середине дня Эмори заметил, что теперь уже его самого новички принимают за старшекурсника, и постарался придать себе выражение скушающего превосходства и снисходительной насмешки, которое, как ему казалось, он прочел на большей части окружающих лиц.

В пять часов он ощутил потребность услышать собственный голос и повернул к дому — посмотреть, не приехал ли кто-нибудь еще. Он поднялся по шаткой лестнице и, грустно оглядев свою комнату, пришел к выводу, что нечего и пытаться украсить ее чем-нибудь более облагораживающим, чем те же спортивные вымпелы и портреты чемпионов. В дверь постучали.

— Войдите!

Дверь приоткрылась, и показалось узкое лицо с серыми глазами и веселой улыбкой.

— Молотка не найдется?

— Нет, к сожалению. Может быть, есть у миссис Двенадцать, или как там ее зовут. Незнакомец вошел в комнату.

— Это, значит, ваше обиталище?

Эмори кивнул.

— Сарай сараем, а плата ого-го.

Эмори был вынужден согласиться.

— Я подумывал о студенческом городке, — сказал он, — но там, говорят, почти нет первокурсников, тоска смертная. Не знают, куда себя девать — хоть садись за учебники. Сероглазый решил представиться.

— Моя фамилия Холидэй.

— Моя — Блейн.

Они обменялись рукопожатием, по-модному низко опустив стиснутые руки.

— Вы где готовились?

— Андовер. А вы?

— Сент-Реджис.

— Да? У меня там кузен учился. Они подробно обсудили кузена, а потом Холидэй сообщил, что в шесть часов сговорился пообедать с братом.

— Хотите к нам присоединиться?

— С удовольствием.

В «Кенилворте» Эмори познакомился с Бэрном Холидэем — сероглазого звали Керри — и во время скудного обеда с жиденьким бульоном и пресными овощами они разглядывали других первокурсников, которые сидели в ресторане либо маленькими группками, и тогда выглядели весьма растерянно, либо большими группами, и тогда словно уже чувствовали себя как дома.

— В университетской столовой, я слышал, кормят скверно, — сказал Эмори.

— Да, говорят. Но приходится там столоваться — или, во всяком случае, платить за еду.

— Безобразие!

— Грабеж!

— О, в Принстоне на первом курсе спорить не полагается. Все равно как в школе. Эмори со вздохом кивнул.

— Зато здесь настоящая жизнь, — сказал он. — В Йель я бы и за миллион не поехал.

— Я тоже.

— Что-нибудь для себя выбрали? — спросил Эмори у старшего из братьев.

— Я-то нет. Вот Бэрн — тот рвется в «Принц» — ну, знаете, в «Принстонскую газету».

— Знаю.

— А вы что-нибудь для себя выбрали?

— В общем, да. Хочу попробоваться в курсовой футбольной команде.

— Играли в Сент-Реджисе?

— Немножко, — соскромничал Эмори. — Только я в последнее время ужасно похудел.

— Вы не худой.

— Ну, прошлой осенью я был просто крепыш.

— Да?

Из ресторана они пошли в кино, где Эмори с одинаковым интересом прислушивался и к насмешливым замечаниям молодого человека, сидевшего впереди его, и к оглушительным выкрикам из зала.

— Йохо!

— Мой дорогой — такой большой и сильный — но ах, и нежный притом!

— В клинч!

— В клинч его!

— Ну же, целуй ее, чего медлишь?

— У-у-у!

В одном углу стали насвистывать «На берегу морском», и зал дружно подтянул. За этим последовала песня, в которой слов было не разобрать, так громко все топали ногами, а затем — нечто бесконечное, бессвязное и заунывное:

О! О! О!

На кондитерской фабрике служит она —

Что ж, пусть бог ей за то пошлет.

Но я не поверю, будто без сна —

Черта с два! —

Она варит варенье всю ночь напролет!

О! О! О!

Проталкиваясь к выходу, бросая вокруг и ловя на себе сдержанно любопытные взгляды, Эмори решил, что в кино ему понравилось и держаться там надо так, как те старшекурсники,

что сидели впереди них, — раскинув руки по спинкам кресел, отпуская едкие, остроумные замечания, проявляя одновременно критический склад ума и веселую терпимость.

— Съедем, что ли, мороженое, то есть простите, сандэ? — предложил Керри.

— Обязательно.

Они сытно поужинали и не спеша двинулись к дому.

— Вечер-то какой.

— Красота.

— Вам еще распаковывать чемоданы?

— И верно. Пошли, Бэрн.

Эмори пожелал им спокойной ночи, — сам он решил еще посидеть на крыльце.

В наступившей темноте купы деревьев чернели как призраки. Луна, едва взойдя, прошлась по крышам бледно-голубой краской, и, пробираясь в ночи, застревая в узких расселинах лунного света, до него доносилась песня — песня, в которой явственно звучала печаль, что-то быстрое, невозвратное.

Ему вспомнился рассказ человека, окончившего университет еще в девяностых годах, про одну из любимых забав Бута Таркингтона 4 — как он на рассвете, выйдя на университетский двор, пел тенором песни звездам, будя в душах благонаправленных студентов разнообразные чувства — смотря по тому, кто в каком был настроении.

И тут из темной дали Университетской улицы показалась белая колонна — стройным маршем приближались фигуры в белых костюмах, локтями сцепившись в шеренги, откинув головы.

Все назад, все назад,
Все назад — в Нассау-Холл,
Все назад, все назад,
Всё он в мире превзошел!
Все назад, все назад —
Куда бы рок нас ни завел, —
Эй, от-ряд — все на-зад,
Все на-зад — в Нассау-Холл!

Призрачная процессия была уже близко, и Эмори закрыл глаза. Песня взмыла так высоко, что выдержали одни тенора, но те победно пронесли мелодию через опасную точку и сбросили вниз, в припев, подхваченный хором. Тогда Эмори открыл глаза, все еще опасаясь, как бы зрительный образ не нарушил иллюзию совершенной гармонии.

И тут он даже ахнул от волнения. Во главе белой колонны шагал Алленби, футбольный капитан, стройный и гордый, словно помнящий, что в этом году он должен оправдать надежды всего университета, что именно он, легковес, прорвавшись через широкие алые и синие линии, принесет Принстону победу.

Замеров, Эмори смотрел, как проходит шеренга за шеренгой — локти сцеплены, лица — мутные пятна над белыми спортивными рубашками, голоса сливаются в торжественном гимне, — а потом шествие втянулось под темную арку Кембла и голоса стали затихать, удаляясь к востоку, в сторону университетского городка.

Эмори еще долго сидел не шевелясь. Он пожалел, что правила запрещают первокурсникам выходить из дому после отбоя, — так хотелось побродить по тенистым, сладко пахнущим улочкам, где старейший колледж Уидерспун, как отец в темных одеждах, осеняет своих ампирных детей Вигов и Клио, где Литл черной готической змеей сползает к Паттону и Койлеру, а те, в свою очередь, таинственно властвуют над тихим лугом, что отлого спускается до самого озера.

Принстон при свете дня постепенно просачивался в его сознание — корпуса Вест и Реюнион, детища шестидесятых годов; Зал Семьдесят Девятого, красно-кирпичный, чванный; Нижняя

Пайн и Верхняя Пайн — знатные леди елизаветинских времен, против воли вынужденные жить среди лавочников, и надо всем — устремленные к небу в четком синем взлете романтические шпили башен Холдер и Кливленд.

Он сразу полюбил Принстон — его ленивую красоту, не до конца понятную значительность, веселье тренировок при луне, красивых, нарядных спортсменов и за всем этим пульс борьбы, не утихающей на его курсе. С того первого дня, когда первокурсники, разгоряченные, усталые, сидя в гимнастическом зале, выбрали президентом курса кого-то из школы Хилл, вице-президентом знаменитость из Лоренсвилла, а секретарем — хоккейную звезду из Сент-Пола, и до самого конца второго учебного года она беспрестанно давала себя чувствовать, эта всесильная общественная система, это преклонение, о котором упоминалось лишь изредка, которого как бы и не было, — преклонение перед «вожаком».

Прежде всего — деление по школам. Эмори, единственный питомец Сент-Реджиса, наблюдал, как возникают и растут землячества — Сент-Пол, Помфрет, Хилл, как в столовой они едят за своими определенными столами, в гимнастическом зале переодеваются в определенном углу и бессознательно окружают себя стеной из чуть менее важных, но честолюбивых, которые ограждали бы их от соприкосновения с дружелюбными и слегка растерянными юнцами из городских средних школ. Подметив это, Эмори тут же возненавидел социальные барьеры как искусственные различия, придуманные сильными для ободрения своих слабых приспешников и отстранения почти таких же сильных, как они сами.

Решив стать одним из богов своего курса, он записался на футбольные тренировки, но через две недели, когда в «Принстонской газете» уже появилась о нем заметка, повредил колено, да так серьезно, что на весь сезон выбыл из строя. Пришлось обдумывать свое положение заново.

В «Униви 12» обитало десятка полтора разношерстных вопросительных знаков. Были среди них три-четыре незаметных, испуганных птенца из Лоренс-вилла, два дилетанта-забудыги из частной школы в Нью-Йорке (Керри Холидэй окрестил их «Пьющие плебеи»), один молодой еврей, тоже из Нью-Йорка, и, в утешение Эмори, братья Холидэй, к которым он сразу проникся симпатией.

Холидэев многие считали близнецами, но на самом деле темный шатен Керри был на год старше блондина Бэрна. Керри был высокий, с веселыми серыми глазами и быстрой, подкупающей улыбкой; он сразу стал ментором всего общежития: осаживал сплетников, одергивал хвастунов, всех оделял своим тонким, язвительным юмором. Эмори пытался вместить в разговор о их будущей дружбе все свои идеи о том, какую роль университет призван сыграть в их жизни, но Керри, не склонный принимать слишком многое всерьез, только журил его за преждевременный интерес к сложностям социальной системы, однако же относился к нему хорошо — с усмешкой и с участием.

Бэрн, светловолосый, молчаливый, вечно занятый, появлялся в общежитии как тень — тихо пробирался к себе поздно вечером, а рано утром уже спешил работать в библиотеку — он лихорадочно готовился к конкурсу на редактора «Принстонской», в котором участвовали еще сорок соискателей. В декабре он заболел дифтеритом, и по конкурсу прошел кто-то другой, но в феврале, вернувшись в университет, снова бесстрашно ринулся в бой. Эмори успевал только перекинуться с ним словами по дороге на лекции и обратно и, хотя был, конечно, осведомлен о его заветных планах, по сути, не знал о нем ничего.

У самого Эмори дела шли неважно. Ему недоставало того положения, которое он завоевал в Сент-Реджисе где его знали и восхищались им; но Принстон вдохновлял его, и впереди ждало много такого, что могло разбудить дремавшего в нем Макиавелли — лишь бы за что-то зацепиться для начала. Воображение его занимали студенческие клубы, о которых он летом не без труда почерпнул кое-какие сведения у одного окончившего Принстон: «Плюш» — надменный и до ужаса аристократичный; «Коттедж» — внушительный сплав блестящих авантюристов и щеголей-донжуанов; «Тигр» — широкоплечий и спортивный, энергично и честно поддерживающий традиции подготовительных школ; «Шапка и мантия» — антиалкогольный, с налетом религиозности и политически влиятельный, пламенный «Колониальный», литературный «Квадрат» и десяток других, различных по времени

основания и по престижу.

Все, чем студент младшего курса мог выделиться из толпы, клеймилось словом «высовываться». Насмешливые замечания в кино принимались как должное, но отпускать их без меры значило высовываться, обсуждать сравнительные достоинства клубов значило высовываться; слишком громко ратовать за что-нибудь, будь то вечеринки с выпивкой или трезвенность, значило высовываться. Короче говоря, привлекать внимание к своей особе считалось предосудительным и уважением пользовались те, кто держался в тени — до тех пор, пока после выборов в клубы в начале второго учебного года каждый не оказывался при своем деле уже на все время пребывания в университете.

Эмори выяснил, что сотрудничество в «Нассауском литературном журнале» не сулит ничего интересного, зато место в редакционном совете «Принстонской газеты» — подлинно высокая марка. Смутные мечты о том, чтобы прославиться на спектаклях Английского драматического кружка, увяли, когда он установил, что лучшие умы и таланты сосредоточены в «Треугольнике» — клубе, ставившем музыкальные комедии с ежегодным гастрольным турне на рождественских каникулах. А пока, не находя себе места от одиночества и тревожной неудовлетворенности, строя и отменяя все новые туманные замыслы, он весь первый семестр бездельничал, снedaемый завистью к чужим удачам, пусть даже самым пустячным, теряясь в догадках, почему их с Керри сразу не причислили к элите курса.

Много часов провели они у окон «Униви 12», глядя, как студенты идут в столовую, отмечая, как вожак обрастают свитой, как спешат куда-то, не поднимая глаз от земли, одиночки зубрили, с какой завидной уверенностью держатся группы тех, кто вместе кончали школу.

— Мы — тот самый злосчастный средний класс, вот в чем беда, — пожаловался он однажды неунывающему Керри, лежа на диване и методично закуривая одну сигарету от окурка другой.

— Ну и что же? Мы для того и уехали в Принстон, чтобы так же относиться к мелким университетам, кичиться перед ними — мол, и одеваемся лучше, и в себе уверены — в общем, задирать нос.

— Да я вовсе не против кастовой системы, — признался Эмори, — пускай будет правящая верхушка, кучка счастливых, только понимаешь, Керри, я сам хочу быть одним из них.

— А пока что, Эмори, ты всего-навсего недовольный буржуа.

Эмори отозвался не сразу.

— Ну, это ненадолго, — сказал он наконец. — Только очень уж я не люблю добиваться чего-нибудь тяжелым трудом. Это, понимаешь, оставляет на человеке клеймо.

— Почетные шрамы. — И вдруг Керри, изогнувшись, выглянул на улицу. — Вон, если интересуешься, идет Лангедюк, а следом за ним и Хамберд.

Эмори вскочил и бросился к окну.

— Да, — сказал он, разглядывая этих знаменитостей, — Хамберд — сила, это сразу видно, ну, а Лангедюк — он, видно, играет в неотесанного. Я таким не доверяю. Любой алмаз кажется большим, пока не отшлифован.

— Тебе виднее, — сказал Керри, усаживаясь на место, — ведь ты у нас литературный гений.

— Я все думаю... — Эмори запнулся. — А может быть, правда? Иногда мне так кажется.

Звучит это, конечно, безобразной похвалой, я бы никому и не сказал, кроме тебя.

— А ты не стесняйся, валяй отрасти волосы и печатай стихи в «Литературном», как Д'Инвильерс.

Эмори лениво протянул руку к стопке журналов на столе.

— Ты в последнем номере его читал?

— Никогда не пропускаю. Это, знаешь ли, пальчики оближешь.

Эмори раскрыл журнал и спросил удивленно:

— Он разве на первом курсе?

— Ага.

— Нет, ты только послушай. О господи! Говорит служанка:

Как черный бархат стелется над днем!
В серебряной тюрьме белея, свечи
Качают языки огня, как тени.
О Пия, о Помпия, прочь уйдем...

— Как это, черт возьми, понимать?
— Это сцена в буфетной.

Напряжена, как в миг полета птица,
Лежит на белых простынях она;
Как у святой, к груди прижаты руки...
Явись, явись, прекрасная Куница!

— Черт, Керри, что это все значит? Я, честное слово, не понимаю, а я ведь тоже причастен к литературе.

— Да, закручено крепко, — сказал Керри. — Когда такое читаешь, надо думать о катафалках и о скисшем молоке. Но у него есть и почище.

Эмори швырнул журнал на стол.

— Просто не знаю, как быть, — вздохнул он. — Я, конечно, и сам с причудами, но в других этого терпеть не могу. Вот и терзаюсь — то ли мне развивать свой ум и стать великим драматургом, то ли плюнуть на словари и справочники и стать принстонским прилизой.

— А зачем решать? — сказал Керри. — Бери пример с меня, плыви по течению. Я-то приобрету известность как брат Бэрна.

— Не могу я плыть по течению. Я хочу, чтобы мне было интересно. Хочу пользоваться влиянием, хотя бы ради других, стать или главным редактором «Принстонской», или президентом «Треугольника». Я хочу, чтобы мной восхищались, Керри.

— Слишком много ты думаешь о себе. Это Эмори не понравилось.

— Неправда, я и о тебе думаю. Мы должны больше общаться, именно теперь, когда быть снобом занятно. Мне бы, например, хотелось привести на июньский бал девушку, но только если я смогу держать себя непринужденно, познакомить ее с нашими главными сердцеедами и с футбольным капитаном, и все такое прочее.

— Эмори, — сказал Керри, теряя терпение, — ты ходишь по кругу. Если хочешь выдвинуться — займись чем-нибудь, а не можешь — так не ершись. — Он зевнул. — Выйдем-ка на воздух, а то всю комнату прокурили. Пошли посмотреть футбольную тренировку.

Постепенно Эмори склонился к этой позиции, решил, что карьера его начнется с будущей осени, а пока можно, заодно с Керри, кое-чем поразвлечься и в стенах «Униви 12».

Они засунули в постель молодому еврею из Нью-Йорка кусок лимонного торта; несколько вечеров подряд, дунув на горелку у Эмори в комнате, выключали газ во всем доме, к несказанному удивлению миссис Двенадцать и домового слесаря; все имущество пьющих плебеев — картины, книги, мебель — они перетаскивали в ванную, чем сильно озадачили приятелей, когда те, прокутив ночь в Трентоне и еще не проспавшись, обнаружили такое перемещение; искренне огорчились, когда пьющие плебеи решили обратить все в шутку и не затевать ссоры; они с вечера до рассвета дулись в двадцать одно, банчок и «рыжую собаку», а одного соседа уговорили по случаю дня рождения закатить ужин с шампанским. Поскольку виновник торжества остался трезв, Керри и Эмори нечаянно столкнули его по лестнице со второго этажа, а потом, пристыженные и кающиеся, целую неделю ходили навещать его в больницу.

— Скажи ты мне, кто все эти женщины? — спросил однажды Керри, которому обширная корреспонденция Эмори не давала покоя. — Я тут смотрел на штемпели — Фармингтон и Добс, Уэстовер и Дана-Холл — в чем дело?

Эмори ухмыльнулся.

— Это все более или менее в Миннеаполисе. — Он стал перечислять: — Вот это — Мэрилин де Витт, она хорошенькая и у нее свой автомобиль, что весьма удобно; это — Салли Уэдерби, она растолстела, просто сил нет; это — Майра Сен-Клер, давнишняя пассия, позволяет себя целовать, если кому охота...

— Какой у тебя к ним подход? — спросил Керри. — Я и так пробовал, и этак, а эти вертихвостки меня даже не боятся.

— Ты — типичный «славный юноша», может, поэтому?

— Вот-вот. Каждая мамаша чувствует, что со мной ее дочка в безопасности. Даже обидно, честное слово. Если я пытаюсь взять девушку за руку, она смеется надо мной и не отнимает руку, как будто это посторонний предмет и к ней не имеет никакого отношения.

— А ты играй трагедию, — посоветовал Эмори — Говори, что ты — неистовая натура, умоляй, чтобы она тебя исправила, взбешенный уходи домой, а через полчаса возвращайся — бей на нервы...

Керри покачал головой.

— Не выйдет. Я в прошлом году написал одной девушке серьезное любовное письмо. В одном месте сорвался и написал: «О черт, до чего я вас люблю!» Так она взяла маникюрные ножницы, вырезала «о черт», а остальное показывала всем одноклассникам. Нет, это безнадежно. Я для них просто «добрый славный Керри».

Эмори попробовал вообразить себя в роли «доброго славного Эмори». Ничего не получилось.

Настал февраль с мокрым снегом и дождем, ураганом пронеслась зимняя экзаменационная сессия, а жизнь в «Университете 12» текла все так же интересно, хоть и бессмысленно. Раз в день Эмори заходил поесть сандвичей, корнфлекса и картофеля «жюльен» «У Джо», обычно вместе с Керри или с Алексом Коннеджем. Последний был немногословный прилиз из школы Хочкисс, который жил в соседнем доме и, так же как Эмори, поневоле держался особняком, потому что весь его класс поступил в Йель. Ресторанчик «У Джо» не радовал глаз и не блистал чистотой, но там можно было подолгу кормиться в кредит, и Эмори ценил это преимущество. Его отец недавно провел какие-то рискованные операции с акциями горнопромышленной компании, и содержание, которое он определил сыну, было хотя и щедрое, но намного скромнее, чем тот ожидал.

«У Джо» было хорошо еще тем, что туда не заглядывали любознательные старшекурсники, так что Эмори, в обществе приятеля или книги, каждый день ходил туда, рискуя сгубить свое пищеварение. Однажды в марте, не найдя свободного столика, он уселся в углу зала напротив другого студента, прилежно склонившегося над книгой. Они обменялись кивками. Двадцать минут Эмори уплетал булочки с беконом и читал «Профессию миссис Уоррен» (на Бернарда Шоу он наткнулся случайно, когда во время сессии рылся в библиотеке); за это время его визави, тоже не переставая читать, уничтожил три порции взбитого молока с шоколадом.

Наконец Эмори стало любопытно, что тот читает. Он разобрал вверх ногами заглавие и фамилию автора «Марпесса», стихи Стивена Филлипса. Это ничего ему не сказало, поскольку до сих пор его познания в поэзии сводились к хрестоматийной классике типа «Мод, сойди в тенистый сад» Теннисона и к навязанным ему на лекциях отрывкам из Шекспира и Мильтона.

Чтобы как-то вступить в разговор, он сперва притворно углубился в свою книгу, а потом воскликнул, как бы невольно:

— Да, вещь первый сорт!

Незнакомый студент поднял голову, и Эмори изобразил замешательство.

— Это вы про свою булочку? — Добрый, чуть надтреснутый голос как нельзя лучше гармонировал с большими очками и с выражением искреннего интереса ко всему на свете.

— Нет, — отвечал Эмори, — это я по поводу Бернарда Шоу. — Он указал на свою книгу.

— Я ничего его не читал, все собираюсь. — И продолжал после паузы: — А вы читали Стивена Филлипса? И вообще поэзию любите?

— Еще бы, — горячо отозвался Эмори. — Филлипса я, правда, читал немного. (Он никогда и не слышал ни о каком Филлипсе, если не считать покойного Дэвида Грэма. 5)

— По-моему, очень недурно. Хотя он, конечно, викторианец.

Они пустились в разговор о поэзии, попутно представились друг другу, и собеседником Эмори оказался «тот заумный Томас Парк Д'Инвильерс», что печатал страстные любовные стихи в «Литературном журнале». Лет девятнадцати, сутулый, голубоглазый, он, судя по общему его облику, не очень-то разбирался в таких захватывающих предметах, как соревнование за место в социальной системе, но литературу он любил, и Эмори подумал, что таких людей не встречал уже целую вечность. Если б только знать, что группа из Сент-Пола за соседним столом не принимает его самого за чудака, он был бы чрезвычайно рад этой встрече. Но те как будто не обращали внимания, и он дал себе волю — стал перебирать десятки произведений, которые читал, о которых читал, про которые и не слышал, — сыпал заглавиями без запинки, как приказчик в книжном магазине Брентано. Д'Инвильерс в какой-то мере поддался обману и возрадовался безмерно. Он уже почти пришел к выводу, что Принстон состоит наполовину из безнадежных филистеров, а наполовину из безнадежных зубрил, и встретить человека, который говорил о Китсе без ханжеских ужимок и в то же время явно привык мыть руки, было для него праздником.

— А Оскара Уайльда вы читали? — спросил он.

— Нет. Это чье?

— Это человек, писатель, неужели не знаете?

— Ах да, конечно. — Что-то слабо шевельнулось у Эмори в памяти. — Это не о нем была оперетка «Терпение»?

— Да, о нем. Я только что прочел одну его вещь, «Портрет Дориана Грея», и вам очень советую. Думаю, что понравится. Если хотите, могу дать почитать.

— Ну конечно, спасибо, очень хочу.

— Может быть, зайдете ко мне? У меня и еще кое-какие книги есть.

Эмори заколебался, бросил взгляд на компанию из Сент-Пола — среди них был и великолепный, неподражаемый Хамберд — и прикинул, что ему даст приобретение этого нового друга. Он не умел, и так никогда и не научился, заводить друзей, а потом избавляться от них — для этого ему не хватало твердости, так что он мог только положить на одну чашу весов бесспорную привлекательность и ценность Томаса Парка Д'Инвильерса, а на другую — угрозу холодных глаз за роговыми очками, которые, как ему казалось, следили за ним через проход между столиками.

— Зайду с удовольствием.

Так он обрел «Дориана Грея» и «Деву скорбей Долорес», и «La belle dame sans merci» 6 . Целый месяц он только ими и жил. Весь мир стал увлекательно призрачным, он пытался смотреть на Принстон пресыщенным взглядом Оскара Уайльда и Суинберна, или «Фингала О'Флаэрти» и «Альджернона Чарльза», как он их называл с претенциозной шутливостью. До поздней ночи он пожирал книги — Шоу, Честертона, Барри, Пинеро, Йетса, Синга, Эрнеста Доусона, Артура Саймонса, Китса, Зудермана, Роберта Хью Бенсона, «Савойские оперы» — все подряд, без разбора: почему-то ему вдруг показалось, что он годами ничего не читал.

Томас Д'Инвильерс стал сначала не столько другом, сколько поводом. Эмори виделся с ним примерно раз в неделю, они вместе позолотили потолок в комнате Тома, обили ее фабричными гобеленами, купленными на распродаже, украсили высокими подсвечниками и узорными занавесями. Эмори привлекали в Томе ум и склонность к литературе без тени изнеженности или аффектации. Из них двоих больше пыжился сам Эмори. Он старался, чтобы каждое его замечание звучало как эпиграмма, что не так уж трудно, если относиться к искусству эпиграммы не слишком взыскательно. В «Униви 12» все это было воспринято как новая забава. Керри прочел «Дориана Грея» и изображал лорда Генри — ходил за Эмори по пятам, называл его «Дориан» и делал вид, что поощряет его порочные задатки и томный, скучающий цинизм. Когда Керри вздумал разыграть эту комедию в столовой, к великому изумлению окружающих, Эмори от смущения страшно обозлился и в дальнейшем блистал эпиграммами только при Томе Д'Инвильерсе или у себя перед зеркалом.

Однажды Том и Эмори попробовали читать стихи — свои и лорда Дансэни — под музыку, для чего был использован граммофон Керри.

— Давай нараспев! — кричал Том. — Ты не урок отвечаешь. Нараспев!

Эмори, выступавший первым, надулся и заявил, что не годится пластинка — слишком много рояля. Керри в ответ стал кататься по полу, давясь от смеха.

— А ты заведи «Цветок и сердце», — предложил он. — Ой, не могу, держите меня!

— Выключите вы этот чертов граммофон, — воскликнул Эмори, весь красный от досады. — Я вам не клоун в цирке.

Тем временем он не оставлял попыток деликатно открыть Д'Инвильерсу глаза на пресловутую социальную систему, — он был уверен, что по существу в этом поэте меньше от бунтаря, чем в нем самом, и стоит ему прилизать волосы, ограничить себя в разговорах и завести шляпу потемнее оттенком, как любой ревнитель условностей признает его своим. Однако нотации на тему о фасоне воротничков и строгих галстуках Том пропускал мимо ушей, даже отмахивался от них, и Эмори отступился — только наведывался к нему раз в неделю да изредка приводил его в «Универс 12». Насмешники соседи прозвали их «Доктор Джонсон и Босуэлл». 7

Алек Коннедж, чаще заходивший в гости, в общем относился к Д'Инвильерсу хорошо, но побаивался его как «заумного». Керри, разглядевший за его болтовней о поэзии крепкую, почти респектабельную сердцевину, от души наслаждался и, заставляя его часами читать стихи, лежал с закрытыми глазами у Эмори на диване и слушал:

Она проснулась или спит? На шее
След пурпурный лобзанья все виднее;
Кровь из него сочится — и она
От этого прекрасней и нежнее...

— Это здорово, — приговаривал он вполголоса. — Это старший Холидэй одобряет. По всему видно, великий поэт.

И Том, радуясь, что нашлась публика, без усталости декламировал «Поэмы и баллады», так что Керри и Эмори скоро уже знали их почти так же хорошо, как он сам.

Весной Эмори принялся сочинять стихи в садах больших поместий, окружающих Принстон, где лебеди на глади прудов создавали подходящую атмосферу и облака неспешно и стройно проплывали над ивами. Май наступил неожиданно быстро, и, вдруг почувствовав, что стены не дают ему дышать, он стал бродить по университетскому городку в любое время дня и ночи, под звездами и под дождем.

ВЛАЖНАЯ СИМВОЛИЧЕСКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Пала ночная мгла. Она волнами скатилась с луны, покружилась вокруг шпилей и башен, потом осела ближе к земле, так что сонные пики по-прежнему гордо вонзались в небо. Фигуры людей, днем сновавшие, как муравьи, теперь мелькали на переднем плане подобно призракам. Таинственнее выглядели готические здания, когда выступали из мрака, прорезанные сотнями бледно-желтых огней. Вдали, непонятно где, пробило четверть, и Эмори, дойдя до солнечных часов, растянулся на влажной траве. Прохлада освежила его глаза и замедлила полет времени — времени, что украдкой пробралось сквозь ленивые апрельские дни, неуловимо мелькнуло в долгих весенних сумерках. Из вечера в вечер над университетским городком красиво и печально разносилось пение старшекурсников, и постепенно, пробившись сквозь грубую оболочку первого курса, в душу Эмори снизошло благоговение перед серыми стенами и шпилями, символическими хранителями духовных ценностей минувших времен.

Башня, видная из его окна, шпиль которой тянулся все выше и выше, так что верхушка его

была едва различима на фоне утреннего неба, — вот что впервые навело его на мысль о том, как недолговечны и ничтожны люди, если не видеть в них преемников и носителей прошлого. Ему приятно было узнать, что готическая архитектура, вся устремленная ввысь, особенно подходит для университетов, и он ощутил это как собственное открытие. Ровные лужайки, высокие темные окна — лишь редко где горит свет в кабинете ученого, — крепко завладели его воображением, и символом этой картины стала чистая линия шпиля.

— К черту, — произнес он громким шепотом, смочив ладони о влажную траву и приглаживая волосы. — С будущего года берусь за дело. — И однако он знал, что дух шпилей и башен, сейчас вселивший в него мечтательную готовность к действию, отпугнет его, когда придет время. Пусть сейчас он сознает только свою незначительность, — первое же усилие даст ему почувствовать, как он слаб и безволен.

Принстон спал и грезил — грезил наяву. Эмори ощутил какую-то нервную дрожь — может быть, отклик на неспешное биение университетского сердца. Река, в которую ему предстоит бросить камень, и еле видные круги от него почти тотчас исчезнут. До сих пор он не дал ничего. И не взял ничего.

Запоздалый первокурсник, шурша клеенчатым плащом, прошлепал по отсыревшей дорожке. Где-то под невидимым окном прозвучало неизбежное «Подойди на минутку». И до сознания его наконец дошли сотни мельчайших звуков, заполнивших пелену тумана.

— О господи! — воскликнул он вдруг и вздрогнул от звука собственного голоса. Моросил дождь. Еще минуту Эмори лежал неподвижно, сжав кулаки. Потом вскочил, ощупал себя и сказал вслух, обращаясь к солнечным часам:

— Промок до нитки!

НЕМНОЖКО ИСТОРИИ

Летом того года, когда Эмори перешел на второй курс, в Европе началась война. Бросок немецких войск на Париж вызвал у него чисто спортивный интерес, в остальном же он остался спокоен. Подобно зрителю, забавляющемуся мелодрамой, он надеялся, что спектакль будет длинный и крови прольется достаточно. Если бы война тут же кончилась, он разозлился бы, как человек, купивший билет на состязание в боксе и узнавший, что противники отказались драться.

А больше он ничего не понял и не почувствовал.

«ОГО-ГОРТЕНЗИЯ!»

— Эй, фигурантки!

— Начинаем!

— Эй, фигурантки, может, хватит дуться в кости, время-то не ждет.

— Ну же, фигурантки?

Режиссер бестолково бушевал, президент клуба «Треугольник», сам не свой от волнения, то раздражался властными выкриками, то в полном изнеможении валился на стул, уверяя себя, что никаким чудом им не успеть подготовить спектакль к началу каникул.

— Ну, так. Репетируем песню пиратов.

Фигурантки, затаившись напоследок сигаретами, заняли свои места; премьерша выбежала на передний план, грациозно жестикулируя руками и ногами, и под хлопки режиссера, громко отбивавшего такт, танец, плохо ли, хорошо ли, был исполнен.

Клуб «Треугольник» являл собой подобие огромного растревоженного муравейника. Каждый год он ставил музыкальную комедию, и в течение всех зимних каникул труппа, хор, оркестр и декорации разъезжали из города в город. Текст и музыку писали сами студенты. Клуб пользовался громкой славой: больше трехсот желающих ежегодно помогали чести стать его членами.

Эмори, с легкостью пройдя в первом же туре второго курса в редакционный совет «Принстонской газеты», вдобавок был введен в труппу на роль пирата по кличке «Кипящий

вар». Последнюю неделю они репетировали «Ого-Гортензию!» ежедневно, с двух часов дня до восьми утра, поддерживая себя крепким кофе, а в промежутке отсыпаясь на лекциях. Поразительную картину являл собой зал, где шли репетиции. Большое помещение, похожее на сарай, и в нем — студенты-пираты, студенты-девушки, студенты-младенцы; с грохотом воздвигаются декорации; осветитель, проверяя прожектор, направляет слепящие лучи прямо в чьи-то негодующие глаза; и все время либо настраивается оркестр, либо звучит лихая клубная песня. Студент, который сочиняет вставные стихи, стоит в углу и грызет карандаш: через двадцать минут должны быть готовы еще два куплета — для биса. Казначей и секретарь спорят о том, сколько денег можно истратить на «эти чертовы костюмы для фермерских дочек»; ветеран, бывший президентом клуба в 98-м году, уселся на высокий ящик и вспоминает, насколько проще все это было в его время.

Как «Треугольнику» вообще удавалось подготовить спектакль — это покрыто тайной, но сама подготовка велась азартно, независимо от того, кто из участников заслужит право носить брелок в виде крошечного золотого треугольника. «Ого-Гортензию!» переписывали шесть раз, и на программах значились фамилии всех девяти авторов. Каждая постановка «Треугольника» в первом варианте преподносилась как «что-то новое, не просто еще одна музыкальная комедия», но, пройдя через руки нескольких авторов, режиссера, президента и факультетской комиссии, сводилась все к тем же старым, проверенным канонам, с теми же старыми, проверенными шутками, и так же буквально накануне отъезда оказывалось, что главный комик не то исключен, не то заболел, и так же ругали брюнета из состава фигуранток за то, что «он, черт его дери, не желает бриться два раза в день».

В «Ого-Гортензии!» был один блестящий эпизод. В Принстоне существует поверье, что когда питомец Йеля, член прославленного клуба «Череп и Кости», слышит упоминание этого священного братства, он обязан покинуть помещение. Существует и другое поверье: что эти люди неизменно достигают больших успехов в жизни — собирают уйму денег, или голосов, или купонов — словом, того, что надумают собирать. И вот на каждом представлении «Ого-Гортензии!» шесть билетов не пускали в продажу, а на непроданные места сажали самых страшных оборванцев, каких удавалось нанять на улице, да еще приукрашенных стараниями клубного гримера. Когда по ходу действия «Арбалет, глава пиратов» говорит, указуя на свой черный флаг: «Я окончил Йель — вот они. Череп и Кости!» — шести оборванцам было предписано демонстративно встать и выйти из зала, всем своим видом выражая глубокую печаль и оскорбленное достоинство. Утверждали, впрочем без достаточных оснований, что был случай, когда к шести подставным питомцам Йеля присоединился один настоящий.

За время каникул они выступали перед избранной публикой в восьми городах. Эмори больше всего понравились Луисвилл и Мемфис: здесь умели встретить гостей, варили сногшибательный пунш и предлагали взорам поразительное количество красивых женщин. Чикаго он одобрил за особый задор, выражавшийся не только в громком вульгарном говоре, но поскольку Чикаго тяготел к Йелю и через неделю туда должен был прибыть йельский клуб «Веселье», принстонцам досталась только половина оаций. В Балтиморе они чувствовали себя как дома и все поголовно влюбились. Крепкие напитки потреблялись там в изобилии; кто-нибудь из актеров неизменно выходил на сцену в подпитии и потом уверял, что этого требовала его трактовка роли. В их распоряжении было три железнодорожных вагона, но спали только в третьем, так называемом «телячьем», куда запихнули оркестрантов. Все происходило в такой спешке, что скучать было некогда, но когда они, уже к самому концу каникул, прибыли в Филадельфию, приятно было отдохнуть от спертой атмосферы цветов и грима, и фигурантки со вздохом облегчения сняли корсеты с натруженных животов.

Когда гастроли кончились, Эмори на всех парах помчался в Миннеаполис, потому что Изабелла Борже, кузина Салли Уэдерби, должна была провести там зиму, пока ее родители будут за границей. Изабеллу он помнил маленькой девочкой, с которой когда-то играл. Потом она уехала в Балтимор — но с тех пор успела обзавестись прошлым.

Эмори чувствовал необычайный подъем, он строил планы, нервничал, ликовал. Лететь на свидание с девушкой, которую он знал в детстве, — это казалось ему в высшей степени

интересным и романтичным, так что он без зазрения совести телеграфировал матери, чтобы не ждала его... сидел в поезде и тридцать шесть часов без перерыва думал о себе.

НОВОЕ В ЖИЗНИ АМЕРИКИ

Во время гастрольной поездки Эмори постоянно сталкивался с важным новым явлением американской жизни, именуемым «вечеринки с поцелуями».

Ни одна викторианская мать — а викторианскими были почти все матери — и вообразить не могла, как легко и привычно ее дочь позволяет себя целовать. «Так ведут себя только горничные, — говорит своей веселой дочке миссис Хастон-Кармелайт. — Их сначала целуют, а потом делают им предложение». А веселая дочка, Общая Любимица, в возрасте от шестнадцати до двадцати двух лет каждые полгода объявляет о своей новой помолвке и наконец выходит замуж за молодого Хамбла из фирмы «Камбл и Хамбл», который пребывает в уверенности, что он — ее первая любовь, да еще в промежутках между помолвками Общая Любимица (выбранная по тому признаку, что ее чаще всех перехватывают на танцах, в соответствии с теорией естественного отбора), еще нескольких вздыхателей дарит прощальными поцелуями при лунном свете, у горящего камина или в полной темноте.

На глазах у Эмори девушки проделывали такое, что еще на его памяти считалось немыслимым: ужинали в три часа ночи в несусветных кафе, рассуждали о всех решительно сторонах жизни — полусерьезно, полунасмешливо, однако не умея скрыть возбуждения, в котором Эмори усматривал серьезный упадок нравственности. Но как широко это явление распространилось — это он понял лишь тогда, когда все города от Нью-Йорка до Чикаго предстали перед ним как сплошная арена негласной распущенности молодежи.

Отель «Глаза», за окном зимние сумерки, смутно доносится стук барабанов в оркестре... В полном параде они беспокойно слоняются по вестибюлю, заказывают еще по коктейлю и ждут. И вот через вращающуюся дверь с улицы проскальзывают три фигурки в мехах. Потом — театр, потом — столик в «Ночных забавах» — разумеется, присутствует и чья-то мама, но это только значит, что требуется особая осторожность, и вот чья-то мама уже сидит одна у покинутого столика и думает, что не так страшны эти развлечения, как их малюют, только уж очень утомительны. А Веселая Дочка опять влюблена... И вот что странно: ведь в такси было сколько угодно места, а дочку и этого студентика почему-то не взяли, и пришлось им ехать отдельно, в другом автомобиле. Странно? А вы не заметили, как у Веселой Дочки горели щеки, когда она наконец явилась с опозданием на семь минут? Но этим девицам все сходит с рук.

На смену «царице бала» пришла «фея флирта», на смену «фее флирта» — «вамп». «Царица бала» что ни день принимала по пять-шесть визитеров. Если у Веселой Дочки их случайно встретилось двое, тот из них, с кем она заранее не сговорилась, окажется в очень неудобном положении. В перерывах между танцами «царицу бала» окружал десяток кавалеров. А Веселая Дочка? Где она обретается в перерывах между танцами? Попробуй-ка найди ее!

Та же самая девушка... с головой погрузившаяся в атмосферу дикарской музыки и поколебленных моральных устоев. У Эмори даже сердце замирало при мысли, что любую красивую девушку, с которой он познакомился до восьми часов вечера, он еще до полуночи почти наверняка сможет поцеловать.

— Зачем мы, собственно, здесь? — спросил он однажды девушку с зелеными гребнями, сидя с ней в чем-то лимузине у загородного клуба в Луисвилле.

— Не знаю. Просто у меня такое настроение.

— Будем честны — ведь мы же никогда больше не встретимся. Мне хотелось прийти сюда с вами, потому что, по-моему, вы здесь — самая красивая. Но вам-то совершенно все равно, что больше вы никогда меня не увидите, правда?

— Правда... но скажите, у вас ко всем девушкам такой подход? Чем я это заслужила?

— И вовсе вы не устали танцевать, и вовсе вас не тянуло покурить, это все говорилось для отвода глаз. Вам просто захотелось...

— Раз вам угодно заниматься анализом, — перебила она, — пошли лучше в дом. Не хочу я об этом говорить.

Когда в моду вошел безрукавный, плотной вязки пуловер, Эмори в минуту вдохновения окрестил его «целовальной рубашкой», и название это Веселые Дочки и их кавалеры разнесли по всей стране.

ОПИСАТЕЛЬНАЯ

Эмори шел девятнадцатый год, он был чуть ниже шести футов ростом и на редкость, хоть и не стандартно, красив. Лицо у него было очень юное, но наивности его противоречили пронизательные зеленые глаза, опущенные длинными темными ресницами. Ему не хватало той чувственной притягательности, что так часто сопутствует красоте и в женщинах и в мужчинах; обаяние его было скорее духовного свойства, и он не умел то включать его, то выключать, как электричество. Но тем, кто видел его лицо, оно запоминалось надолго.

ИЗАБЕЛЛА

На верхней площадке она остановилась. В груди ее теснились ощущения, которые полагается испытывать пловцам перед прыжком с высокого трамплина, премьершам перед выходом в новой постановке, рослым, нескладным юнцам в день ответственного матча. По лестнице ей подошло бы спускаться под барабанный бой или под попури из «Таис» или «Кармен». Никогда еще она так не заботилась о своей наружности и не была ею так довольна. Ровно полгода назад ей исполнилось шестнадцать лет.

— Изабелла! — окликнула ее Салли из открытой двери гардеробной.

— Я готова. — От волнения ей слегка сдавило горло.

— Я послала домой за другими туфлями. Подожди минутку.

Изабелла двинулась было в гардеробную, чтобы еще раз взглянуть на себя в зеркало, но почему-то передумала и осталась стоять, глядя вниз с широкой лестницы клуба Миннеаполиса. Лестница делала предательский поворот, и ей были видны только две пары мужских ног в нижнем холле. В одинаковых черных лакированных туфлях, они ничем не выдавали своих владельцев, но ей ужасно хотелось, чтобы одна из них принадлежала Эмори Блейну. Этот молодой человек, которого она еще не видела, тем не менее занял собой значительную часть ее дня — дня ее приезда в Миннеаполис. По дороге с вокзала Салли, забросав ее вопросами, рассказами, признаниями и домыслами, между прочим сообщила:

— Ты, конечно, помнишь Эмори Блейна. Так вот, он просто жаждет опять с тобой встретиться. Он решил на день опоздать в колледж и нынче вечером будет в клубе. Он много о тебе слышал — говорит, что помнит твои глаза.

Это Изабелле понравилось. Значит, и он ею интересуется. Впрочем, она привыкла налаживать романтические отношения и без предварительной рекламы. Но одновременно с приятным предчувствием у нее екнуло сердце, и она спросила:

— Ты говоришь, он обо мне слышал? Что именно? Салли улыбнулась. При своей интересной кухне она чувствовала себя чем-то вроде импресарио.

— Он знает, что тебя считают очень хорошенькой... — она сделала паузу — ...и наверно знает, что ты любишь целоваться.

При этих словах Изабелла невольно стиснула кулачки под меховой накидкой. Она уже привыкла к тому, что ее грешное прошлое следует за нею повсюду, и это ее раздражало — но, с другой стороны, в новом городе такая репутация могла и пригодиться. Про нее говорят, что она «распущенная»? Ну что ж, пусть проверят.

В окно машины она глядела на морозное, снежное утро. Она и забыла, насколько здесь холоднее, чем в Балтиморе. Стекло дверцы обледенело, в окошках по углам налип снег. А мысли ее возвращались все к тому же. Интересно, он тоже одевается, как вон тот парень, что преспокойно шагает по людной улице в мокасинах и каком-то карнавальном костюме? Как это типично для Запада! Нет, он, наверно, не такой, ведь он учится в Принстоне, уже на втором

курсе, кажется. Помнила она его очень смутно. Сохранился старый любительский снимок, и на нем главным образом большие глаза (теперь-то он, наверно, и весь не маленький). Но за последний месяц, после того как было решено, что она поедет гостить к Салли, он вырос до размеров достойного противника. Дети, эти хитроумные сводники, строят свои планы быстро, к тому же и Салли по мере сил подогревала ее легко воспламеняющуюся натуру. Изабелла уже не раз оказывалась способна на очень сильные, хоть и очень преходящие чувства...

Они подкатили к внушительному белокаменному особняку, стоявшему отступя от заснеженной улицы. Миссис Уэдерби встретила ее ласково и радушно, из разных углов появились младшие кузены и кузины и вежливо с ней поздоровались. Изабелла держалась с большим тактом. Она, когда хотела, умела расположить к себе всех, с кем встречалась, — кроме девушек старше себя и некоторых женщин. И впечатление, производимое ею, всегда было точно рассчитано. Несколько девиц, с которыми она в тот день возобновила знакомство, по достоинству оценили и ее, и ее репутацию. Но Эмори Блейн остается загадкой. Видимо, он отчаянный ухажер и пользуется успехом, хотя не так чтобы очень, очевидно, все эти девушки рано или поздно с ним флиртовали, но сколько-нибудь полезных сведений не сообщила ни одна. Он непременно в нее влюбится. Салли заранее оповестила об этом своих подружек, и, едва увидев Изабеллу, они сами стали уверять ее в этом. А Изабелла про себя решила, что, если потребует, она заставит себя им увлечься — не подводить же Салли. Может быть, сама-то она в нем и разочаруется. Салли расписала его в самых привлекательных красках: красив, как бог, и «так благородно держится, когда захочет», и подход у него есть, и непостоянства хватает. Словом — весь букет тех качеств, которые в ее возрасте и в ее среде ценились на вес золота. Интересно все-таки, это его или не его бальные туфли выделывают па фокстрота на мягком ковре вестибюля?

Впечатления и мысли у Изабеллы всегда сменялись с калейдоскопической быстротой. У нее был тот светски-артистический темперамент, который часто встречается и среди светских женщин, и среди актрис. Свое образование, или, вернее, опыт, она почерпнула у молодых людей, помогавшихся ее благосклонности, такт был врожденный, а круг поклонников ограничен только числом телефонов у подходящих молодых людей, обитавших по соседству. Кокетство лучилось из ее больших темно-карих глаз, смягчало улыбкой ее откровенную чувственную прелесть.

И вот она стояла на верхней площадке клуба и ждала, пока придут забытые дома туфли. Она уже начала терять терпение, но тут из гардеробной появилась Салли, как всегда, веселая, сияющая, и пока они вместе спускались по лестнице, словно лучи прожектора освещали в уме Изабеллы поочередно две мысли: «Слава богу, я сегодня не бледная» и «Интересно, а танцует он хорошо?».

Внизу, в большом зале клуба, ее сперва окружили те девицы, с которыми она повидалась днем, потом она услышала голос Салли, перечислявшей фамилии, и машинально поздоровалась с шестью черно-белыми, негнушными, смутно знакомыми манекенами. Мелькнула там и фамилия Блейн, но она не сразу разобралась, к кому ее приклеить. Все стали неумело пятиться и сталкиваться и в результате этой путаницы оказались обременены самыми нежелательными партнерами. С Фрогги Паркером, с которым Изабелла когда-то играла в «классы» — теперь он только что поступил в Гарвард, — она ловко ускользнула на диванчик у лестницы. Ей хватило одного шуточного упоминания о прошлом. Просто диву даешься, как она умела обыграть такое невинное замечание. Сперва она повторила его прочувствованным контральто с чуть заметной южной интонацией, потом с чарующей улыбкой, словно оценила со стороны, потом снова произнесла с небольшими вариациями, наделив нарочитой значительностью — причем все это было облечено в форму диалога. Фрогги, замирая от счастья, не подозревал, что комедия эта разыгрывается вовсе не для него, а для тех зеленых глаз, что поблескивали из-под тщательно приглаженных волос чуть левее от них: Изабелла наконец-то обнаружила Эмори. Подобно актрисе, когда она чувствует, что уже покорила зрительный зал, и теперь уделяет главное внимание зрителям первого ряда, Изабелла исподтишка изучала Эмори. Оказалось, что волосы у него каштановые, и по тому, что это ее разочаровало, она поняла, что ожидала увидеть жгучего

брюнета, притом стройного, как на рекламе новых подтяжек. А еще она отметила легкий румянец и греческий профиль, особенно эффектный в сочетании с узким фраком и пышной шелковой манишкой из тех, что все еще пленяют женщин, хотя мужчинам уже изрядно надоели.

Эмори выдержал ее осмотр не дрогнув.

— Вы со мной не согласны? — вдруг как бы невзначай обратилась к нему Изабелла.

Обходя кучки гостей, к ним приближалась Салли и с ней еще кто-то. Эмори подошел к Изабелле вплотную и шепнул:

— За ужином сядем вместе. Мы же созданы друг для друга.

У Изабеллы захватило дух. Это уже было похоже на «подход». Но одновременно она чувствовала, что одну из лучших реплик отняли у звезды и передали чуть ли не статисту... Нет, этого она не допустит. Под взрывы смеха молодежь рассаживалась за длинным столом и много любопытных глаз следило за Изабеллой. Польщенная этим, она оживилась и разругалась, так что Фрогги Паркер, заглядевшись на нее, забыл пододвинуть Салли стул и отчаянно от этого смутился. По другую руку от нее сидел Эмори — уверенный, самодовольный, и, не скрываясь, любовался ею. Он заговорил сразу, так же как и Фрогги:

— Я много о вас слышал с тех пор, как вы перестали носить косички...

— Смешно сегодня получилось...

Оба одновременно умолкли. Изабелла робко повернулась к Эмори. Обычно ее понимали без слов, но сейчас она не стала молчать:

— От кого слышали? Что?

— От всех — с тех самых пор, как вы отсюда уехали.

Она вспыхнула и потупилась. Справа от нее Фрогги Паркер уже «сошел с дорожки», хотя еще не успел это понять.

— Я вам расскажу, какой помнил вас все эти годы, — продолжал Эмори. Она чуть наклонилась в его сторону, скромно разглядывая веточку сельдерея у себя на тарелке. Фрогги вздохнул — он хорошо знал Эмори и как тот блестяще использует такие ситуации. Он решительно повернулся к Салли и осведомился, думает ли она с осени уехать в колледж. Эмори же сразу повел огонь картечью.

— У меня для вас есть один очень подходящий эпитет. — Это был его излюбленный гамбит. Никакого определенного слова он при этом в виду не имел, но в собеседнице пробуждалось любопытство, а на худой конец всегда можно было придумать что-нибудь лестное.

— Правда? Какой же? Эмори покачал головой.

— Я вас еще недостаточно знаю.

— А потом скажете? — спросила она еле слышно. Он кивнул.

— Мы пропустим танец и поболтаем. Изабелла кивнула.

— Вам кто-нибудь говорил, что у вас пронзительные глаза?

Эмори постарался сделать их еще пронзительнее. Ему показалось, — или только почудилось? — что она под столом коснулась ногой его ноги. Впрочем, это могла быть просто ножка стола. Трудно сказать. А если все-таки?.. Он стал быстро соображать, как бы им уединиться в маленькой гостиной на втором этаже.

МЛАДЕНЦЫ В ЛЕСУ

Невинными младенцами ни Эмори, ни Изабелла, безусловно, не были, но не были они и порочны. К тому же эти ярлыки не играли большой роли в той игре, которую они затеяли и которая в ее жизни должна была занять главное место на ближайшие несколько лет. Как и у Эмори, все началось у нее с красивой внешности и беспокойного нрава, а дальнейшее пришло от прочитанных романов и разговоров, подслушанных среди девушек постарше ее годами. Изабелла уже в десять лет усвоила кукольную походку и наивный взгляд широко раскрытых блестящих глаз. Эмори смотрел на вещи чуть более трезво. Он ждал, когда она сбросит маску, но ее права носить маску не оспаривал. Она, со своей стороны, не обольщалась его личиной многоопытного скептика. Проведя юность в более крупном городе,

она повидала больше разных людей. Но позу его приняла — это входило в число мелких условностей, необходимых в такого рода отношениях.

Он понимал, что ее исключительными милостями обязан тщательной подготовке со стороны, знал, что сейчас в ее поле зрения нет никого более интересного и что пользоваться этим нужно, пока его не заслонил кто-нибудь другой. И оба проявляли изворотливость и хитрость, от которых ее родители пришли бы в ужас.

...После ужина, как положено, начались танцы. Как положено? Изабеллу перехватывали на каждом шагу, а потом молодые люди пререкались по углам: «Мог бы потерпеть еще минут десять!» или: «Ей это тоже не понравилось, она сама мне сказала, когда я в следующий раз ее отбил». И это не было ложью — она повторяла то же всем подряд, и каждому на прощание пожимала руку словно говоря: «Вы же понимаете, я сегодня вообще танцую только ради вас».

Но время шло, и часов в одиннадцать, когда менее догадливые кавалеры обратили свои псевдострастные взоры на других претенденток, Изабелла и Эмори уже сидели на диване в верхней маленькой гостиной позади библиотеки. Она твердо помнила, что они — самая красивая пара и что им сам бог велел искать интимной обстановки, пока не столь яркие пташки порхают и щебечут внизу.

Молодые люди, проходя мимо маленькой гостиной, заглядывали в нее с завистью, девушки на ходу улыбались, хмурились и кое-что запоминали на будущее.

А они сейчас достигли вполне определенной стадии. Они успели обменяться сведениями о том, как жили после того, как виделись в детстве, причем многое из этого она уже слышала раньше. Он сейчас на втором курсе, член редакционного совета «Принстонской газеты», на будущий год надеется стать ее главным редактором. Эмори со своей стороны узнал, что некоторые ее знакомые мальчики в Балтиморе «ужасно распушенные», на танцы приходят нетрезвые, многим из них уже по двадцать лет и почти все разъезжают на красных «штуцах». Чуть не половину их успели исключить из разных школ и колледжей, но некоторые видные спортсмены: одни имена их вызывали в ней уважение. Правду сказать, знакомство Изабеллы с университетской молодежью еще едва началось. Несколько студентов, видевших ее мельком, утверждали, что «малышка недурна — стоит посмотреть, что из нее получится». Но по ее рассказам выходило, что она участвовала в оргиях, способных поразить даже какого-нибудь австрийского барона. Такова сила юного контральто, воркующего на низком широком диване.

Эмори спросил, не считает ли она, что он о себе слишком высокого мнения. Она ответила, что между высоким мнением о себе и уверенностью в себе — большая разница. А уверенным в себе мужчина должен быть обязательно.

— Вы с Фрогги большие друзья? — спросила она.

— В общем, да, а что?

— Танцует он жутко. Эмори рассмеялся.

— Он танцует так, точно не ведет девушку, а таскает ее на спине.

Шутка Изабелле понравилась.

— Вы удивительно верно описываете людей.

Он стал энергично отнекиваться, однако тут же описал ей еще нескольких общих знакомых. Потом разговор перешел на руки.

— У вас удивительно красивые руки, — сказала она. — Как у пианиста. Вы играете?

Повторяю, они достигли вполне определенной стадии, более того — стадии критической. Из-за этой девушки Эмори и так опоздал в университет, теперь поезд его отходил ночью, в четверть первого, чемодан и саквояж ждали в камере хранения на вокзале, и часы в кармане тикали все громче.

— Изабелла, — начал он вдруг, — мне надо вам что-то сказать.

Перед тем они болтали какую-то чепуху насчет «странного выражения ее глаз», и по его изменившемуся голосу Изабелла сразу поняла, что сейчас последует, и даже более — она уже давно этого ждала. Эмори протянул руку назад и вверх и выключил лампу, так что теперь комнату освещала только полоса света из открытой двери библиотеки. И он заговорил:

— Не знаю, может быть, вы уже поняли, что вы... что я хочу сказать. О господи, Изабелла, вы опять скажете, что это подход, но, право же...

— Я знаю, — сказала она тихо.

— Возможно, мы никогда больше так не встретимся, — мне обычно зверски не везет. — Он сидел далеко от нее, в другом углу дивана, но его глаза были ей хорошо видны в полумраке.

— Да увидимся мы еще, глупенький. — Последнее слово, чуть подчеркнутое, прозвучало почти как ласка. Он продолжал сразу охрипшим голосом:

— Я в жизни увлекался уже много раз, и вы, вероятно, тоже, но, честное слово, вы... — Он недоговорил и, нагнувшись вперед, уткнул подбородок в ладони. — Э, да что толку. Вы пойдете своей дорогой, а я, надо полагать, своей.

Молчание. Изабелла, взволнованная до глубины души, скомкала платок в тугой комочек и в бледном сумраке не то уронила, не то бросила его на пол. Руки их на мгновение встретились, но ни слова не было сказано. Молчание ширилось, становилось еще слаще. В соседней комнате другая парочка, тоже сбежавшая наверх, наигрывала что-то на рояле. После обычных вступительных аккордов послышалось начало «Младенцев в лесу», и в маленькую гостиную долетел мягкий тенор:

Дай руку мне —

С тобой наедине

Окажемся мы в сказочной стране.

Изабелла стала чуть слышно подпевать и задрожала, когда ладонь Эмори легла на ее руку.

— Изабелла, — шепнул он, — вы же знаете, что свели меня с ума. И я вам не совсем безразличен.

— Да.

— Вы меня любите? Или есть кто-нибудь другой?

— Нет. — Он едва слышал ее, хотя наклонился так близко, что чувствовал на щеке ее дыхание.

— Изабелла, я уезжаю в Принстон на целых полгода, так неужели нам нельзя... если б я хоть это мог увезти на память о вас...

— Закройте дверь. — Ее голос еле прошелестел, он даже не был уверен, что расслышал. Дверь под его рукой затворилась бесшумно, музыка зазвучала ближе.

Лунный свет мерцает, маня...

Поцелуй на прощанье меня.

Какая чудесная песня, думала она, сегодня все чудесно, а главное — эта романтическая сцена в маленькой гостиной, как они держатся за руки, и вот-вот случится то, что должно случиться. Вся жизнь уже рисовалась ей как бесконечная вереница таких сцен — при луне и в бледном свете звезд, в теплых лимузинах и в уютных двухместных «фордиках», поставленных под тенью деревьев. Только партнер мог меняться, но этот был такой милый. Он нежно держал ее руку в своей. Потом быстро повернул ладонью вверх, поднес к губам и поцеловал.

— Изабелла! — шепот его смешался с музыкой, их словно плавно качнуло друг к другу. Она задышала чаще. — Позволь тебя поцеловать, Изабелла! — Полуоткрыв губы, она повернулась к нему в темноте. И вдруг их оглушили голоса, топот бегущих ног. Мгновенно Эмори включил бра над диваном, и, когда в комнату ворвалось трое, в том числе рассерженный, соскучившийся по танцам Фрогги, он уже небрежно листал журналы на столе, а она сидела, спокойная, безмятежная, и даже встретила их приветливой улыбкой. Но сердце

у нее отчаянно билось, и она чувствовала себя обделенной.

Все было кончено. Их шумно тащили в зал, они переглянулись, его взгляд выражал отчаяние, ее — сожаление. А потом вечер пошел своим чередом, и кавалеры, вновь обретая уверенность, стали бойчее прежнего перехватывать девушек.

Без четверти двенадцать Эмори чинно простился с Изабеллой, стоя среди кучки гостей, подошедших пожелать ему счастливого пути. На секунду хладнокровие изменило ему, да и ее передернуло, когда какой-то остряк, прячась за чужими спинами, крикнул:

— Вы бы проводили его на вокзал, Изабелла!

Он чуть крепче, чем нужно, сжал ее руку, она ответила ему на пожатие, как ответила в этот вечер уже многим, и это было все.

В два часа ночи, вернувшись домой, Салли Уэдерби спросила, успели ли они с Эмори «развлечься» в маленькой гостиной. Изабелла обратила к ней невозмутимо спокойное лицо. В глазах ее светилась безгрешная мечтательность современной Жанны Д'Арк.

— Нет, — отвечала она. — Я больше такими вещами не занимаюсь. Он просил меня, но я не захотела.

Ложась в постель, она старалась угадать, что он ей напишет завтра в письме с пометкой «срочное». У него такие красивые губы — неужели она никогда...

— «Тринадцать ангелов их сон оберегали...» — сонно пропела Салли в соседней комнате.

— К черту, — пробормотала Изабелла, кулаком взбивая подушку и стараясь не смять прохладные простыни. — К черту.

КАРНАВАЛ

Эмори, попав в «Принстонскую газету», наконец-то нашел себя. По мере того как приближались выборы, мелкие снобы, эти безошибочные барометры успеха, относились к нему все почтительнее, и старшекурсники заглядывали к нему и к Тому, неловко усаживались на столы и на ручки кресел и болтали о чем угодно, кроме того, что их действительно интересовало. Эмори забавляли устремленные на него внимательные взгляды, и если гости представляли какой-нибудь мало интересный клуб, с превеликим удовольствием шокировал их еретическими высказываниями.

— Минуточку, — ошарашил он как-то вопросом одну делегацию, — как вы сказали, вы какой клуб представляете?

С гостями из «Плюша», «Коттеджа» и «Тифа» он разыгрывал «наивного, неиспорченного юношу», в простоте душевной и не догадывающегося, зачем к нему явились.

В знаменательное утро в начале марта, когда весь университет был охвачен массовой истерией, он, забрав с собой Алека, пробрался в «Коттедж» и стал с интересом наблюдать своих посходивших с ума однокашников.

Были среди них мотыльки, метавшиеся из клуба в клуб, были друзья трехдневной давности, чуть не со слезами заявлявшие, что им непременно нужно быть в одном клубе, что они жить друг без друга не могут; вспыхивали внезапные ссоры, когда студент, только что выдвинувшийся из толпы, припоминал кому-то прошлогоднюю обиду. Еще вчера не известные личности, набрав вожаденное число голосов, сразу становились важными птицами, а другие, про которых говорили, что успех им обеспечен, обнаруживали, что успели нажить врагов, и, сразу почувствовав себя одинокими и всеми покинутыми, во всеуслышание заявляли, что уходят из университета.

Вокруг себя Эмори видел людей, забаллотированных — один за то, что носил зеленую шляпу, другой за то, что «одевается, как манекен от портного», за то, что «однажды напился, как не подобает джентльмену», и еще по каким-то причинам, известным только тем, кто сам опускал черные шары.

Эта оргия всеобщей общительности завершилась грандиозным пиршеством в ресторане Нассау, где пунш разливали из гигантских мисок и весь нижний этаж кружился в бредовой карусели голосов и лиц.

— Эй, Дибби, поздравляю!

— Молодец, Том, в «Шапке»-то тебя как поддержали!

— Керри, скажи-ка...

— Эй, Керри, ты, я слышал, прошел в «Тиф» с прочими гиревиками?

— Уж конечно, не в «Коттедж», там пусть наши дамские угодники отсиживаются.

— Овертон, говорят, в обморок упал, когда его приняли в «Плюш». Даже записываться не пошел в первый день. Вскочил на велосипед и погнал узнавать, не произошло ли ошибки.

— А ты-то, старый повеса, как попал в «Шапку»?

— Поздравляю!

— И тебя также. Голосов ты, я слышал, набрал ого!

Когда закрылся бар, они, сбившись кучками, с песнями разбрелись по засыпанным снегом улицам и садам, теща себя заблуждением, что эпоха напряжения и снобизма наконец-то осталась позади и в ближайшие два года они могут делать все, что пожелают.

Много лет спустя Эмори вспоминал эту вторую университетскую весну как самое счастливое время своей жизни. Душа его была в полной гармонии с окружающим; в эти апрельские дни у него не было иных желаний, кроме как дышать и мечтать, и наслаждаться общением со старыми и новыми друзьями.

Однажды утром к нему ворвался Алек Коннедж, и он, открыв глаза, сразу увидел в окно сверкающее на солнце здание Кембл-холла.

— Ты, Первородный Грех, проснись и пошевеливайся. Через полчаса чтоб был у кафе Ренвика. Имеется автомобиль. — Он снял со стола крышку, и со всем, что на ней стояло, осторожно пристроил на кровати.

— А откуда автомобиль? — недоверчиво спросил Эмори.

— Во временном владении. А вздумашь придираться, так не видать тебе его как своих ушей.

— Я, пожалуй, еще посплю, — сказал Эмори и, снова откинувшись на подушку, потянулся за сигаретой.

— Что?!

— А чем плохо? У меня в одиннадцать тридцать лекция.

— Филин ты несчастный! Конечно, если тебе не хочется съездить к морю...

Одним прыжком Эмори выскочил из постели, и вся мелочь с крышки стола разлетелась по полу. Море... Сколько лет он его не видел, с тех самых пор, как они с матерью кочевали по всей стране...

— А кто едет? — спросил он, натягивая брюки.

— Дик Хамберд, и Керри Холидэй, и Джесси Ферренби, и... в общем, человек шесть, кажется. Давай поживее!

Через десять минут Эмори уже уписывал у Ренвика корнфлекс с молоком, а в половине десятого веселая компания покатила прочь из города, держа путь к песчаным пляжам Дил-Бич.

— Понимаешь, — объяснил Керри, — автомобиль прибыл из тех краев. Точнее говоря, неизвестные лица угнали его из Эсбери-Парк и бросили в Принстоне, а сами отбыли на Запад. И наш Хитрый Хамберд получил в городском управлении разрешение доставить его обратно владельцам.

Ферренби, сидевший впереди, вдруг обернулся.

— Деньги у кого-нибудь есть?

Единодушное и громкое «Нет!» было ему ответом.

— Это уже интересно.

— Деньги? Что такое деньги? На худой конец продадим машину.

— Или получим с хозяина вознаграждение за спасенное имущество.

— А что мы будем есть? — спросил Эмори.

— Ну, знаешь ли, — с укором возразил Керри, — ты что же, думаешь, у Керри не хватит смекалки на каких-то три дня? Бывало, люди годами ничего не ели. Ты почитай журнал «Бойскаут».

— Три дня, — задумчиво произнес Эмори. — А у меня лекции...

— Один из трех дней — воскресенье.

— Все равно, мне можно пропустить еще только шесть лекций, а впереди целых полтора месяца.

— Выкинуть его за борт! — Пешком идти домой? Нет, лень. — Эмори, а тебе не кажется, что ты «высовываешься»?

— Научись относиться к себе критически, Эмори. Эмори смирился, умолк и стал созерцать окрестности. Почему-то вспомнился Суинберн:

Окончен срок пустоты и печали,
Окончено время снега и сна,
Дни, что влюбленных зло разлучали,
Свет, что слабеет, и тьма, что сильна;
С мыслью о времени — скорби забыты,
Почки набухли, морозы убиты,
И, году листвою возвестив о начале,
Цветок за цветком, возникает весна.

Густым тростником замедлен поток...

— Что с тобой, Эмори? Эмори размышляет о поэзии, о цветочках и птичках. По глазам видно.

— Нет, — соврал Эмори. — Я думаю о «Принстонской газете». Мне сегодня вечером нужно было зайти в редакцию, но, наверно, откуда-нибудь можно будет позвонить.

— О-о, — почтительно протянул Керри, — уж эти мне важные шишки...

Эмори залился краской, и ему показалось, что Ферренби, не прошедший по тому же конкурсу, слегка поморщился. Керри, конечно, просто валяет дурака, но он прав — не стоило упоминать про «Принстонскую газету».

День был безоблачный, они ехали быстро, и, когда в лицо потянуло соленым ветерком, Эмори сразу представил себе океан, и длинные, ровные песчаные отмели, и красные крыши над синей водой. И вот уже они промчались через городок, и все это вспыхнуло у него перед глазами, всколыхнув целую бурю давно дремавших чувств.

— Ой, смотрите! — воскликнул он.

— Что?

— Стойте, я хочу выйти, я же этого восемь лет не видел. Милые, хорошие, остановитесь!

— Удивительный ребенок, — заметил Алек.

— Да, он у нас со странностями. Однако автомобиль послушно остановили у обочины, и Эмори бегом бросился к прибрежной дорожке.

Его поразило, что море синее, что оно огромное, что оно ревет не умолкая, — словом, все самое банальное, чем может поразить океан, но если б ему в ту минуту сказали, что все это банально, он только ахнул бы от изумления.

— Пора закусить, — распорядился Керри, подходя к нему вместе с остальными. — Пошли, Эмори, брось считать ворон и спустись на землю... Начнем с самого лучшего отеля, — продолжал он, — а потом дальше — по нисходящей...

Они прошествовали по набережной до внушительного вида гостиницы, вошли в ресторан и расположились за столиком.

— Восемь коктейлей «Бронкс», — заказал Алек. — Сандвич покрупнее и картофель «жюльен». Закуску на одного. Остальное на всех.

Эмори почти не ел, он выбрал стул, с которого мог смотреть на море и словно чувствовать его колыхание. Поев, они еще посидели, покурили.

— Сколько там с нас? Кто-то заглянул в счет.

— Восемь тридцать пять.

— Грабеж среди бела дня. Мы им дадим два доллара и доллар на чай. Ну-ка, Керри, займись сбором мелочи.

Подошел официант, Керри вручил ему доллар, два доллара небрежно бросил на счет и отвернулся. Они не спеша двинулись к выходу, но через минуту встревоженный виночерпий догнал их.

— Вы ошиблись, сэр.

Керри взял у него счет и внимательно прочитал.

— Все правильно, — сказал он, важно покачав головой, и, аккуратно разорвав счет на четыре куса, протянул их официанту, а тот, ничего не поняв, только бессмысленно смотрел им вслед, пока они выходили на улицу.

— А он не поднимет тревогу?

— Нет, — сказал Керри. — Сперва он решит, что мы — сыновья хозяина, потом еще раз изучит счет и пойдет к метрдотелю, а мы тем временем...

Автомобиль они оставили в Эсбери и на трамвае доехали до Алленхерста, потолкались среди тентов на пляже. В четыре часа подкрепились в закусочной, заплатив совсем уж ничтожную долю суммы, указанной в счете, — было что-то неотразимое в их внешности, в спокойной, уверенной манере, и никто не пытался их задержать.

— Понимаешь, Эмори, мы — социалисты марксистского толка, — объяснил Керри, — Мы — против частной собственности и претворяем свои теории в жизнь.

— Ближится вечер, — напомнил Эмори.

— Выше голову, доверься Холидэю.

В шестом часу они совсем развеселились и, сцепившись под руки, двинулись по набережной, распевая заунывную песню про печальные волны морские. Неожиданно Керри заметил в толпе лицо, чем-то его привлекавшее, и, отделившись от остальных, через минуту появился снова, ведя за руку одну из самых некрасивых девушек, каких Эмори приходилось видеть. Ее бледный рот растянулся в улыбке, зубы клином выдавались вперед, маленькие косящие глаза заискивающе выглядывали из-за немного скривленного носа. Керри торжественно познакомил ее со всей компанией:

— Мисс Калука, гавайская королева. Разрешите представить вам моих друзей: мистеры Коннедж, Слоун, Хамберд, Ферренби и Блейн.

Девушка всем по очереди сделала книксен. «Бедняга, — подумал Эмори, — наверно, ее еще ни разу никто не замечал, может быть, она не вполне нормальная». За всю дорогу (Керри пригласил ее поужинать) она не сказала ничего, что могло бы его в этом разубедить.

— Она предпочитает свои национальные блюда, — серьезно сообщил Алек официанту, — а впрочем, сойдет и любая другая пища, лишь бы поглубже.

За ужином он был с ней изысканно почтителен и вежлив. Керри, сидевший с другой стороны от нее, беспардонно с ней любезничал, а она хихикала и жеманилась. Эмори молча наблюдал эту комедию, думая о том, какой легкий человек Керри, как он самому пустяковому случаю умеет придать законченность и форму. В большей или меньшей мере то же относилось ко всем этим юношам, и Эмори отдыхал душой в их обществе. Как правило, люди нравились ему поодиночке, в любой компании он побаивался, если только сам не был ее центром. Он пробовал разобраться в том, кто какой вклад вносит в общее настроение. Душой общества были Алек и Керри, — душой, но не центром. А главенствовали, пожалуй, молчаливый Хамберд и Слоун, чуть раздражительный, чуть высокомерный.

Дик Хамберд еще с первого курса стал для Эмори идеалом аристократа. Он был сухощав, но крепко сбит, черные курчавые волосы, правильные черты лица, смуглая кожа. Что бы он ни сказал — все звучало к месту. Отчаянно храбр, очень неглуп, острое чувство чести и притом обаяние, не позволявшее заподозрить его в лицемерной праведности. Даже изрядно выпив, он оставался в форме, даже его рискованные выходки не подходили под понятие «высовываться». Ему подражали в одежде, пытались подражать в манере говорить... Эмори решил, что он, вероятно, не принадлежит к авангарду человечества, но видеть его другим не хотел бы...

Хамберд отличался от типичных здоровых молодых буржуа — он, например, никогда не

потел. Другим стоит фамиллярно поговорить с шофером, и им ответят не менее фамиллярно, а Хамберд мог бы позавтракать у «Шерри» с негром — и всем почему-то было бы ясно, что это в порядке вещей. Он не был снобом, хотя общался только с половиной своего курса. В приятелях у него числились и тузы, и мелкая сошка, но втереться к нему в дружбу было невозможно. Слуги его обожали, для них он был царь и бог. Он казался эталоном для всякого, притязающего на принадлежность к верхушке общества.

— Он похож на портреты из «Иллюстрейтед Лондон ньюс», — сказал как-то Эмори Алеку, — знаешь — английские офицеры, погибшие на войне. — Если тебя не страшит неприглядная правда, — ответил тогда Алек, — могу тебе сообщить, что его отец был продавцом в бакалейной лавке, потом в Такоме разбогател на продаже недвижимости, а в Нью-Йорк перебрался десять лет назад.

У Эмори тревожно засосало под ложечкой.

Эта их вылазка оказалась возможной потому, что после клубных выборов весь курс словно перетряхнуло, словно то была последняя попытка получше узнать друг друга, сблизиться, устоять против замкнутого духа тех же клубов. Это была разрядка после университетских условностей, с которыми они до сих пор так старательно считались.

После ужина они проводили Калуку на набережную, потом побрели по пляжу обратно в Эсбери. Вечернее море вызывало совсем иные чувства — исчезли его краски, его извечность, теперь это была холодная пустыня безрадостных северных саг. Эмори вспомнилась строка из Киплинга:

Берега Луканона, когда там не ступала нога моржелова...

И все-таки это тоже была музыка, бесконечно печальная.

К десяти часам они остались без единого цента. Последние одиннадцать центов поглотил роскошный ужин, и они шли по набережной, пели, заходили в пассажи и под освещенные арки, останавливались послушать каждый уличный оркестр. Один раз Керри организовал сбор пожертвований на французских детей, которых война оставила сиротами; они собрали доллар и двадцать центов и на эти деньги купили бренди, чтобы не простудиться от ночного холода. Закончили они день в кино, где смотрели какую-то старую комедию, время от времени раздражаясь громовым хохотом к удивлению и недовольству остальной публики. В кино они проникли как опытные стратеги: каждый, проходя мимо контролера, кивал через плечо на следующего. Слоун, замыкавший шествие, убедившись, что остальные уже рассыпались по рядам, снял с себя всякую ответственность, — он, мол, их и в глаза не видал, а когда разъяренный контролер кинулся в зал, не спеша вошел туда за ним следом.

Позже они собрались у казино и подготовились к ночевке. Керри уломал сторожа, чтобы тот позволил им спать на веранде, вместо матрасов и одеял они натаскали туда целую кучу ковров из кабинок, проболтали до полуночи, а потом уснули как убитые, хотя Эмори очень старался не спать, чтобы полюбоваться океаном, освещенным совершенно необыкновенной луной.

Так они прожили два счастливых дня, передвигаясь вдоль побережья то на трамвае, то пешком по людной береговой дорожке, изредка пируя за столом какого-нибудь богача, а чаще — питаясь более чем скромно за счет простодушных хозяев закусовых. В моментальной фотографии они снялись в восьми разных видах. Керри придумывал мизансцены: то это была студенческая футбольная команда, то шайка ист-сайдских гангстеров в пиджаках наизнанку, а сам он восседал в центре на картонном полумесяце. Вероятно, снимки эти и по сей день хранятся у фотографа, во всяком случае, заказчики за ними не явились. Погода держалась прекрасная, и они опять ночевали на воздухе, и Эмори опять уснул, как ни старался лежать с открытыми глазами.

Настало воскресенье, торжественно-респектабельное, и они возвратились в Принстон на «фордах» попутных фермеров и разошлись по домам, чихая и сморкаясь, но вполне

довольные своей поездкой.

Еще больше, чем в прошлом году, Эмори запускал академические занятия, — не умышленно, а, из-за лени и переизбытка привходящих интересов. Его не влекла ни аналитическая геометрия, ни монотонные двустишия Корнеля и Расина, и даже психология, от которой он так много ждал, оказалась скучнейшим предметом — не исследование свойств и влияний человеческого сознания, а сплошь мускульные реакции и биологические термины. Занятия эти начинались в полдень, когда его особенно клонило ко сну, и, установив, что почти во всех случаях подходит формула «субъективно и объективно, сэр», он с успехом ею пользовался. Вся группа ликовала, когда Ферренби или Слоун, услышав вопрос, обращенный к нему, толкали его в бок и он в полусне произносил спасительные слова.

То и дело они куда-нибудь уезжали — в Орендж или на море, реже — в Нью-Йорк или Филадельфию, а однажды, собрав четырнадцать официанток от Чайлдса, целый вечер катали их по Пятой авеню на империале автобуса. Все они уже напропускали больше лекций, чем дозволялось правилами, а это означало дополнительные занятия в будущем учебном году, но весна брала свое — очень уж заманчивы были эти эскапады. В мае Эмори выбрали в комиссию по устройству летнего бала, и теперь, подробно обсуждая с Алеком возможный состав студенческого Совета старших курсов, они среди первых кандидатов неизменно называли себя. В Совет, как правило, входило восемнадцать студентов, особенно чем-нибудь отличившихся, и футбольные достижения Алека, а также твердое намерение Эмори сменить Бэрна Холлидэя на посту главного редактора «Принстонской газеты» давали все основания для таких предположений. Как ни странно, оба они включали в число кандидатов и Тома Д'Инвильерса, что год назад было бы воспринято как шутка.

Всю весну, то реже, то чаще, Эмори переписывался с Изабеллой Борже, ссорился с ней и мирился, а главным образом подыскивал синонимы к слову «любовь». В письмах Изабелла оказалась огорчительно сдержанной и даже бесчувственной, но Эмори не терял надежды, что в широких весенних просторах этот экзотический цветок распустится так же, как в маленькой гостиной клуба Миннегага. В мае он стал чуть ли не каждый вечер сочинять ей письма на тридцать две страницы и отсылал их по два сразу, надписав на толстых конвертах «Часть 1» и «Часть 2».

— Ох, Алек, по-моему, колледж мне слегка надоел, — грустно признался он во время одной из их вечерних прогулок.

— Ты знаешь, и мне, пожалуй, тоже.

— Хочу жить в маленьком домике в деревне, в каких-нибудь теплых краях, с женой, а заниматься чем-нибудь ровно столько, чтобы не сдохнуть со скуки.

— Вот-вот, и я так же.

— Хорошо бы бросить университет.

— А девушка твоя как считает?

— Ну что ты! — в ужасе воскликнул Эмори, — она и не думает о замужестве... по крайней мере, сейчас. Я ведь говорю вообще, о будущем.

— А моя очень даже думает. Мы помолвлены.

— Да ну?

— Правда. Ты, пожалуйста, никому не говори, но, может быть, на будущий год я сюда не вернусь.

— Но тебе же только двадцать лет. Бросить колледж...

— А сам только что говорил...

— Верно, — перебил его Эмори. — Но это так, мечты. Просто как-то грустно бывает в такие вот чудесные вечера. И кажется, что других таких уже не будет, а я не все от них беру, что можно. Если б еще моя девушка жила здесь. Но жениться — нет, куда там. Да еще отец пишет, что доходы у него уменьшились.

— Да, вечеров жалко, — согласился Алек.

Но Эмори только вздохнул — у него вечера не пропадали даром. Под крышкой старых часов он хранил маленький снимок Изабеллы, и почти каждый вечер он ставил его перед собой, садился у окна, погасив в комнате все лампы, кроме одной, на столе, и писал ей

сумасбродные письма.

«...так трудно выразить словами, что я чувствую, когда так много думаю о Вас; Вы стали для меня грезой, описать, которую невозможно. Ваше последнее письмо просто удивительное, я перечитал его раз шесть, особенно последний кусок, но иногда мне так хочется, чтобы Вы были откровеннее и написали, что Вы на самом деле обо мне думаете, но последнее Ваше письмо — прелесть, я просто не знаю, как дождусь июня! Непременно устройте так, чтобы приехать на наш бал. Я уверен, что все будет замечательно, и мне хочется, чтобы Вы побывали здесь в конце такого замечательного года. Я часто вспоминаю, что Вы сказали в тот вечер, и все думаю, насколько это было серьезно. Если б это были не Вы... но, понимаете, когда я Вас в первый раз увидел, мне показалось, что Вы — ветреная, и Вы пользуетесь таким успехом, ну, в общем, мне просто не верится, что я Вам нравлюсь больше всех.

Изабелла, милая, сегодня такой удивительный вечер. Где-то вдалеке кто-то играет на мандолине „Луна любви“, и эта музыка словно ведет Вас сюда, в мою комнату. А сейчас он заиграл „Прощайте, мальчики, с меня довольно“, и это как раз по мне. Потому что с меня тоже всего довольно. Я решил не выпить больше ни одного коктейля, и я знаю, что никогда больше не полюблю — просто не смогу — Вы настолько стали частью моих дней и ночей, что я никогда и думать не смогу о другой девушке. Я их встречаю сколько угодно, но они меня не интересуют. Я не хочу сказать, что я пресыщен, дело не в этом. Просто я влюблен. О, Изабелла, дорогая (не могу я называть Вас просто Изабелла, и очень опасаясь, как бы мне в июне не выпалить „дорогая“ при Ваших родителях), приезжайте на наш бал обязательно, а потом я на денек приеду к вам, и все будет чудесно...»

И так далее, нескончаемое повторение все того же, казавшееся им обоим безмерно прекрасным, безмерно новым.

Настал июнь, жара и лень так их разморили, что даже мысль об экзаменах не могла их встряхнуть, и они проводили вечера во дворе клуба «Коттедж», лениво переговариваясь о том о сем, пока весь склон, спускающийся к Стони-Брук, не расплывался в голубоватой мгле, и кусты сирени белели вокруг теннисных кортов, и слова сменялись безмолвным дымком сигарет... а потом по безлюдным Проспект-авеню и Мак-Кош, где отовсюду неслись обрывки песен, — домой, к жаркой и неумолчно оживленной Нассау-стрит.

Том Д'Инвильерс и Эмори почти перестали спать: весь курс охватила лихорадка азартных игр, и не раз в эти душные ночи они играли в кости до трех часов. А однажды, наигравшись до одури, вышли из комнаты Слоуна, когда уже пала роса и звезды на небе побледнели.

— Хорошо бы добыть велосипеды и покататься, а, Том? — предложил Эмори.

— Давай. Я совсем не устал, а теперь когда еще выберешься, ведь с понедельника надо готовиться к празднику.

В одном из дворов они нашли два незапертых велосипеда и в четверть четвертого уже катили по дороге на Лоренсвилл.

— Ты как думаешь проводить лето, Эмори?

— Не спрашивай. Наверно, как всегда. Месяца полтора в Лейк-Джинева — между прочим, не забудь, что в июле ты у меня там погостишь, — потом Миннеаполис, а значит — чуть не каждый день танцульки, и нежности, и скука смертная... Но признайся, Том, — добавил он неожиданно, — этот год был просто изумительный, верно?

— Нет, — решительно заявил Том — новый, совсем не прошлогодний Том в костюме от Брукса и модных ботинках. — Эту партию я выиграл, но больше играть мне неохота. Тебе-то что, ты — как резиновый мячик, и тебе это даже идет, а мне осточертело принаравливаться к здешним снобам. Я хочу жить там, где о людях судят не по цвету галстуков и фасону воротничков.

— Ничего у тебя не выйдет, Том, — возразил Эмори, глядя на светлеющую впереди дорогу. — Теперь где бы ты ни был, ты всех будешь бессознательно мерить одной меркой — либо у человека «это есть», либо нет. Хочешь не хочешь, а клеймо мы на тебе поставили. Ты — принстонец.

— А раз так, — высокий, надтреснутый голос Тома жалобно зазвенел, зачем мне вообще

сюда возвращаться? Все, что Принстон может предложить, я усвоил. Еще два года корпеть над учебниками и подвизаться в каком-нибудь клубе — что это мне даст? Только то, что я окончательно стану рабом условностей и совсем потеряю себя? Я и сейчас уже до того обезличился, что вообще не понимаю, как я еще живу.

— Но ты упускаешь из виду главное, — сказал Эмори. — Вся беда в том, что вездесущий снобизм открылся тебе слишком неожиданно и резко. А вообще-то думающий человек неизбежно обретает в Принстоне общественное сознание.

— Уж не ты ли меня этому выучил? — спросил Том, с усмешкой поглядывая на него в сером полумраке. Эмори тихонько рассмеялся.

— А разве нет?

— Иногда мне думается, — медленно произнес Том, — что ты — мой злой гений. Из меня мог бы получиться неплохой поэт.

— Ну, знаешь ли, это уже нечестно. Ты пожелал учиться в одном из восточных колледжей. И у тебя открылись глаза на то, как люди подличают, норовя пробиться повыше. А мог бы все эти годы прожить незрячим — как наш Марти Кэй, — и это тебе тоже не понравилось бы.

— Да, — согласился Том, — тут ты прав. Это мне не понравилось бы. А все-таки обидно, когда из тебя к двадцати годам успевают сделать циника.

— Я-то такой от рождения, — негромко сказал Эмори. — Я — циник-идеалист. — Он умолк и спросил себя, есть ли в этих словах какой-нибудь смысл.

Они доехали до спящей Лоренсвиллской школы и повернули обратно.

— Хорошо вот так ехать, правда? — сказал Том после долгого молчания.

— Да, хорошо, чудесно. Сегодня все хорошо. А впереди еще долгое лето и Изабелла!

— Ох уж эта мне твоя Изабелла. Пари держу, что она глупа, как... Давай лучше почитаем стихи.

И Эмори уладил слух придорожных кустов «Одой к соловью» 8 .

— Я никогда не стану поэтом, — сказал он, дочитав до конца. — Чувственное восприятие мира у меня недостаточно тонкое. Красота для меня существует только в самых своих явных проявлениях — женщины, весенние вечера, музыка в ночи, море. А таких тонкостей, как «серебром рокошующие трубы», я не улавливаю. Умственно я кое-чего, возможно, достигну, но стихи если и буду писать, так в лучшем случае посредственные.

Они въехали в Принстон, когда солнце уже расцветило небо, как географическую карту, и помчались принять душ, которым пришлось обойтись вместо сна. К полудню на улицах появились группы бывших принстонцев — в ярких костюмах, с оркестрами и хорами, и устремились на свидание с однокашниками к легким павильонам, над которыми реяли на ветру оранжево-черные флаги. Эмори долго смотрел на павильончик с надписью «Выпуск 69-го года». Там сидели несколько седых стариков и тихо беседовали, глядя на шагающие мимо них новые поколения.

ПОД ДУГОВЫМ ФОНАРЕМ

И тут из-за гребня июня на Эмори глянули изумрудные глаза трагедии. На следующий день после велосипедной прогулки веселая компания отправилась в Нью-Йорк на поиски приключений, и в обратный путь они пустились часов в двенадцать ночи, на двух автомобилях. В Нью-Йорке они покутили на славу и не все были одинаково трезвы. Эмори ехал во второй машине, где-то они ошиблись поворотом и сбились с дороги и теперь спешили, чтобы наверстать упущенное время.

Ночь была ясная, ощущение скорости пьянило не хуже вина. В сознании Эмори бродили смутные призраки двух стихотворных строф...

В ночи, серея, проползал мотор. Ничто не нарушало тишину... Как расступается морской простор перед акулой, режущей волну, пред ним деревья расступались вмиг, и реял птиц ночных тревожный крик...

Желтеющий под желтою луной, трактир в тенях и свете промелькнул — но смех слизнуло тишиной ночной... Мотор в июльский ветер вновь нырнул, и снова тьма пространством

сгущена и синевой сменилась желтизна.

Внезапный толчок, машина стала, Эмори в испуге высунулся наружу. Какая-то женщина что-то говорила Алеку, сидевшему за рулем. Много позже он вспомнил, как неоправданно выглядел ее старый халат, как глухо и хрипло звучал голос.

— Вы студенты, из Принстона?

— Да.

— Там один из ваших разбился насмерть, а двое других чуть живы.

— Боже мой?

— Вон, смотрите.

Они в ужасе обернулись. В круге света от высокого дугового фонаря ничком лежал человек, а под ним расплывалась лужа крови.

Они выскочили из машины, Эмори успел подумать: затылок, этот затылок... эти волосы... А потом они перевернули тело на спину.

— Это Дик... Дик Хамберд!

— Ох, господи!

— Пощупай сердце!

И снова каркающий голос старухи, словно бы даже злорадный:

— Да мертвый он, мертвый. Автомобиль перевернулся. Двое, которые легко отделались, внесли других в комнату, а этому уж ничем не поможешь.

Эмори бросился в дом, остальные, войдя за ним следом, положили обмякшее тело на диван в убогой комнатке с окном на улицу. На другой кушетке лежал Слоун, тяжело раненный в плечо. Он был в бреду, все повторял, что лекция по химии будет в 8.10.

— Понять не могу, как это случилось, — сказал Ферренби сдавленным голосом. — Дик вел машину, никому не хотел отдать руль, мы ему говорили, что он выпил лишнего, а тут этот чертов поворот... ой, какой ужас... — Он рухнул на пол и затрясся от рыданий.

Приехал врач, потом Эмори подошел к дивану, кто-то дал ему простыню накрыть мертвого. С непонятным хладнокровием он приподнял безжизненную руку и дал ей снова упасть. Лоб был холодный, но лицо еще что-то выражало. Он посмотрел на шнурки от ботинок — сегодня утром Дик их завязывал. Сам завязывал, а теперь он — этот тяжелый белый предмет. Все, что осталось от обаяния и самобытности Дика Хамберда, каким он его знал, — как это все страшно, и обыденно, и прозаично. Всегда в трагедии есть эта нелепость, эта грязь... все так ничемно, бессмысленно... так умирают животные... Эмори вспомнилась попавшая под колеса изуродованная кошка в каком-то из переулков его детства...

— Надо отвезти Ферренби в Принстон.

Эмори вышел на дорогу и поежился от свежего ночного ветра, и от порыва этого ветра кусок крыла на груде искореженного металла задребезжал тихо и жалобно.

КРЕЩЕНДО!

На следующий день его закружило в спасительном праздничном вихре. Стоило ему остаться одному, как в памяти снова и снова возникал приоткрытый рот Дика Хамберда, неуместно красный на белом лице, но усилием воли он заслонял эту картину спешкой мелких насущных забот, выключал ее из сознания.

Изабелла с матерью приехали в четыре часа и по веселой Проспект-авеню проследовали в «Коттедж» пить чай. Клубы в тот вечер по традиции обедали каждый у себя и без гостей, поэтому в семь часов Эмори препоручил Изабеллу знакомому первокурснику, сговорившись встретиться с ней в гимнастическом зале в одиннадцать, когда старшекурсников допускали на бал младших. Наяву она оказалась не хуже, чем жила в его мечтах, и от этого вечера он ждал исполнения многих желаний. В девять часов старшие, выстроившись перед своими клубами, смотрели факельное шествие первокурсников, и Эмори думал, что, наверно, в глазах этих орущих, глазающих юнцов он и его товарищи — во фраках, на фоне старинных темных стен, в отблесках факелов — зрелище столь же великолепное, каким было для него самого год назад.

Вихрь не утих и наутро. Завтракали вшестером в отдельной маленькой столовой в клубе, и Эмори с Изабеллой, обмениваясь нежными взглядами над тарелками с жареными цыплятами, пребывали в уверенности, что их любовь — навеки. На балу танцевали до пяти утра, причем кавалеры беспрестанно перехватывали друг у друга Изабеллу, и чем дальше, тем чаще и веселее, а в промежутках бегали в гардеробную глотнуть из бутылок, оставленных в карманах плащей, чтобы еще на сутки отодвинуть накопившуюся усталость. Группа кавалеров без постоянных дам — это нечто единое, наделенное одною общей душой. Вот проносится в танце красавица брюнетка, и вся группа, тихо ахнув, подается вперед, а самый проворный разбивает парочку. А когда приближается галопом шестифутовая дылда (гостя Кэя, которой он весь вечер пытался вас представить), вся группа, так же дружно отпрянув назад, начинает с интересом вглядываться в дальние углы зала, потому что вот он, Кэй, взмокший от пота и от волнения, уже пробирается сюда сквозь толпу, высматривая знакомые лица.

— Послушай, старик, тут есть одна прелестная...

— Прости, Кэй, сейчас не могу. Я обещал вызволить одного приятеля.

— Ну, а следующий танец?

— Да нет, я... гм... честное слово, я обещал. Ты мне дай знак, когда она будет свободна.

Эмори с восторгом принял идею Изабеллы уйти на время из зала и покататься на ее машине. Целый упоительный час — он пролетел слишком быстро! — они кружили по тихим дорогам близ Принстона и разговаривали, скользя по поверхности, взволнованно и робко. Эмори, охваченный странной, какой-то детской застенчивостью, даже не пытался поцеловать ее.

На следующий день они покатали в Нью-Йорк, позавтракали там, а после завтрака смотрели в театре серьезную современную пьесу, причем Изабелла весь второй акт проплакала, и Эмори был этим несколько смущен, хотя и преисполнился нежности, украдкой наблюдая за нею. Ему так хотелось осушить ее слезы поцелуями, а она в темноте потянулась к его руке, и он ласково накрыл ее ладонью.

А к шести они уже прибыли в загородный дом семьи Борже на Лонг-Айленде, и Эмори помчался вверх в отведенную ему комнату переодеваться к обеду. Вдевая в манжеты запонки, он вдруг понял, что так наслаждаться жизнью, как сейчас, ему, вероятно, уже никогда больше не суждено. Все вокруг тонуло в священном сиянии его собственной молодости. В Принстоне он сумел выдвинуться в первые ряды. Он влюблен, и ему отвечают взаимностью. Он зажег в комнате все лампы и посмотрел на себя в зеркало, отыскивая в своем лице те качества, что позволяли ему и видеть отчетливее, чем большинство других людей, и принимать твердые решения, и проявлять силу воли. Сейчас он, кажется, ничего не захотел бы изменить в своей жизни... Вот только Оксфорд, возможно, сулил бы более широкое поприще...

В молчании он любовался собой. Как хорошо, что он красив, как идет ему смокинг. Он вышел в коридор, но, дойдя до лестницы, остановился, услышав приближающиеся шаги. То была Изабелла, и никогда еще она вся — от высоко зачесанных блестящих волос до крошечных золотых туфель — не была так прекрасна.

— Изабелла! — воскликнул он невольно и раскрыл объятия. Как в сказке, она подбежала и упала ему на грудь, и то мгновение, когда губы их впервые встретились, стало вершиной его тщеславия, высшей точкой его юного эгоизма.

Глава III: ЭГОИСТ НА РАСПУТЬЕ

— Ой,пусти! Эмори разжал руки.

— Что случилось?

— Твоя запонка, ой, как больно... вот, гляди. Она скосила глаза на вырез своего платья, где на белой коже проступило крошечное голубое пятнышко.

— О, Изабелла, прости, — взмолился он. — Какой же я медведь! Я нечаянно, слишком крепко я тебя обнял. Она нетерпеливо вздернула голову.

— Ну конечно же, не нарочно, Эмори, и не так уж больно, но что нам теперь делать?

— Делать? — удивился он. — Ах, ты про это пятнышко, да это сейчас пройдет.

— Не проходит, — сказала она после того, как с минуту внимательно себя рассматривала. — Все равно видно, так некрасиво, ой, Эмори, как же нам быть, ведь оно как раз на высоте твоего плеча.

— Попробуй потереть, — предложил Эмори, которому стало чуточку смешно.

Она осторожно потерла шею кончиками пальцев, а потом в уголке ее глаза появилась и скатилась по щеке большая слеза.

— Ох, Эмори, — сказала она, подняв на него скорбный взгляд, — если тереть, у меня вся шея станет ярко-красная. Как же мне быть?

В мозгу его всплыла цитата, и он, не удержавшись, произнес ее вслух:

— «Все ароматы Аравии не отмоют эту маленькую руку...»

Она посмотрела на него, и новая слеза блеснула, как льдинка.

— Не очень-то ты мне сочувствуешь. Он не понял.

— Изабелла, родная, уверяю тебя, что это...

— Не трогай меня! — окрикнула она. — Я так расстроена, а ты стоишь и смеешься. И он опять сказал не то:

— Но Изабелла, милая, ведь это и правда смешно, а помнишь, мы как раз говорили, что без чувства юмора...

Она не то чтобы улыбнулась, но в уголках ее рта появился слабый невеселый отблеск улыбки.

— Ох, замолчи! — крикнула она вдруг и побежала по коридору назад, к своей комнате. Эмори остался стоять на месте, смущенный и виноватый.

Изабелла появилась снова, в накинутом на плечи легком шарфе, и они спустились по лестнице в молчании, которое не прерывалось в течение всего обеда.

— Изабелла, — сказал он не слишком ласково, едва они сели в машину, чтобы ехать на танцы в Гриничский загородный клуб. — Ты сердишься, и я, кажется, тоже скоро рассержусь. Поцелуй меня, и давай помиримся.

Изабелла недовольно помедлила.

— Не люблю, когда надо мной смеются, — сказала она наконец.

— Я больше не буду. Я и сейчас не смеюсь, верно?

— А смеялся.

— Да не будь ты так по-женски мелочна. Она чуть скривила губы.

— Какой хоч, такой и буду.

Эмори с трудом удержался от резкого ответа. Он уже понял, что никакой настоящей любви к Изабелле у него нет, но ее холодность задела его самолюбие. Ему хотелось целовать ее, долго и сладко — тогда он мог бы утром уехать и забыть ее. А вот если не выйдет, ему не так-то легко будет успокоиться... Это помешает ему чувствовать себя победителем. Но с другой стороны, не желает он унижаться, просить милости у столь доблестной воительницы, как Изабелла.

Возможно, она обо всем этом догадалась. Во всяком случае, вечер, обещавший стать квинтэссенцией романтики, прошел среди порхания ночных бабочек и аромата садов вдоль дороги, но без нежного лепета и легких вздохов...

Поздно вечером, когда они ужинали в буфетной шоколадным тортом с имбирным пивом, Эмори объявил о своем решении:

— Завтра рано утром я уезжаю.

— Почему?

— А почему бы и нет?

— Это вовсе не обязательно.

— Ну, а я все равно уезжаю.

— Что ж, если ты намерен так глупо себя вести...

— Ну зачем так говорить, — возразил он.

— ...просто потому, что я не хочу с тобой целоваться... Ты что же, думаешь...

— Погоди, Изабелла, — перебил он, — ты же знаешь, что дело не в этом, отлично знаешь. Мы дошли до той точки, когда мы либо должны целоваться, либо... либо — ничего. Ты ведь не из нравственных соображений отказываешься.

Она заколебалась.

— Просто не знаю, что и думать о тебе, — начала она, словно ища обходный путь к примирению. — Ты такой странный.

— Чем?

— Ну, понимаешь, я думала, ты очень уверен в себе. Помнишь, ты недавно говорил мне, что можешь сделать все, что захочешь, и добиться всего, чего хочешь.

Эмори покраснел. Он и вправду много чего наговорил ей.

— Ну, помню.

— А сегодня ты не очень-то был уверен в себе. Может быть, у тебя это просто самомнение.

— Это неверно... — он замялся. — В Принстоне...

— Ох уж твой Принстон. Послушать тебя, так на нем свет клином сошелся. Может, ты правда пишешь лучше всех в своей газете, может, первокурсники правда воображают, что ты герой...

— Ты не понимаешь...

— Прекрасно понимаю. Понимаю, потому что ты все время говоришь о себе, и раньше мне это нравилось, а теперь нет.

— И сегодня я тоже говорил о себе?

— В том-то и дело. Сегодня ты совсем раскис. Только сидел и следил, на кого я смотрю. И потом, когда с тобой говоришь, все время приходится думать. Ты к каждому слову готов придраться.

— Значит, я заставляю тебя думать? — спросил Эмори, невольно польщенный.

— С тобой никаких нервов не хватает, — сказала она сердито. — Когда ты начинаешь разбирать каждое малюсенькое переживание или ощущение, я просто не могу.

— Понятно, — сказал он и беспомощно покачал головой.

— Пошли. — Она встала.

Он машинально встал тоже, и они дошли до подножия лестницы.

— Когда отсюда есть поезд?

— Есть в девять одиннадцать, если тебе действительно нужно уезжать.

— Да, в самом деле нужно. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи.

Они уже поднялись по лестнице, и Эмори, поворачивая к своей комнате, как будто уловил на ее лице легкое облачко недовольства. Он лежал в темноте и не спал, и все думал, очень ему больно или нет, и в какой мере это внезапное горе — только оскорбленное самолюбие, и, может быть, он по самой своей природе не способен на романтическую любовь?

Проснулся он весело, словно ничего и не случилось. Утренний ветерок шевелил кретоновые занавески на окнах, и он слегка удивился, почему он не в своей комнате в Принстоне, где над комодом должен висеть снимок их школьной футбольной команды, а на другой стене — труппа «Треугольника». Потом большие часы в коридоре пробили восемь, и он сразу вспомнил вчерашний вечер. Он вскочил и стал быстро одеваться — нужно успеть уйти из дому, не повидав Изабеллы. То, что вчера казалось несчастьем, сейчас казалось досадной осечкой. В половине девятого он был готов и присел у окна, чувствуя, что сердце у него как-никак сжимается от грусти. Какой насмешкой представилось ему это утро — ясное, солнечное, напоенное благоуханием сада. Внизу, на веранде, послышался голос миссис Борже, и он подумал, где-то сейчас Изабелла.

В дверь постучали.

— Автомобиль будет у подъезда без десяти девять, сэр.

Он опять загляделся на цветущий сад и стал снова и снова повторять про себя строфу из Браунинга, которую когда-то процитировал в письме к Изабелле:

Не знали мы жизни даров,
Не знали судьбы участья:
Слез, смеха, постов, пиров,
Волнений — ну, словом, счастья.

Но у него-то все это впереди. Он ощутил мрачное удовлетворение при мысли, что Изабелла, может быть, всегда была только порождением его фантазии, что выше этого ей не подняться, что никто никогда больше не заставит ее думать. А между тем именно за это она его отвергла, и он вдруг почувствовал, что нет больше сил все думать и думать.

— Ну ее к черту! — сказал он злобно. — Испортила мне весь год!

СВЕРХЧЕЛОВЕК ДОПУСКАЕТ ОПЛОШНОСТЬ

В пыльный день в сентябре Эмори прибыл в Принстон и влился в заполнившие улицы толпы студентов, которых ждали переэкзаменовки. Бездарно это было, конечно, так начинать третий учебный год — по четыре часа каждое утро просиживать в душной комнате, усваивая невообразимую скуку сечения конусов. Мистер Руни с шести утра до полуночи натаскивал тупиц, — выводил с ними формулы и решал уравнения, выкуривая при этом несметное количество сигарет.

— Ну, Лангедюк, если применить эту формулу, то где будет у нас точка! А?

Лангедюк лениво распрямляет все шесть с лишком футов своей футбольной фигуры и пробует сосредоточиться.

— Мм... честное слово, не знаю, мистер Руни.

— Правильно, эту формулу здесь нельзя применить. Этого ответа я от вас и ждал.

— Ну да, ну да, конечно.

— А почему, вам понятно?

— Ну да, в общем, да.

— Если непонятно, скажите. Для этого я с вами и занимаюсь.

— Если можно, мистер Руни, объясните еще раз.

— С удовольствием.

Комната была царством тупости — две огромные этажерки с бумагой, перед ними — мистер Руни без пиджака, а вокруг, развалившись на стульях, — десятка полтора студентов: Фред Слоун, лучший бейсболист, которому во что бы то ни стало нужно было сохранить свое место в команде; Лангедюк, которому предстояло этой осенью победить йельцев, если только он сдаст свои несчастные пятьдесят процентов; Мак-Дауэлл, развеселый второкурсник, считавший для себя удачей готовиться к переэкзаменовке вместе со всеми этими чемпионами.

— Кого мне жаль, так это тех бедняг, у кого нет денег на эти занятия, — сказал он как-то Эмори, вяло жуя бледными губами сигарету — Ведь им придется подгонять самим, во время семестра. Скука-то какая, в Нью-Йорке во время семестра можно провести время и поинтереснее. Скорее всего, они просто не подумали, чего себя лишают. — Тон мистера Мак-Дауэлла был до того панибратский, что Эмори чуть не вышвырнул его в окно... Дурачок несчастный, в феврале его мамочка удивится, почему он не вступил ни в какой клуб, и увеличит ему содержание...

В унылой, без искры веселья атмосфере сквозь дым временами звучали беспомощные возгласы: «Не понимаю! Мистер Руни, повторите, пожалуйста!» Но большинство студентов по глупости или по лени не задавали вопросов, даже когда ничего не понимали, и к последним принадлежал Эмори. Он не мог принудить себя вникнуть в сечение конусов; спокойная, дразнящая их закономерность, заполнявшая неаппетитные апартаменты мистера Руни, превращала любое уравнение в неразрешимый ребус. В последний вечер он посидел над учебником, прикладывая ко лбу мокрое полотенце, а утром беспечно отправился на экзамен,

не понимая, куда девалось его весеннее честолюбие и почему жизнь стала такой тусклой и серой. После ссоры с Изабеллой академические успехи как-то сразу перестали его волновать и к возможному провалу он относился почти равнодушно, хотя этот провал должен был неизбежно повлечь за собой уход с поста редактора «Принстонской газеты» и лишить его каких бы то ни было шансов попасть в члены Совета старшекурсников.

Может, еще кривая вывезет.

Он зевнул, небрежно написал на папке присягу, что работал честно, и вперевалку вышел из аудитории.

— Если ты не сдал, — сказал только что приехавший Алек, сидя у окна в комнате Эмори и обсуждая с ним, как лучше развесить картины и снимки, — значит, ты последний идиот. И в клубе, и вообще в университете твои акции упадут, как камень в воду.

— Сам знаю. Можешь не объяснять.

— И поделом тебе. За такое поведение из «Принстонской» хоть кого вышибут, и правильно сделают.

— Ладно, хватит, — рассердился Эмори. — Посмотрим, как будет, а пока помалкивай. Не желаю я, чтобы в клубе все меня про это спрашивали, точно я картофелина, которую выращивают на приз для выставки огородников.

Вечером неделю спустя Эмори по дороге к Ренвику остановился под своим окном и, увидев наверху свет, крикнул:

— Эй, Том, почта есть?

В желтом квадрате света появилась голова Алека.

— Да, тебе пришло извещение. У Эмори заколотилось сердце.

— Какой листок, розовый или голубой?

— Не знаю. Сам увидишь.

Он прошел прямо к столу и только тогда вдруг заметил, что в комнате есть и еще люди.

— Здорово, Керри. — Он выбрал самый вежливый тон. — О, друзья мои принстонцы! — Видимо, тут собрались все свои, поэтому он взял со стола конверт со штампом «Канцелярия» и нервно взвесил его на ладони.

— Мы имеем здесь важный документ.

— Да открой ты его, Эмори.

— Для усиления драматического эффекта довожу до вашего сведения, что если листок голубой, мое имя больше не значится в руководстве «Принстонской газеты» и моя недолгая карьера закончена.

Он умолк и тут только увидел устремленные на него голодные, внимательные глаза Ферренби. Эмори ответил ему выразительным взглядом.

— Читайте примитивные эмоции на моем лице, джентльмены.

Он разорвал конверт и поглядел листок на свет.

— Ну?

— Розовый или голубой?

— Говори же!

— Мы ждем, Эмори.

— Улыбнись или выругайся, ну же! Пауза... пролетел рой секунд... он посмотрел еще раз, и еще один рой улетел в вечность.

— Небесно-голубой, джентльмены...

ПОХМЕЛЬЕ

Все, что Эмори делал в том учебном году с начала сентября и до конца весны, было так непоследовательно и, бесцельно, что и рассказывать об этом едва ли стоит. Разумеется, он тотчас пожалел о том, чего лишился. Вся его философия успеха развалилась на куски, и он мучился вопросом, почему так случилось.

— Собственная лень, вот и все, — сказал однажды Алек.

— Нет, тут причины глубже. Сейчас мне кажется, что эта неудача была предопределена.

— В клубе на тебя уже косятся. Каждый раз, как кто-нибудь проваливается, нашего полку убывает.

— Не принимаю я такой точки зрения.

— Ты, безусловно, мог бы еще отыграться, стоит только захотеть.

— Ну нет, с этим покончено — я имею в виду свой авторитет в колледже.

— Честно тебе скажу, Эмори, меня не то бесит, что ты не будешь ни в «Принстонской», ни в Совете, а просто что ты не взял себя в руки и не сдал этот несчастный экзамен.

— Ну, а меня, — медленно проговорил Эмори, — меня бесит самый факт. Мое безделье вполне соответствовало моей системе. Просто везение кончилось.

— Скажи лучше, что твоя система кончилась.

— Может, и так.

— И что же ты теперь намерен делать? Поскорее обзавестись новой или прозябать еще два года на ролях бывшего?

— Еще не знаю.

— Да ну же, Эмори, встряхнись!

— Там видно будет.

Позиция Эмори, хоть и опасная, в общем отражала истинное положение дел. Если его реакции на окружающую среду можно было бы изобразить в виде таблицы, она, начиная с первых лет его жизни, выглядела бы примерно так:

1. Изначальный Эмори.

2. Эмори плюс Беатриса.

3. Эмори плюс Беатриса плюс Миннеаполис. Потом Сент-Реджис разобрал его по кирпичикам и стал строить заново.

4. Эмори плюс Сент-Реджис.

5. Эмори плюс Сент-Реджис плюс Принстон.

Так, принаравливаясь к стандартам, он продвинулся сколько мог по пути к успеху.

Изначальный Эмори, лентяй, фантазер, бунтарь, был, можно сказать, похоронен. Он приновился, он достиг кое-какого успеха, но поскольку успех не удовлетворял его и не захватил его воображения, он бездумно, почти случайно, поставил на всем этом крест, и осталось то, что было когда-то:

6. Изначальный Эмори.

ЭПИЗОД ФИНАНСОВЫЙ

В День благодарения тихо и без шума скончался его отец. Эмори позабавило, как не вяжется смерть с красотой Лейк-Джинева и сдержанной, полной достоинства манерой матери, и похороны он воспринял иронически терпимо. Он решил, что погребение все же предпочтительнее кремации, и с улыбкой вспомнил, как мальчиком придумал себе очень интересную смерть: медленное отравление кислородом в ветвях высокого дерева. На следующий день после похорон он развлекался в просторной отцовской библиотеке, принимая на диване разные предсмертные позы, выбирая, что будет лучше, когда придет его час, — чтобы его нашли со скрещенными на груди руками (когда-то монсеньер Дарси отозвался о такой позе как наиболее благообразной) или же с руками, закинутыми за голову, что наводило бы на мысль о безбожии и байронизме.

Гораздо интереснее, чем уход отца из мира живых, оказался для Эмори разговор, состоявшийся через несколько дней после похорон между ним, Беатрисой и мистером Бартоном из фирмы их поверенных «Бартон и Крогмен». Впервые он был посвящен в финансовые дела семьи и узнал, каким огромным состоянием владел одно время его отец. Он взял приходно-расходную книгу с надписью «1906 год» и тщательно просмотрел ее. Общая сумма расходов за тот год несколько превышала сто десять тысяч долларов. Из них сорок тысяч были взяты из доходов самой Беатрисы, и подробного отчета о них не было: все шло под рубрикой «Векселя, чеки и кредитные письма, предъявленные Беатрисе Блейн». Остальное было перечислено по пунктам: налоги по имению в Лейк-Джинева и оплата

произведенных там ремонтных и прочих работ составили без малого девять тысяч долларов, общие хозяйственные расходы, включая электромобиль Беатрисы и купленный в том году новый французский автомобиль — свыше тридцати пяти тысяч. Записано было и все остальное, причем во многих случаях в записях на правой стороне книги, отсутствовали данные, из каких источников эти суммы взяты.

В книге за 1912 год Эмори ждало неприятное открытие: уменьшение количества ценных бумаг и резкое снижение доходов. По деньгам Беатрисы разница была не так разительна, а вот отец его, как выяснилось, в предыдущем году провел ряд неудачных спекуляций с нефтью. Нефти эти операции принесли ничтожно мало, а расходов от Стивена Блейна потребовали огромных. Доходы продолжали снижаться и в последующие три года, и Беатриса впервые стала тратить на содержание дома собственные средства. Впрочем, в 1913 году счет ее врача превысил девять тысяч долларов.

Общее положение дел представлялось мистеру Бартону весьма запутанным и неясным. Имелись недавние капиталовложения, о результате которых еще рано было судить, а кроме того, он подозревал, что за последнее время были и еще спекуляции и биржевые сделки, заключенные без его ведома и согласия.

Лишь спустя несколько месяцев Беатриса написала сыну, каково на поверку оказалось их финансовое положение. Все, что осталось от состояния Блейнов и О'Хара, — это поместье в Лейк-Джинева и около полмиллиона долларов, вложенных теперь в сравнительно надежные шестипроцентные облигации. Кроме того, Беатриса писала, что придется при первой возможности обменять все бумаги на акции железнодорожных и трамвайных компаний.

«В чем я уверена, — писала она, — так это в том, что люди хотят путешествовать. Во всяком случае, из такого положения исходит в своей деятельности этот Форд, о котором столько говорят. Поэтому я дала мистеру Бартону указание покупать акции „Северной Тихоокеанской“ и компании „Быстрый транзит“, как они называют трамвай. Никогда себе не прощу, что вовремя не купила акции „Вифлеемской стали“. О них рассказывают поразительные вещи. Ты должен пойти по финансовой линии, Эмори, я уверена, что это как раз для тебя. Начинать нужно, кажется, с рассыльного или кассира, а потом можно продвигаться все выше и выше, почти без предела. Я уверена, что, будь я мужчиной, я бы ничего так не хотела, как заниматься денежными операциями, у меня это стало каким-то старческим увлечением. Но прежде чем продолжать, несколько слов о другом. Я тут на днях познакомилась в гостях с некой миссис Биспам, на редкость любезной женщиной, у нее сын учится в Йеле, так вот она рассказала мне, что он ей написал, что тамошние студенты всю зиму носят летнее белье и даже в самые холодные дни выходят на улицу с мокрыми волосами и в одних полуботинках. Не знаю, распространена ли такая мода и в Принстоне, но ты уж, пожалуйста, не веди себя так глупо. Это грозит не только воспалением легких и детским параличом, но и всякими легочными заболеваниями, а ты им всегда был подвержен. Нельзя рисковать своим здоровьем. Я в этом убедилась. Я не хочу показаться смешной и не настаиваю, как, вероятно, делают некоторые матери, чтобы ты носил ботинки, хотя отлично помню, как один раз на рождественских каникулах ты упорно носил их с расстегнутыми пряжками, они еще так забавно хлопали, а застегивать ты их не хотел, потому что все мальчишки так ходили. А на следующее Рождество ты уж и галоши не желал надевать, как я тебя ни просила. Тебе, милый, скоро двадцать лет, и не могу я все время быть при тебе и проверять, разумно ли ты поступаешь.

Вот видишь, какое деловое получилось письмо. В прошлый раз я тебя предупреждала, что когда не хватает денег, чтобы делать все, что вздумается, становишься домоседкой и скучной собеседницей, но у нас-то еще есть достаточно, если не слишком транжирить. Береги себя, мой мальчик, и очень тебя прошу, пиши мне хоть раз в неделю, а то, когда от тебя долго нет вестей, я начинаю воображать всякие ужасы.

Целую тебя. Мама».

ПЕРВОЕ ПОЯВЛЕНИЕ ТЕРМИНА «ЛИЧНОСТЬ»

На Рождество монсеньер Дарси пригласил Эмори погостить недельку в его Стюартовском дворце на Гудзоне, и они провели немало часов в беседах у камина. Монсеньер еще немного располнел и словно стал еще обходительнее, и Эмори ощутил отдохновение и покой, когда они, расположившись в низких креслах с подушками, степенно, как двое немолодых мужчин, закурили сигары.

— Я все думаю, не бросить ли мне колледж, монсеньер.

— Почему?

— Карьера моя рухнула, вы, конечно, скажете, что это ребячество и все такое, но...

— Вовсе не ребячество, это очень важно. Расскажи-ка мне все по порядку. Обо всем, что ты делал с тех пор, как мы с тобой не виделись.

Эмори заговорил. Он стал подробно описывать крушение своих эгоистических замыслов, и через полчаса от его равнодушного тона не осталось и следа.

— А что бы ты стал делать, если бы ушел из колледжа? — спросил монсеньер.

— Не знаю. Мне хотелось бы поездить по свету, но путешествовать сейчас нельзя из-за этой злосчастной войны. И мама страшно огорчилась бы, если бы я не кончил. Просто не знаю, как быть. Керри Холидэй уговаривает меня ехать вместе с ним в Европу и вступить в эскадрилью имени Лафайета.

— А этого тебе не хочется.

— Когда как. Сейчас я готов хоть завтра уехать.

— Нет, для этого тебе, думается, еще недостаточно надоело жить. Я ведь тебя знаю.

— Наверно, так, — нехотя согласился Эмори. — Просто как подумаешь, что надо бессмысленно тянуть лямку еще год, это кажется самым легким выходом.

— Понимаю. Но, сказать по правде, я не особенно за тебя тревожусь, по-моему, ты эволюционируешь вполне естественно.

— Нет, — возразил Эмори, — я за год растерял половину самого себя.

— Ничего подобного! — решительно заявил монсеньер. — Ты растерял некоторую долю тщеславия, только и всего.

— Ну, а чувствую я себя так, как будто опять только что поступил в Сент-Реджис.

— Напрасно. — Монсеньер покачал головой. — То была неудача, а сейчас это к лучшему. Все ценное, что ты приобретаешь в жизни, придет к тебе не теми путями, на которых ты чего-то искал в прошлом году.

— Что может быть ничемнее моей теперешней апатии?

— Да, если не смотреть вперед... но ты растешь. У тебя есть время подумать, и ты понемногу освобождаешься от своих прежних идей насчет престижа, сверхчеловека и прочего. Такие люди, как мы, не способны ни одну теорию принять целиком. Если мы делаем то, что нужно сейчас, и один час в день оставляем себе на то, чтобы подумать, мы можем творить чудеса, но что касается той или иной всеобъемлющей системы главенства — тут мы обычно садимся в лужу.

— Но я не могу делать то, что нужно сейчас, монсеньер.

— Скажу тебе по секрету, Эмори, я и сам только совсем недавно этому научился. Я могу делать сто дел второстепенных, а вот на том, что нужно сейчас, спотыкаюсь, как ты нынче осенью споткнулся на математике.

— А почему обязательно нужно делать то, что нужно сейчас? Мне всегда кажется, что именно это делать ни к чему.

— Это нужно потому, что мы не индивидуумы, а личности...

— Как интересно. Но что это значит?

— Индивидуальности — это то, чем ты себя воображал, то, чем, судя по твоим рассказам, являются твои Слоун и Керри. Индивидуальность — категория главным образом физическая, она человека скорее принижает, и я знаю случаи, когда после долгой болезни она вообще исчезает. Но пока индивидуум действует, он отмахивается от «ближайшего нужного дела». А личность неизбежно что-то накапливает. Она неразрывно связана с поступками. Это — веревка, на которой навешано много всякого добра, иногда, как у нас с тобой, заманчиво яркого, но личность пользуется этим добром с расчетом и смыслом.

— А из моих самых ярких сокровищ, — с живостью подхватил Эмори его метафору, — многие рассыпались в прах как раз, когда они были мне нужнее всего.

— Да, в том-то и дело. Когда тебе кажется, что накопленный тобою престиж и таланты, и прочее у всех на виду, тебе ни до кого нет дела, ты сам без труда с любым справишься.

— Но с другой стороны, без своих сокровищ я совершенно беспомощен.

— Безусловно.

— А ведь это идея.

— Ты сейчас можешь начать с нуля, а Слоуну и Керри это по самой их природе недоступно. Три-четыре побрякушки с тебя слетели, а ты с досады отшвырнул и все остальное. Теперь дело за тем, чтобы собрать новую коллекцию, и чем дальше в будущее ты будешь при этом заглядывать, тем лучше. Но помни, делай то, что нужно сейчас.

— Как вы умеете все прояснить!

В таком духе они беседовали — часто о себе, иногда о философии, о религии, о жизни — что она такое: игра или тайна. Священник словно угадывал мысли Эмори еще раньше, чем тот сам успевал их для себя сформулировать, — так похоже и параллельно работало их сознание.

— Почему я все время составляю списки? — спросил как-то вечером Эмори. — Самые разнообразные списки.

— Потому что ты — человек средневековья, — отвечал монсеньер. — Мы оба с тобой такие. Это страсть к классификации и поискам единого типа.

— Это желание додуматься до чего-то определенного.

— Это ядро схоластики.

— Я, перед тем как поехал к вам, уже стал подозревать, что я ненормальный. Наверно, это была просто поза.

— Пусть это тебя не тревожит. Возможно, для тебя отсутствие позы и есть самая настоящая поза. Позируй на здоровье, но...

— Да?

— Делай то, что нужно сейчас.

По возвращении в колледж Эмори получил от монсеньера несколько писем, давших ему обильную пищу для дальнейших размышлений о себе.

«Боюсь, я внушил тебе, что в конечном счете тебе ничто не грозит, пойми, я просто верю, что ты способен на усилия, а отнюдь не хочу сказать, что ты чего-нибудь добьешься без борьбы. С некоторыми чертами твоего характера тебе неизбежно предстоит сражаться, но оповещать о них окружающих не рекомендую. Ты лишен чувствительности, почти не способен на любовь, в тебе есть острота ума, но нет смекалки, есть тщеславие, но нет гордости.

Не поддавайся ощущению собственной никчемности: в жизни ты не раз проявишь себя с самой худшей стороны как раз, когда тебе будет казаться, что ты поступил как герой; и перестань скорбеть об утрате своей „индивидуальности“, как ты любишь выражаться. В пятнадцать лет ты весь сиял, как раннее утро, в двадцать ты начнешь излучать печальный свет луны, а когда доживешь до моих лет, от тебя, как от меня сейчас, будет исходить ласковое золотое тепло летнего дня.

Если будешь писать мне, очень прошу, пиши попроще. Твое последнее письмо с рассуждениями об архитектуре было противно читать, до того оно заумно, будто ты обитаешь в каком-то умственном и эмоциональном вакууме; и остерегайся слишком четко делить людей на определенные типы, — ты убедишься, что в молодости люди только и делают, что перепрыгивают из одной категории в другую, и когда ты на каждого нового знакомого наклеиваешь какой-нибудь нелестный ярлык, ты всего-навсего засовываешь его под крышку, а едва у тебя начнутся подлинные конфликты с жизнью, он выскочит из-под крышки, да еще покажет тебе язык. Более ценным маяком для тебя был бы сейчас такой человек, как Леонардо да Винчи.

Ты еще узнаешь и взлеты, и падения, как и я знавал в молодости, но старайся сохранить ясную голову и не кори себя сверх меры, когда дураки или умники вздумают тебя осуждать.

Ты говоришь, что в „женском вопросе“ тебе не дает сбиться с пути только уважение к

условностям; но дело не только в этом, Эмори: тут замешан и страх, что, раз начав, ты не сможешь остановиться; здесь тебя ждет безумие и гибель, и поверь, я знаю, о чем говорю. Это то необъяснимое шестое чувство, которым человек распознает зло, полуосознанный страх божий, который мы носим в сердце.

Чему бы ты ни посвятил себя впоследствии — философии, архитектуре, литературе, — я убежден, что ты чувствовал бы себя увереннее, обретя опору в Церкви, но не хочу тебя уговаривать, рискуя потерять твою дружбу, хотя в душе не сомневаюсь, что рано или поздно перед тобой развернется „черная бездна папизма“. Пиши мне, не забывай.

Искренне тебе преданный Тэйер Дарси».

Даже чтение у Эмори в этот период пошло под уклон. Он то углублялся в такие туманные закоулки литературы, как Гюисманс, Уолтер Патер и Теофиль Готье, то выискивал особо смачные страницы у Рабле, Боккаччо, Петрония и Светония. Однажды он из любопытства решил обследовать личные библиотеки своих товарищей и решил, что самый типичный образчик — библиотека Слоуна: сочинения Кипплинга, О. Генри, Джона Фокса-младшего и Ричарда Хардинга Дэвиса; «Что следует знать каждой немолодой женщине» и «Зов Юкона»; «подарочное издание» Джеймса Уиткомба Райли, растрепанные, исчерканные учебники и, наконец, собственное недавнее открытие, сильно удивившее его на этих полках, — стихи Руперта Брука.

Вместе с Томом Д'Инвильерсом он выискивал среди принстонских светил кандидата в основоположники Великой Традиции Американской Поэзии.

Младшие курсы в том году оказались интереснее, чем в насквозь филистерском Принстоне два года назад. Сейчас жизнь там стала намного разнообразнее, хотя обаяние новизны улетучилось. В прежнем Принстоне они, конечно же, не заметили бы Танадьюка Уайли. Когда этот Танадьюк, второкурсник с огромными ушами, изрекал «Земля крутясь несется вниз сквозь зловеющие луны предрешенных поколений!», они только недоумевали слегка, почему это звучит не совсем понятно, но в том, что это есть выражение сверхпоэтической души, не сомневались ни минуты. Так, во всяком случае, восприняли его Том и Эмори. Они всерьез уверяли его, что по своему духовному облику он сродни Шелли, и печатали его поэтические опусы, написанные сверхсвободным стихом и прозой, в «Литературном журнале Нассау». Однако гений Танадьюка смешал все краски своего времени, и вскоре, к великому разочарованию товарищей, он окунулся в богему. Теперь он толковал уже не про «кружение полуденных лун», а про Гринич-Вилледж, и вместо шеллиевских «детей мечты», которые так восхищали их и, казалось, столько сулили в будущем, стал общаться с зимними музами, отнюдь не академическими и заточенными в кельях Сорок второй улицы и Бродвея. И они уступили Танадьюка футуристам, решив, что он и его кричащие галстуки придутся там более к месту. Том напоследок посоветовал ему на два года бросить писательство и четыре раза прочесть полное собрание сочинений Александра Попа, но Эмори возразил, что Поп нужен Танадьюку, как собаке — пятая нога, и они с хохотом удалились, гадая, слишком ли велик или слишком мелок оказался для них этот гений.

Эмори с чувством легкого презрения сторонился университетских преподавателей, которые для завоевания популярности чуть ли не каждый вечер приглашали к себе студентов и потчевали их пресными эпиграммами и рюмочкой шартреза. И еще его поражало сочетание доктринерства и полной неуверенности в подходе к любой научной теме; эти свои взгляды он воплотил в коротенькой сатире под заглавием «На лекции» и уговорил Тома поместить ее на страницах «Журнала Нассау».

День добрый, шут... Который раз
Ты лекцией терзаешь нас
И, рассуждая, как всегда,
Речешь миропорядку «да».
Внимая словесам твоим,
Мы, сто баранов, мирно спим...

Считается, что ты учен:
Из пыльных книг былых времен
От трепета ни мертв, ни жив
И ноздри плесенью забив,
Вынюхивал ты матерьял,
Сверял, выписывал, кропал,
С колен в восторге встал потом
И вычихнул толстенный том...
А мой сосед, чей взгляд тяжел,
Зубрила-мученик, осел,
Подлиза и любимчик твой,
Склонясь с почтеньем головой,
Тебе сюсюкнет, что вчера
Читал всю ночь он до утра
Твою стряпню... Как тем польщен
Ты будешь! Вундеркиндом он
Прикинется, и властно труд
Вновь призовет к себе зануд.

Двенадцать дней тому назад
Ты возвратил мой реферат —
Узнать я из пометок мог,
Что я наукой пренебрег,
Что я от логики ушел
И зубоскальство предпочел.
«У вас сомненья в этом нет!»
И «Шоу — не авторитет!»
Но ведь зубрила, хоть и скор,
Тебе подсунет худший вздор.

Эстет, какую благодать
Вкушаешь ты, когда пахать
Начнет Шекспира, впадши в жар,
Пронафталиненный фигляр!
Твой здравый смысл и строг и чист,
О правоверный атеист,
И если радикал начнет
Вещать, то ты раззявишь рот.
Кичась идейной широтой,
И в церковь ты зайдешь порой,
В почете у тебя, педант,
Равно и Вильям Бус 9 и Кант.
Живешь ты долгие года,
Уныло повторяя «да».

...Ура, счастливики — звонок!
И топотом двух сотен ног
Твои слова заглушены.
Нет больше сонной тишины,
И вмиг забудет наш отряд
Зевок, которым ты зачат.

В апреле Керри Холидэй расстался с университетом и отплыл во Францию, чтобы вступить в эскадрилью имени Лафайета. Но восхищение и зависть, испытанные Эмори в связи с этим поступком, заслонили одно его собственное переживание, которое он так никогда и не сумел понять и оценить, хотя оно целых три года не давало ему покоя.

ДЬЯВОЛ

Из кафе «Хили» они вышли в полночь и на такси покатали к «Бистолари». Их было четверо — Акасия Марлоу и Феба Колем из труппы «Летний сад», Фред Слоун и Эмори. Время было еще не позднее, энергия в них была ключом, и в кафе они ворвались, как юные сатиры и вакханки.

— Самый лучший столик нам, на двух мужчин и двух дам! — завопила Феба. — Поживее, старичок, усади нас в уголок!

— Пусть сыграют «Восхищение»! — крикнул Слоун. — Мы с Фебой сейчас покажем класс. А вы пока заказывайте.

И они влились в толпу танцующих. Эмори и Акасия, познакомившиеся час назад, протиснулись вслед за официантом к удобно расположенному столику, сели и огляделись.

— Вон Финдл Марботсон из Нью-Хейвена! — заорала она, перекикивая шум. — Эй, Финдл, алло! Привет!

— Эй, Акасия! — гаркнул тот радостно. — Иди к нам!

— Не надо, — шепнул Эмори.

— Не могу, Финдл, я не одна! Позвони мне завтра, примерно в час.

Финдл, веселящийся молодой человек невзрачной наружности, ответил что-то неразборчивое и отвернулся к яркой блондинке, с которой он пытался пройти «елочкой».

— Врожденный идиот, — определил Эмори.

— Да нет, он ничего. А вот и наш официант. Лично я заказываю двойной «Дайкири».

— На четверых.

Толпа кружилась, сменялась, мельтешила. Все больше студенты, там и тут молодчики с задворок Бродвея и женщины двух сортов — хористки и хуже. В общем — типичная публика, и их компания — такая же типичная, как любая другая. Три четверти из них веселились напоказ, эти были безобидны, расставались у дверей кафе, чтобы поспеть на пятчасовой поезд к себе в Йель или в Принстон, остальные захватывали и более мутные часы и собирали сомнительную дань в сомнительных местах. Их компания по замыслу принадлежала к безобидным. Фред Слоун и Феба Колем были старые знакомые, Акасия и Эмори — новые. Но странные вещи рождаются и в ночное время, и Необычное, которому, казалось бы, нет места в кафе, этих пристанищах всего прозаического и банального, уже готовилось убить в глазах Эмори всю романтику Бродвея. То, что произошло, было так невероятно страшно, так невообразимо, что впоследствии рисовалось ему не как личное переживание, а как сцена из туманной трагедии, сыгранная в загробном мире, но имеющая — это он знал твердо — некий определенный смысл.

Около часа ночи они перебрались к «Максиму», в два уже были у «Девиньера». Слоун пил без передышки и пребывал в бесшабашно веселом состоянии, Эмори же был до противности трезв; нигде им не встретился ни один из тех старых нью-йоркских распутников, что всех подряд угощают шампанским.

Они кончили танцевать и пробирались на свои места, когда Эмори почувствовал на себе чей-то взгляд. Он оглянулся... Немолодой мужчина в свободном коричневом пиджаке, сидевший один за соседним столиком, внимательно посматривал на всю их компанию.

Встретившись глазами с Эмори, он чуть заметно улыбнулся. Эмори повернулся к Фреду.

— Что это за бледнолицый болван за нами следит? — спросил он недовольно.

— Где? — вскричал Слоун. — Сейчас мы велим его отсюда выставить. — Он встал и, покачнувшись, ухватился за спинку стула.

Акасия и Феба вдруг перегнулись друг к другу через стол, пошептались, и не успел Эмори опомниться, как все они уже двинулись к выходу.

— А теперь куда?

— К нам домой, — предложила Феба. — У нас и бренди найдется, и содовая, а здесь сегодня что-то скучно.

Эмори стал быстро соображать. До сих пор он почти ничего не пил, и если держаться и дальше, то почему не поехать, так вдруг отколоться от остальных было бы неудобно. Более того, поехать, пожалуй, даже необходимо, чтобы присмотреть за Слоуном — тот ведь уже вообще не способен соображать. И вот он подхватил Аксию под руку, и они, дружно ввалившись в такси, поехали в район Сотых улиц и остановились перед высоким белым квартирным домом... Никогда ему не забыть этой улицы... Она была широкая, окаймленная точно такими же высокими белыми домами с темными квадратами окон, дома тянулись вдаль, сколько хватал глаз, залитые театрально ярким лунным светом. Наверно, подумалось ему, в каждом таком доме есть доска для ключей, есть лифт и при нем лифтер-негр. В каждом восемь этажей и квартиры по три и по четыре комнаты. Он не без удовольствия вошел в веселенькую гостиную и опустился на тахту, а девушки побежали хлопотать насчет закуски.

— Феба — девочка что надо, — вполголоса сообщил ему Слоун.

— Я побуду полчаса и уйду, — строго сказал Эмори и тут же одернул себя — кажется, это прозвучало брезгливо.

— Еще чего, — возмутился Слоун. — Уж раз мы здесь, так нечего торопиться.

— Мне здесь не нравится, — угрюмо сказал Эмори, — а есть я не хочу.

Появилась Феба, она несла сэндвичи, бутылку, сифон и четыре стакана.

— Эмори, наливай, мы сейчас выпьем за Фреда Слоуна, а то он нас безобразно обскакал.

— Да, — сказала Аксиа, входя. — И за Эмори. Мне Эмори нравится. — Она села рядом с ним и склонилась желтой прической ему на плечо.

— Я сам налью, — сказал Слоун, — а ты, Феба, займись сифоном.

Полные стаканы выстроились на подносе.

— Готово. Начали!

Эмори замер со стаканом в руке.

Была минута, когда соблазн оваял его, как теплый ветер, и воображение воспламенилось, и он взял протянутый Фебой стакан. На том и кончилось: в ту же секунду, когда пришло решение, он поднял глаза и в десяти шагах от себя увидел того человека из кафе. В изумлении он вскочил с места и выронил стакан. Человек сидел на угловом диванчике, прислонясь к подушкам. И лицо у него было такое же бледное, словно из воска — не одутловатое и матовое, как у мертвеца, и нездоровым его не назовешь — скорее это бледность крепкого мужчины, который долго проработал в шахте или трудился по ночам в сыром климате. Эмори как следует рассмотрел его — позже он мог бы, кажется, нарисовать его в мельчайших подробностях. Рот у него был из тех, что называют откровенными, спокойные серые глаза оглядывали их всех по очереди с чуть вопросительным выражением. Эмори обратил внимание на его руки — совсем не красивые, но в них чувствовалась сноровка и сила... нервные руки, легко лежащие на подушках дивана, и пальцы то сжимались слегка, то разжимались. А потом Эмори вдруг заметил его ноги, и что-то словно ударило его — он понял, что ему страшно. Ноги были противоестественные... он не столько понял это, сколько почувствовал... как тайный грешок у порядочной женщины, как кровь на атласе; одна из тех пугающих несуразностей, от которых что-то сдвигается в мозгу. Обут он был не в ботинки, а в нечто вроде мокасин, только с острыми, загнутыми вверх носами, вроде той обуви, что носили в XIV веке. Темно-коричневые, и носы не пустые, а как будто до конца заполненные ступней... Неописуемо страшные...

Видимо, он что-то сказал либо изменился в лице, потому что из пустоты вдруг донесся голос Аксиа, до странности добрый:

— Гляньте-ка на Эмори! Бедному Эмори плохо — что, головка закружилась?

— Смотрите, кто это? — крикнул Эмори, указывая на угловой диванчик.

— Ты это про зеленого змия? — расхохоталась Аксиа. — Ой, не могу! На Эмори смотрит зеленый змий! Слоун бессмысленно ухмыльнулся.

— Что, сцапал тебя зеленый змий?

Наступило молчание... Невидимка насмешливо поглядывал на Эмори... Потом словно издали донеслись человеческие голоса.

— А мне казалось, что ты не пьешь, — съязвила Аксия, но слышать ее голос было приятно. Весь диван, на котором сидел «тот», ожил, пришел в движение, как воздух над раскаленным асфальтом, как извивающиеся черви...

— Куда ты, куда? — Аксия схватила его за рукав. — Эмори, миленький, не уходи! — Он уже был на полпути к двери.

— Не бросай нас, Эмори?

— Что, тошнит?

— Ты лучше сядь.

— Выпей воды.

— Глотни бренди...

Лифт был рядом, полусонный лифтер от усталости побледнел до оттенка лиловой бронзы. Сверху еще неслась умоляющий голос Акси. Эти ноги... ноги...

Не успел лифт остановиться внизу, как они возникли в тусклом электрическом свете на каменном полу холла.

В ПЕРЕУЛКЕ

По длинной улице приближалась луна, Эмори повернулся к ней спиной и пошел. В десяти — пятнадцати шагах от него звучали другие шаги. Точно падали капли — медленно, но как бы настойчиво напоминая о себе. Тень Эмори футов на десять обгоняла его, и настолько же, очевидно, отставали мягкие подошвы. Инстинктивно, как ребенок, Эмори жался к синему мраку белых зданий, испуганно перепрыгивал через полосы света, один раз пустился бежать, неуклюже спотыкаясь. Потом вдруг остановился. Мелькнула мысль — нельзя распускаться. Он облизал пересохшие губы.

Если бы встретить кого-нибудь хорошего — а есть ли еще на земле хорошие люди или все они теперь живут в белых квартирных домах? Неужели за каждым кто-то крадется в лунном свете? Но если бы встретить кого-нибудь хорошего, кто понял бы его и услышал эти чертовы шаги... И тут шаги сразу зазвучали ближе, а луну закрыло черное облако. Когда бледное сияние опять заструилось по карнизам, шаги были почти рядом, и Эмори послышалось чье-то негромкое дыхание. Ему вдруг стало ясно, что шаги звучат не позади его... а впереди и что так было все время, и он не уходит от них, а идет за ними следом. Он побежал, ничего не видя, стиснув кулаки, чувствуя только, как колотится сердце. Далеко впереди появилась черная точка и постепенно приняла очертания человеческой фигуры. Но теперь это уже не имело значения, он свернул в какой-то переулок, узкий, темный, пропахший помойкой. Виляя, бежал по длинной извилистой тьме, куда лунный свет проникал только маленькими блестками и пятнами... и вдруг, задышавшись, в полном изнеможении опустился наземь в каком-то углу у забора. Шаги впереди остановились, он слышал, как они тихонько шуршат в непрерывном движении, как волны у причала.

Он закрыл лицо руками, зажмурился, заткнул уши. За все это время ему ни разу не пришло в голову, что он бредит или пьян. Напротив, ничто материальное никогда не вселяло в него такого чувства реальности. Сознание его покорно подчинялось этому чувству, и оно было под стать всему, что он когда-либо пережил. Оно не вносило путаницы. Точно задача, где ответ известен, а решение никак не дается. Ужаса он уже не испытывал. Сквозь тонкую корку ужаса он провалился в пространство, где те ноги и страх перед белыми стенами стали реальными, живыми, неотвратимыми. Только в самой глубине души еще вспыхивало крошечное пламя и кричало, что что-то тянет его вниз, пытается втолкнуть куда-то и захлопнуть за ним дверь. А когда эта дверь захлопнется, останутся только шаги и белые здания в лунном свете, и может быть, сам он станет одним из этих шагов.

За те пять или десять минут, что он ждал в тени забора, пламя не угасло... иначе он потом не умел это назвать. Он помнил, что взывал вслух: «Мне нужен кто-нибудь глупый! Пришлите

мне кого-нибудь глупого!» — взывал к черному забору, в тени которого те шаги все шаркали, шаркали... «Глупый» и «хороший», видимо, слились воедино в силу каких-то давнишних ассоциаций.

Воля в этих призывах не участвовала, — воля заставила его убежать от той фигуры, что появилась впереди, — а взывал инстинкт, слой за слоем копившаяся традиция, либо бездумная молитва, рожденная давно, еще до этой ночи. А потом вдали словно тихо ударили в гонг, и перед ним над теми ногами сверкнуло лицо, бледное, искаженное каким-то несказанным пороком, от которого оно кривилось, как пламя на ветру, но те полминуты, что гонг звенел и глухо замирал вдали, он знал, что это лицо Дика Хамберда.

Вскоре затем он вскочил на ноги, смутно сознавая, что звуков больше нет и что он один в редющем мраке переулка. Было холодно, и он побежал, ровно и без остановок, в ту сторону, где светилась улица.

У ОКНА

Когда он проснулся, телефон у его кровати в гостинице звонил не умолкая, и он вспомнил, что просил разбудить его в одиннадцать. На другой кровати храпел Слоун, одежда его была свалена в кучу на полу. Они молча оделись и позавтракали, потом вышли на воздух. Мысль у Эмори работала медленно, он все старался осознать случившееся и вытянуть из хаоса образов, заполнявших память, какие-то обрывки действительности. Если бы утро было холодным и пасмурным, он сразу ухватил бы прошедшее, но выдался один из тех редких для Нью-Йорка майских дней, когда воздух на Пятой авеню сладостен, как легкое вино. Сколько и что именно помнил Слоун — это Эмори не интересовало, судя по всему, Слоун не испытывал того нервного напряжения, которое не отпускало его самого, ходило у него в мозгу туда-сюда, как визжащая пила.

Потом на них накатила Бродвей, и от пестрого шума и накрашенных лиц Эмори стало дурно.

— Ради бога, пойдем обратно. Подальше от этого... этого места.

Слоун удивленно воззрился на него.

— Ты что?

— Эта улица, это же ужас! Пошли обратно на Пятую.

— Ты хочешь сказать, — повторил Слоун невозмутимо, — что у тебя было вчера несварение желудка и ты вел себя как маньяк, а посему ты уже и на Бродвей больше никогда не выйдешь?

Эмори тут же причислил его к толпе, — прежний Слоун с его легким характером и беспечным юмором стал всего лишь одним из порочных призраков, несшихся мимо в мутном потоке.

— Пойми ты! — выкрикнул он так громко, что кучка прохожих на углу оглянулась и проводила их глазами. — Это же грязь, и если ты этого не видишь, значит, ты и сам грязный.

— Ничего не поделаешь, — упрямо отозвался Слоун. — Да что с тобой стряслось? Совесть замучила? Хорош бы ты сейчас был, если б остался с нами до конца!

— Я ухожу, Фред, — медленно произнес Эмори. Ноги у него подкашивались, и он чувствовал, что если еще минуту пробудет на этой улице, то просто упадет и не встанет. — Ко второму завтраку приду в «Вандербильт». — Он быстро зашагал прочь и свернул на Пятую авеню. В гостинице ему стало легче, когда он вошел в парикмахерскую, решив сделать массаж головы, запах пудры и одеколона вызвал в памяти лукавую, двусмысленную улыбку Акции, и он поспешил уйти. В дверях его номера внезапная тьма хлынула на него с двух сторон, как два рукава реки.

Он очнулся с четким ощущением, что прошло несколько часов. Рухнул ничком на кровать, объятый смертельным страхом, что сходит с ума. Ему нужны были люди, люди, кто-нибудь нормальный, глупый, хороший. Он не знал, сколько времени пролежал неподвижно. В висках явственно бились горячие жилки, ужас затвердел на нем, словно гипс. Он чувствовал, что снова выбирается наверх сквозь тонкую корку ужаса, и только теперь яснее различил сумеречные тени, едва не поглотившие его. Видимо, он опять заснул, — следующим, что

сохранила память, было, что он уже расплатился по счету в гостинице и садится в такси. На улице лил дождь.

В поезде на Принстон не было знакомых лиц, только стайка совсем, видно, выдохшихся юнцов из Филадельфии. Оттого, что напротив него сидела накрашенная женщина, к горлу снова подступила тошнота, и он перешел в другой вагон, попытался прочесть статью в каком-то журнальчике. Поймав себя на том, что раз за разом перечитывает те же полстраницы, он отказался от этой попытки и устало припал горячим лбом к отсыревшему стеклу окна. В вагоне курили, было жарко и душно, словно здесь смешались запахи разноплеменного населения всего штата; он попробовал открыть окно, и его обдало холодом облако ворвавшегося снаружи тумана. Два часа пути тянулись как два дня, и он чуть не закричал от радости, когда за окнами поплыли башни Принстона и сквозь синий дождь замелькали желтые квадраты света.

Том стоял посреди комнаты, раскуривая потухшую сигару. Эмори показалось, что при виде его на лице Тома изобразилось облегчение.

— Дурацкий сон мне про тебя снился, — прозвучал сквозь сигарный дым надтреснутый голос. — Будто с тобой случилась какая-то беда.

— Не рассказывай! — громко вскрикнул Эмори. — Не говори ни слова. Я устал, совсем вымотался...

Том искоса взглянул на него, потом сел и раскрыл свою тетрадь с записями по итальянскому языку. Эмори скинул пальто и шляпу на пол, расстегнул воротничок и наугад взял с полки томик Уэллса. «Уэллс нормальный, — подумал он, — а если и он не поможет, буду читать Руперта Брука».

Прошло полчаса. За окном поднялся ветер, и Эмори вздрогнул, когда мокрые ветки задвигались и стали царапать ногтями по стеклам. Том весь ушел в работу, и в комнате стояла тишина — только чиркнет изредка спичка или скрипнет кожа, когда повернешься в кресле. А потом в один миг все изменилось. Эмори рывком выпрямился в кресле и застыл. Том смотрел на него в упор, недоуменно скривив губы.

— О господи! — воскликнул Эмори.

— Боже милостивый! — крикнул Том. — Оглянись. Эмори молниеносно сделал пол-оборота. И увидел только темное стекло окна.

— Все исчезло, — раздался после короткого молчания испуганный голос Тома. — На тебя что-то смотрело. Эмори, весь дрожа, снова опустился в кресло.

— Я должен тебе рассказать, — начал он. — Со мной произошла ужасная вещь. Кажется, я видел... видел дьявола... или что-то вроде. Ты какое лицо сейчас видел?.. Впрочем, нет, не говори!

И он все рассказал Тому. Когда он кончил, уже наступила полночь, и после этого, при полном освещении, два полусонных перепуганных мальчика читали друг другу вслух «Нового Макиавелли» 10, пока небо над Ундерспун-Холлом не посветлело, и за дверью с легким стуком упал свежий номер «Принстонской газеты», и птицы запели, встречая солнце, омытое вчерашним дождем.

Глава IV: НАРЦИСС НЕ У ДЕЛ

В переходный период Принстона, иными словами — за те два последних года, которые Эмори там провел, наблюдая, как университет меняется, раздается вширь и начинает оправдывать свою готическую красоту средствами более интересными, чем ночные процессии, в его поле зрения появилось несколько студентов, разбудораживших устоявшуюся университетскую жизнь до самых глубин. Одни из них поступали на первый курс одновременно с Эмори, другие были курсом моложе, и эти-то люди в начале его последнего учебного года, сидя за столиками в кафе «Нассау», стали в полный голос критиковать те самые установления, которые Эмори и многие, многие другие уже давно критиковали про

себя. Прежде всего, как-то почти случайно, речь зашла о некоторых книгах, о том особом роде биографического романа, который Эмори окрестил «романом поисков». В таких книгах герой вступает в жизнь, вооруженный до зубов и с намерением использовать свое оружие как принято — чтобы продвинуться вперед без оглядки на других и на все, что его окружает, однако со временем убеждается, что этому оружию можно найти и более благородное применение. Среди таких книг были «Нет других богов», «Мрачная улица» и «Благородные искания»; последняя из них в начале четвертого курса особенно поразила воображение Бэрна Холидэя и навела его на мысль — а стоит ли довольствоваться столь высоким положением, как светило и властитель дум в своем клубе на Проспект-авеню? Положением этим он, кстати говоря, был целиком обязан университетской элите. Эмори до сих пор был знаком с ним очень поверхностно, только как с братом Керри, но на последнем курсе они стали друзьями.

— Слышал новость? — спросил как-то вечером Том, прибежавший под дождем домой с тем победоносным видом, какой у него всегда бывал после успешного словопрения.

— Нет. Кто-нибудь срезался? Или немцы пустили ко дну еще один пароход?

— Хуже. На третьем курсе примерно треть студентов выходит из состава клубов.

— Что?!

— Факт.

— Почему?

— Реформистские веяния и прочее в этом духе. Это все работа Бэрна Холидэя. Сейчас заседают президенты клубов — изыскивают пути для совместного противодействия.

— Но какие все-таки причины?

— Да разные: клубы, мол, наносят вред принстонской демократии, дорого стоят; подчеркивают сомнительные различия, отнимают время — все то же, что слышишь иногда от разочарованных второкурсников. И Вудро Вильсон, видите ли, считал, что их нужно упразднить, да мало ли что еще.

— И это не шутки?

— Отнюдь. Я думаю, что они одержат верх.

— Да расскажи ты толком.

— Так вот, — начал Том. — Видимо, идея эта зародилась одновременно в нескольких умах. Я недавно разговаривал с Бэрном, и он уверяет, что это логический вывод, к которому приходит всякий разумный человек, если даст себе труд подумать о социальной системе. У них состоялась какая-то дискуссия, и кто-то выдвинул предложение упразднить клубы. Все за это ухватились, потому что так или иначе сами об этом думали и доставало только искры, чтобы разгорелся пожар.

— Здорово! Вот это будет спектакль! А как на это смотрят в «Шапке и Мантии»?

— С ума сходят, конечно. Спорят до хрипоты, ругаются, лезут в бутылку, кто пускает слезу, кто грозит кулаками. И так во всех клубах. Я везде побывал, убедился. Припрут к стенке какого-нибудь радикала и закидывают его вопросами.

— А радикалы как держатся?

— Да ничего, молодцом. Бэрн ведь первоклассный оратор, а уж искренен до того, что его ничем не проймешь. Слишком очевидно, что для него добиться поголовного ухода из клубов куда важнее, чем для нас — помешать этому. Вот и я — попробовал с ним поспорить, а сам чувствую, что это безнадежно, и в конце концов очень ловко занял некую нейтральную позицию. Бэрну, по-моему, даже показалось, что он меня убедил.

— Ты как сказал, на третьем курсе треть студентов решили уйти?

— Ну, уж четверть — во всяком случае.

— О господи, кто бы подумал, что такое возможно? В дверь энергично постучали, и появился сам Бэрн.

— Привет, Эмори. Привет, Том. Эмори поднялся с места.

— Добрый вечер, Бэрн. Прости, что убегаю, — я собрался к Ренвику.

Бэрн быстро обернулся к нему.

— Тебе, наверно, известно, о чем я хочу поговорить с Томом. Тут никаких секретов нет.

Хорошо бы ты остался.

— Да я с удовольствием.

Эмори снова сел и, когда Бэрн, примостившись на столе, вступил в оживленный спор с Томом, пригляделся к этому революционеру внимательнее, чем когда-либо раньше. Бэрн, широколобый, с крепким подбородком и с такими же честными серыми глазами, как у Керри, производил впечатление человека прочного, надежного. Что он упрям, тоже было несомненно, но упрямство было не тупое, и, послушав его пять минут, Эмори понял, что в его увлеченности нет ничего от дилетантства.

Позже Эмори ощутил, какая сила исходит от Бэрна Холидэя, и это было совсем не похоже на то восхищение, которое некогда внушал ему Дик Хамберд. На этот раз все началось с чисто рассудочного интереса. Другие люди, становившиеся его героями, сразу покоряли его своей неповторимой индивидуальностью, а в Бэрне не было той непосредственной притягательности, перед которой он обычно не мог устоять. Но в тот вечер Эмори поразила предельная серьезность Бэрна — свойство, которое он привык связывать только с глупостью, и огромная увлеченность, разбудившая в его душе замолкшие было струны. Бэрн каким-то образом олицетворял ту далекую землю, к которой, как надеялся Эмори, его самого несло течение и которой уже пора, давно пора было показаться на горизонте. Том, Эмори и Алек зашли в тупик, никакие новые интересы их не объединяли: Том и Алек последнее время так же впустую заседали в своих комитетах и правлениях, как Эмори впустую бездельничал, а темы обычных обсуждений — колледж, характер современного, человека и тому подобное — были жеваны-пережеваны.

В тот вечер они обсуждали вопрос о клубах до полуночи и в общих чертах согласились с Бэрном. Тому и Эмори этот предмет представлялся не столь важным, как два-три года назад, но логика, с какой Бэрн обрушивался на социальную систему, так совпадала с их собственными соображениями, что они не столько спорили, сколько задавали вопросы и завидовали здравомыслию, позволявшему Бэрну так решительно ниспровергать любые традиции.

Потом Эмори увел разговор в новое русло и убедился, что Бэрн неплохо осведомлен и в других областях. Он давно интересовался экономикой и был близок к социализму. Занимали его ум и пацифистские идеи, и он прилежно читал журнал «Мэссис» 11 и Льва Толстого.

— А как с религией? — спросил его Эмори.

— Не знаю. Я еще многого для себя не решил. Я только что обнаружил, что наделен разумом, и начал читать.

— Что читать?

— Все. Приходится, конечно, выбирать, но главным образом такие книги, которые будят мысль. Сейчас я читаю четыре Евангелия и «Виды религиозного опыта».

— А что послужило толчком?

— Уэллс, пожалуй, и Толстой, и еще некий Эдвард Карпентер. Я уже больше года как начал читать — по разным линиям, по тем линиям, которые считаю важнейшими.

— И поэзию?

— Честно говоря, не то, что вы называете поэзией, и не по тем же причинам. Вы-то оба пишете, так что у вас, естественно, другое восприятие. Уитмен, вот кто меня интересует.

— Уитмен?

— Да. Он — ярко выраженный этический фактор.

— К стыду своему должен сказать, что ровным счетом ничего о нем не знаю. А ты, Том? Том смущенно кивнул.

— Так вот, — продолжал Бэрн, — у него есть вещи и скучноватые, но я беру его творчество в целом. Он грандиозен — как Толстой. Оба они смотрят фактам в лицо и, как это ни странно для таких разных людей, по существу выражают одно и то же.

— Тут я пасую, Бэрн, — сознался Эмори. — Я, конечно, читал «Анну Каренину» и «Крейцерову сонату», но вообще-то Толстой для меня — темный лес.

— Такого великого человека не было в мире уже много веков! — убежденно воскликнул Бэрн. — Вы когда-нибудь видели его портрет, видели эту косматую голову?

Они проговорили до трех часов ночи обо всем на свете, от биологии до организованной религии, и когда Эмори, совсем продрогший, забрался наконец в постель, голова у него гудела от мыслей и от досадного чувства, что кто-то другой отыскал дорогу, по которой он уже давно мог бы идти. Бэрн Холидэй так явно находился в процессе роста, а ведь Эмори воображал то же самое о себе. А чего он достиг? Пришел к циничному отрицанию всего, что попадалось ему на дороге, утверждая только неисправимость человека, да читал Шоу и Честертона, чтобы не скатиться в декадентство, — сейчас вся умственная работа, проделанная им за последние полтора года, вдруг показалась пошлой и никчемной, какой-то пародией на самоусовершенствование... и темным фоном для всего этого служило таинственное происшествие, случившееся с ним прошлой весной, — оно до сих пор заполняло его ночи тоскливым ужасом и лишило его способности молиться. Он даже не был католиком, а между тем только католичество было для него хотя бы призраком какого-то кодекса — пышное, богатое обрядами, парадоксальное католичество, которого пророком был Честертон, а клакерами — такие раскаявшиеся литературные развратники, как Гюисманс и Бурже, которое в Америке насаждал Ральф Адамс Крам 12 со своей одержимостью соборами XIII века, — такое католичество Эмори готов был принять как нечто удобное, готовенькое, без священников, таинств и жертвоприношений.

Не спалось, он зажег лампу у изголовья и, достав с полки «Крейцерову сонату», пробовал вычитать в ней первопричину увлеченности Бэрна. Стать вторым Бэрном вдруг показалось ему настолько соблазнительнее, чем просто быть умным. Но он тут же вздохнул... может быть, еще один колосс на глиняных ногах?

Он перебрал в памяти прошедшие два года — представил себе Бэрна нервным, вечно спешащим куда-то первокурсником, затененным более яркой фигурой брата. А потом вспомнил один эпизод, в котором главную роль предположительно сыграл Бэрн.

Большая группа студентов слышала, как декан Холлистер пререкался с шофером такси, доставившим его со станции. По ходу спора рассерженный декан заявил, что «лучше уж просто купит весь таксомотор». Потом он расплатился и ушел в дом, а на следующее утро, войдя в свой служебный кабинет, обнаружил на месте, обычно занятом его письменным столом, целое такси с надписью «Собственность декана Холлистера. Куплено и оплачено»... Двум опытным механикам потребовалось полдня, чтобы разобрать машину на мелкие части и вынести из помещения, — что только доказывает, как деятельно может проявиться юмор второкурсников под умелым руководством.

И той же осенью Бэрн произвел еще одну сенсацию. Некая Филлис Стайлз, усердно посещавшая любые вечеринки и праздники в любом колледже, на этот раз не получила приглашения на матч Гарвард — Принстон.

За две недели до того Джесси Ферренби привозил ее на какие-то менее интересные состязания и завербовал в помощники Бэрна, чем нанес этому женоненавистнику чувствительный удар.

— А на матч с Гарвардом вы приедете? — спросил ее Бэрн, просто чтобы о чем-то поговорить.

— А вы меня пригласите? — живо откликнулась она.

— Разумеется, — сказал Бэрн без особого восторга. Уловки Филлис были ему внове, и он был уверен, что это не более как скучноватая шутка. Однако не прошло и часа, как он понял, что связал себя по рукам и ногам. Филлис вцепилась в него намертво, сообщила, каким поездом приедет, и привела его в полное отчаяние. Мало того, что он всеми силами души ее ненавидел, — он рассчитывал в тот день провести время с приятелем из Гарварда.

— Я ей покажу, — заявил он делегации, явившейся к нему в комнату специально, чтобы подразнить его. — Больше она ни одного невинного младенца не уговорит водить ее на матчи.

— Но послушай, Бэрн, чего же ты ее приглашал, раз она тебе ни к чему?

— А признайся, Бэрн, втайне ты в нее влюблен, вот в чем беда.

— А что ты можешь сделать, Бэрн? Что ты можешь против Филлис?

Но Бэрн только качал головой и бормотал угрозы, выражавшиеся главным образом в словах

«Я ей покажу!».

Неунывающая Филлис весело вынесла из поезда свои двадцать пять весен, но на перроне взору ее представилось жуткое зрелище. Там стояли Бэрн и Фред Слоун, наряженные в точности как карикатурные фигуры на университетских плакатах. Они купили себе ярчайшие костюмы с брюками-галифе и высоченными подложенными плечами, на голове лихо заломленная студенческая шапка с черно-оранжевой лентой, а из-под целлулоидного воротничка пылает огнем оранжевый галстук. На рукаве черная повязка с оранжевым «П», в руках — тросточка с принстонским вымпелом, и для полного эффекта — носки и торчащий наружу уголок носового платка в той же цветовой гамме. На цепочке они держали огромного сердитого кота, раскрашенного под тигра.

Собравшаяся на платформе публика уже глазела на них — кто с жалостливым ужасом, кто — давясь от смеха. Когда же приблизилась Филлис с удивленно вздернутыми изящными бровками, двое озорников, склонившись в поклоне, испустили оглушительный университетский клич, не забыв четко добавить в конце имя «Филлис». С громогласными приветствиями они повели ее в университетский городок, сопровождаемые целой оравой местных мальчишек, под приглушенный смех сотен бывших принстонцев и гостей, причем многие понятия не имели, что это розыгрыш, а просто решили, что два принстонских спортсмена пригласили знакомую девушку на студенческий матч.

Можно себе представить, каково было Филлис, когда ее торжественно вели мимо принстонской и гарвардской трибун, где сидело много ее прежних поклонников. Она пыталась уйти немножко вперед, пыталась немножко отстать, но Бэрн и Фред упорно держались рядом, чтобы ни у кого не осталось сомнений насчет того, с кем она явилась, да еще громко перебрасывались шутками о своих друзьях из футбольной команды, так что она почти слышала, как ее знакомые шепотом говорят друг другу: «Плохи, видно, дела у Филлис Стайлз, если она не нашла кавалеров получше!»

Вот каким был когда-то Бэрн — неуемный шутник и серьезный мыслитель. Из этого корня и выросла та энергия, которую он теперь старался направить в достойное русло...

Проходили недели, наступил март, а глиняные ноги, которых опасался Эмори, все не показывались. На волне праведного гнева около ста студентов третьего и четвертого курсов покинули клубы, и клубы, бессильные их удержать, обратили против Бэрна свое самое сильное оружие — насмешку. К самому Бэрну все, кто его знал, относились с симпатией, но его идеи (а они возникала у него одна за другой) подвергались столь язвительным нападкам, что более хрупкая натура нипочем бы не выдержала.

— А тебе не жаль терять престиж? — спросил как-то вечером Эмори. Они теперь бывали друг у друга по несколько раз в неделю.

— Конечно, нет. Да и что такое престиж?

— Про тебя говорят, что в политических вопросах ты большой оригинал. Бэрн расхохотался.

— Это самое мне сегодня сказал Фред Слоун. Видно, не миновать мне взбучки.

Однажды они затронули тему, уже давно интересовавшую Эмори, — влияние физического склада на характер. Бэрн, коснувшись биологической стороны вопроса, сказал:

— Разумеется, здоровье играет очень большую роль. У здорового вдвое больше шансов стать хорошим человеком.

— Не согласен. Не верю я в «мускулистое христианство».

— А я верю. Я уверен, что Христос был наделен большой физической силой.

— Не думаю, — возразил Эмори. — Слишком уж тяжело он работал. По-моему, он умер сломленным, разбитым человеком. И святые не были силачами.

— Некоторые были.

— Пусть даже так, я все равно не считаю, что здоровье влияет на душевные свойства. Конечно, для святого очень важно, если он способен выносить огромные физические нагрузки, но мания дешевых проповедников, которые поднимаются на цыпочки, чтобы показать, какие они атлеты, и вопят, что спасение мира в гимнастике, — нет, это не для меня.

— Ну что ж, не будем спорить — мы ни до чего не договоримся, да к тому же я и сам еще не вполне в этом разобрался. Но одно я знаю твердо — внешность человека очень много

значит.

— Цвет глаз, цвет волос? — живо откликнулся Эмори.

— Да.

— Мы с Томом тоже к этому пришли, — сказал Эмори. — Мы взяли журналы за последние десять лет и просмотрели снимки членов Совета старшекурсников. Я знаю, ты не высоко ценишь это августейшее учреждение, но в общих чертах оно отражает личные успехи в пределах колледжа. Так вот, в каждом выпуске примерно треть — блондины, а среди членов Совета блондинов — две трети.

Не забудь, мы просмотрели портреты за десять лет, это значит, что из каждых пятнадцати блондинов старшекурсников в Совет попадает один, а из брюнетов — только один из пятидесяти.

— Вот именно, — согласился Бэрн. — В общем, светлые волосы — признак более высокого типа. Я это как-то проверил на президентах Соединенных Штатов, — оказалось, что больше половины из них блондины, и это при том, что в стране у нас преобладают брюнеты.

— Подсознательно все это признают, — сказал Эмори. — Обрати внимание, все считают, что белокурые умеют хорошо говорить. Если блондинка не умеет поддержать разговор, мы называем ее «куклой»; молчаливого блондина считаем болваном. А наряду с этим мир полон «интересных молчаливых брюнетов» и «томных брюнеток», абсолютно безмозглых, но никто их почему-то за это не винит.

— А большой рот, квадратный подбородок и крупный нос — несомненные признаки высшего типа.

— Ну, не знаю. — Эмори был сторонником классических черт лица.

— Да, да, вот смотри. — И Бэрн достал из ящика стола пачку фотографий. То были сплошь косматые, бородатые знаменитости — Толстой, Уитмен, Карпентер и другие.

— Удивительные лица, верно? Из вежливости Эмори хотел было поддакнуть, но потом со смехом махнул рукой.

— Нет, Бэрн, на мой взгляд, это скопище уродов. Богадельня, да и только.

— Что ты, Эмори, ты посмотри, какой у Эмерсона лоб, какие глаза у Толстого! — В голосе его звучал укор. Эмори покачал головой.

— Нет! Их можно назвать интересными или как-нибудь там еще, но красоты я здесь не вижу. Ни на йоту не поколебленный, Бэрн любовно провел рукой по внушительным лбам и убрал фотографии обратно в ящик.

Одним из его любимых занятий были ночные прогулки, и однажды он уговорил Эмори пойти вместе.

— Ненавижу темноту, — отбивался Эмори. — Раньше этого не было, разве что когда дашь волю фантазии, но теперь — ненавижу, как последний дурак.

— Но ведь в этом нет смысла.

— Допускаю.

— Пойдем на восток, — предложил Бэрн, — а потом лесом, там есть несколько дорог.

— Не могу сказать, что это меня прельщает, — неохотно признался Эмори. — Ну да ладно, пойдем.

Они пустились в путь быстрым шагом, оживленно беседуя, и через час огни Принстона остались далеко позади, расплывшись в белые пятна.

— Человек с воображением не может не испытывать страха, — серьезно сказал Бэрн. — Я сам раньше очень боялся гулять по ночам. Сейчас я тебе расскажу, почему теперь я могу пойти куда угодно без всякого страха.

— Расскажи. — Они уже подходили к лесу, и нервный, увлеченный голос Бэрна зазвучал еще убедительнее.

— Я раньше приходил сюда ночью один, еще три месяца тому назад, и всегда останавливался у того перекрестка, который мы только что прошли. Впереди чернел лес, вот как сейчас, двигались тени, выли собаки, а больше — ни звука, точно ты один на всем свете. Конечно, я населял лес всякой нечистью, как и ты, наверно?

— Да, — признался Эмори.

— Так вот, я стал разбирать, в чем тут дело. Воображение упорно совало в темноту всякие ужасы, а я решил сунуть в темноту свое воображение — пусть глядит на меня оттуда, — я приказывал ему обернуться бродячей собакой, беглым каторжником, привидением, а потом видел себя, как я иду по дороге. И получалось очень хорошо — как всегда получается, когда целиком поставишь себя на чье-нибудь место. Не буду я угрозой для Бэрна Холидэя, ведь он-то мне ничем не грозит. Потом я подумал о своих часах. Может быть, лучше вернуться, оставить их дома, а потом уже идти в лес — и решил: нет, уж лучше лишиться часов, чем поворачивать обратно — и вошел-таки в лес, не только по дороге, но углубился в самую чащу, и так много раз, пока совсем не перестал бояться, так что однажды сел под деревом и задремал. Тогда уж я убедился, что больше не боюсь темноты.

— Уф, — выдохнул Эмори, — я бы так не мог. Я бы пошел, но если бы проехал автомобиль и фары осветили дорогу, а потом стало бы еще темнее, тут же повернул бы обратно.

— Ну вот, — сказал вдруг Бэрн после короткого молчания, — полдороги по лесу мы прошли, давай поворачивать к дому.

На обратном пути он завел разговор про силу воли.

— Это самое главное, — уверял он. — Это единственная граница между добром и злом. Я не встречал человека, который вел бы скверную жизнь и не был бы безвольным.

— А знаменитые преступники?

— Те, как правило, душевнобольные. А если нет, так тоже безвольные. Такого типа, как нормальный преступник с сильной волей, в природе не существует.

— Не согласен, Бэрн. А как же сверхчеловек?

— Ну что сверхчеловек?

— Он, по-моему, злой, и притом нормальный и сильный.

— Я его никогда не встречал, но пари держу, что он либо глуп, либо ненормален.

— Я его встречал много раз, он ни то, ни другое. Потому мне и кажется, что ты не прав.

— А я уверен, что прав, и поэтому не признаю тюремного заключения, кроме как для умалишенных.

С этим Эмори никак не мог согласиться. В жизни и в истории сколько угодно сильных преступников — умных, но часто ослепленных славой, их можно найти и в политических и в деловых кругах, и среди государственных деятелей прежних времен, королей и полководцев; но Бэрн стоял на своем, и от этой точки их пути постепенно разошлись.

Бэрн уходил все дальше и дальше от окружавшего его мира. Он отказался от поста вице-президента старшего курса и почти все свое время заполнял чтением и прогулками. Он посещал дополнительные лекции по философии и биологии, и когда он их слушал, глаза у него становились внимательные и беспокойные, словно он ждал, когда же лектор доберется до сути. Порой Эмори замечал, как он ерзает на стуле и лицо у него загорается от страстного желания поспорить.

На улице он теперь бывал рассеян, не узнавал знакомых, его даже обвиняли в высокомерии, но Эмори знал, как это далеко от истины, и однажды, когда Бэрн прошел от него в трех шагах, ничего не видя, словно мысли его витали за тысячу миль, Эмори чуть не задохнулся, такой романтической радости исполнило его это зрелище. Бэрн, казалось ему, покорял вершины, до которых другим никогда не добраться.

— Уверяю тебя, — сказал он как-то Тому, — Бэрн — единственный из моих сверстников, чье умственное превосходство я безоговорочно признаю.

— Неудачное ты выбрал время для такого признания, многие склоняются к мнению, что у него не все дома.

— Он просто на голову выше их, а ты и сам говоришь с ним, как с недоумком, — боже мой, Том, ведь было время, когда ты умел противопоставить себя этим «многим». Успех окончательно тебя стандартизировал.

Том был явно раздосадован.

— Он что, святого из себя корчит?

— Нет! Он совсем особенный. Никакой мистики, никакого сектантства. В эту чепуху он не верит. И не верит, что все мировое зло можно исправить с помощью общедоступных

бассейнов и доброго слова во благовремени. К тому же выпивает, когда придет охота.

— Куда-то не туда он заворачивает.

— Ты с ним в последнее время разговаривал?

— Нет.

— Ну так ты ровным счетом ничего о нем не знаешь.

Спор окончился ничем, но Эмори стало еще яснее, как сильно изменилось в университете отношение к Бэрну.

— Странно, — сказал он Тому через некоторое время, когда их беседы на эту тему стали более дружескими, — те, кто ополчается на Бэрна за радикализм, это самые что ни на есть фарисеи — то есть самые образованные люди в колледже: редакторы наших изданий, как ты и Ферренби, молодые преподаватели... Неграмотные спортсмены вроде Лангедюка считают его чудачком, но они просто говорят: «У нашего Бэрна появились завиральные идеи», — и проходят мимо. А уж фарисеи — те издеваются над ним немилосердно.

На следующее утро он встретил на улице Бэрна, спешившего куда-то с лекции.

— В какие края, государь?

— В редакцию «Принстонской», к Ферренби. — И помахал свежим номером газеты. — Он там написал передовую.

— И ты решил спустить с него шкуру?

— Нет, но он меня ошарашил. Либо я неверно судил о нем, либо он вдруг превратился в отъявленного радикала.

Бэрн умчался, и Эмори только через несколько дней узнал, какой разговор состоялся в редакции.

Бэрн вошел в редакторский кабинет, бодро потрясая газетой.

— Здорово, Джесси.

— Здорово, Савонарола.

— Только что прочел твою передовицу.

— Благодарю, не ожидал удостоиться такой чести.

— Джесси, ты меня удивил.

— Это чем же?

— Ты не боишься, что заработаешь нагоняй от начальства, если не перестанешь шутить с религией?

— Что?!

— А вот как сегодня.

— Какого черта, ведь передовая была о системе репетиторства.

— Да, но эта цитата...

— Какая цитата?

— Ну как же, «Кто не со мной, тот против меня».

— Ну и что?

Джесси был озадачен, но не встревожен.

— Вот тут ты говоришь... сейчас найду — Бэрн развернул газету и прочитал: — «Кто не со мной, тот против меня, как выразился некий джентльмен, заведомо способный только на грубые противопоставления и ничего не значащие трюизмы».

— Ну и что же? — на лице Ферренби отразилась тревога. — Ведь это, кажется, сказал Кромвелл? Или Вашингтон? Или кто-то из святых? Честное слово, забыл.

Бэрн покатился со смеху.

— Ах, Джесси! Милый, добрый Джесси!

— Да кто это сказал, черт возьми?

— Насколько мне известно, — отвечал Бэрн, овладев своим голосом, — святой Матфей приписывает эти слова Христу.

— Боже мой! — вскричал Джесси и, откинувшись назад, свалился в корзинку для мусора.

ЭМОРИ ПИШЕТ СТИХОТВОРЕНИЕ

Недели проносились одна за другой. Эмори изредка удирал в Нью-Йорк в надежде найти что-нибудь новенькое, что могло бы своим дешевым блеском поднять его настроение. Один раз он забрел в театр, на возобновленную постановку, название которой показалось ему смутно знакомым. Раздвинулся занавес, на сцену вышла девушка, он почти не смотрел на нее, но какие-то реплики коснулись его слуха и слабо отдались в памяти. Где?.. Когда?.. Потом рядом с ним словно зашептал кто-то, очень тихо, но внятно: «Ой, я такая дурочка, вы мне всегда говорите, если я что делаю не так».

Блеснула разгадка, и ласковым воспоминанием на минуту возникла Изабелла. Он нашел свободное место на программе и стал быстро писать:

Опять в партере я. Темнеет зал.
Вот взвился занавес, а вместе с ним —
Завеса лет. И мы с тобой следим
За скверной пьесой. Радостный финал
Нам не смешон. О, как я трепетал,
Как был я восхищен лицом твоим!
Гнушаясь представлением плохим,
Его вполглаза я воспринимал.

Теперь, зевая, здесь опять я сел —
Один... И гомон слушать не дает
Единственную сносную из сцен
(Ты плакала, а я тебя жалел) —
В ней мистер Игрек защищал развод
В страдальческих объятьях миссис Н.

ВСЕ ЕЩЕ СПОКОЙНО

— Привидения — глупый народ, — заявил Алек. — Просто тупицы. Я любое привидение могу перехитрить.

— Как именно? — осведомился Том.

— Это смотря по тому где. Возьмем, к примеру, спальню. Если действовать осмотрительно, в спальне привидение никогда тебя не настигнет.

— Ну, допустим, ты подозреваешь, что у тебя в спальне завелось привидение, какие ты принимаешь меры, когда поздно вечером возвращаешься домой? — заинтересованно спросил Эмори.

— Надо взять палку, — отвечал Алек наставительно и серьезно, — длиной примерно как ручка от половой щетки. Первым делом комнату необходимо обследовать. Для этого вбегают в нее с закрытыми глазами и зажигают все лампы, после чего с порога тщательно обшаривают палкой чулан, три или четыре раза. Затем, если ничего не случится, можно туда заглянуть. Но только в таком порядке: сначала основательно пройтись палкой, а затем уже заглянуть.

— Это, конечно, старинный кельтский рецепт, — без улыбки сказал Том.

— Да, только они обычно начинают с молитвы. Так или иначе, этот метод годится для поисков в чуланах, а также за дверями...

— И под кроватью, — подсказал Эмори.

— Что ты, Эмори, ни в коем случае, — в ужасе вскричал Алек. — Кровать требует особой тактики. От кровати следует держаться подальше. Если в комнате есть привидение — а это бывает в одном случае из трех, — оно почти всегда прячется под кроватью.

— Ну, так значит... — начал Эмори, но Алек жестом заставил его замолчать.

— Смотреть туда нельзя. Нужно стать посреди комнаты, а потом сразу, не дав ему опомниться, одним прыжком перемахнуть в постель. Ни в коем случае не прохаживаться около постели. Для привидения твое самое уязвимое место — лодыжка. А там ты в безопасности, оно пусть лежит под кроватью хоть до утра, тебе уже ничто не грозит. А если все еще сомневаешься, накройся с головой одеялом.

— Все это чрезвычайно интересно, не правда ли, Том?

— Еще бы! — Алек горделиво усмехнулся. — И выдуманно мною лично. Я сэр Оливер Лодж 13 в американском издании.

Эмори опять от души наслаждался жизнью в колледже. Вернулось ощущение, что он продвигается вперед по четкой прямой линии; молодость бурлила в нем и нащупывала новые возможности. Он даже накопил избыточной энергии, чтобы испробовать новую позу.

— Ты что это уставился в пространство? — спросил как-то Алек, видя, что Эмори застыл над книгой в нарочитой неподвижности. — Ради Христа, хоть при мне не разыгрывай мистика — Бэрна.

Эмори поднял на него невинный взгляд.

— В чем дело?

— В чем дело? — передразнил его Алек. — Ты что, хочешь довести себя до транса с помощью... а ну-ка, дай сюда книгу.

Он схватил ее, насмешливо глянул на заголовок.

— Так что же? — спросил Эмори чуть вызывающе.

— «Житие святой Терезы», — прочел Алек вслух. — Ну и ну!

— Послушай, Алек!

— Что?

— Это тебя раздражает?

— Что именно?

— А вот что я бываю как будто в трансе и вообще...

— Да нет, почему же раздражает.

— Тогда будь добр, не порть мне удовольствия. Если мне нравится с видом наивного ребенка внушать людям, будто я считаю себя гением, не препятствуй мне в этом.

— Ты, видимо, хочешь сказать, что решил прослыть чудачком, — рассмеялся Алек.

Но Эмори не сдался, и в конце концов Алек пошел на то, чтобы при посторонних принимать его игру как должное, но с условием, что с глазу на глаз ему будет разрешено отводить душу, и Эмори лицедействовал напропалую, приглашая на обед в клубе «Коттедж» самых эксцентричных типов — шальных аспирантов, преподавателей с диковинными теориями относительно бога и правительства — и тем повергая высокомерных членов клуба в негодующее изумление.

К концу зимы, когда февраль редкими солнечными днями устремился навстречу марту, Эмори несколько раз съездил на воскресенье к монсеньеру, а один раз захватил с собой Бэрна — и получилось отлично: он с одинаковой гордостью и радостью показывал их друг другу. Монсеньер несколько раз возил его в гости к Торнтону Хэнкоку, а раза два — к некой миссис Лоренс, ушибленной Римом американке, которая понравилась Эмори чрезвычайно. А потом от монсеньера пришло письмо с интересным постскриптумом:

«Знаешь ли ты, что в Филадельфии живет твоя дальняя родственница Клара Пейдж? Она полгода тому назад овдовела и сильно нуждается. Ты, кажется, с ней не знаком, но у меня к тебе просьба: съезди ее навестить. На мой взгляд, она женщина незаурядная и примерно одних с тобой лет».

Эмори вздохнул, но решил съездить, выполнить просьбу...

КЛАРА

Она была древняя, как мир... Клара, прекрасная Клара с волнистыми золотыми волосами, недостижимая для Эмори, как, впрочем, и для любого мужчины. Ее прелесть была чужда вульгарной морали охотниц за мужьями, не подпадала под скучное мерило женских

добродетелей.

Горе она несла легко, и Эмори, когда он разыскал ее в Филадельфии, показалось, что ее серо-синие глаза излучают только счастье; дремавшая в ней сила и трезвый взгляд на вещи полностью проявились в столкновении с фактами, перед которыми поставила ее жизнь. Она была одна на свете с двумя маленькими детьми, почти без денег и, что хуже всего, с кучей знакомых. Он сам видел, что по вечерам в ее гостиной бывает полно мужчин, а у нее, как он знал, не было прислуги, если не считать девочки-негритянки, охранявшей малышей в детской на втором этаже. Он видел, как один из завязанных филадельфийских распутников, человек, только и знавший, что пить и буяннить как у себя дома, так и в гостях, целый вечер сидел напротив нее, скромно и заинтересованно беседуя о закрытых школах для девочек. Каким тонким умом наделена была Клара! Она умела строить захватывающую, почти блестящую беседу на самом пустом месте, какое только можно вообразить в гостиной.

Помня, что эта женщина прозябает в бедности, Эмори дал волю воображению. По пути в Филадельфию он ясно представил себе дом 921 по Арк-стрит как мрачное трущобное жилище. Убедившись в своей ошибке, — он даже испытал разочарование. Дом был старый, много лет принадлежавший семье ее мужа. Престарелая тетка, не пожелавшая его продать, оставила в распоряжении поверенного деньги в счет уплаты налогов на десять лет вперед, а сама ускакала в Гонолулу, предоставив Кларе отапливать дом как сумеет. И хозяйка, встретившая Эмори на пороге, была совсем не похожа на растрепанную женщину с голодным младенцем на руках и выражением грустной покорности во взгляде: судя по оказанному ему приему, Эмори мог бы предположить, что она не ведает в жизни ни трудов, ни забот.

Спокойное мужество и ленивый юмор в отличие от ее обычной уравновешенности — вот убежища, в которые она порой спасалась. Она могла заниматься самыми прозаическими делами (впрочем, у нее хватало ума не смешить публику пристрастием к «художественному» вязанию и вышивке), а потом сразу взяться за книгу и дать воображению носиться по ветру бесформенным облачком. Из самой глубины ее существа исходило золотое сияние. Как горящий в темной комнате камин отбрасывает на спокойные лица блики романтики и высокого чувства, так она по любой комнате, в которой находилась, разбрасывала собственные блики и тени, превращая своего скучного старого дядюшку в самобытного и обаятельного мыслителя, а мальчишку-рассыльного — в прелестное и неповторимое создание, подобное эльфу Пэку. Вначале эта ее способность немного раздражала Эмори. Он считал свою исключительность вполне достаточной и как-то смущался, когда Клара пыталась, для услаждения других своих поклонников, наделить его новыми интересными чертами. Словно вежливый, но настойчивый режиссер навязывал ему новое толкование роли, которую он заучил уже давным-давно.

Но как умела Клара говорить, как она рассказывала пустячный эпизод про себя, шляпную булавку и подвыпившего мужчину... Многие пробовали пересказывать ее анекдоты, но, как ни старались, получалось бессмысленно и пресно. Люди дарили ее невинным вниманием и такими хорошими улыбками, какими многие из них не улыбались с детства, сама Клара была скупа на слезы, но у тех, кто ей улыбался, глаза увлажнялись.

В очень редких случаях Эмори задерживался у нее на полчаса после того, как остальные придворные удалялись, тогда они пили чай и ели хлеб с вареньем, если дело было днем, а по вечерам «завтракали кленовым соком», как она это называла.

— Вы совсем особенная, правда? — Эмори, забравшись на стол в столовой, уже изрекал со своего насеста банальности.

— Вовсе нет, — отвечала она, доставая из буфета салфетки. — Я — самая обыкновенная, каких тысячи. Одна из тех женщин, которые не интересуются ничем, кроме своих детей.

— Как бы не так, — усмехнулся Эмори. — Вы — как солнце, и знаете это. — И он сказал ей то единственное, что могло ее смутить, те слова, с которыми первый надоеда обратился к Адаму.

— Расскажите мне о себе, — попросил он, и она ответила так же, как, должно быть, в свое время ответил Адам:

— Да рассказывать-то нечего.

Но в конце концов Адам, вероятно, рассказал надоеде, о чем он думает по ночам, когда в сухой траве звенят цикады, да еще добавил самодовольно, как сильно он отличается от Евы, забыв о том, как сильно Ева отличается от него... короче говоря, Клара в тот вечер многое рассказала Эмори о себе. Она не знала свободной минуты с шестнадцати лет, и образование ее кончилось вместе с досугом. Роясь в ее библиотеке, Эмори нашел растрепанную серую книжку, из которой выпал пожелтевший листок бумаги. Эмори бесцеремонно развернул его — это были стихи, написанные Кларой в школе, стихи о серой монастырской стене в серый день и о девушке в плаще, развеваемом ветром, которая сидит на стене и думает о многоцветном мире. Обычно такие стихи вызывали у него зевоту, но эти были написаны так просто, с таким настроением, что он сразу представил себе Клару — Клара в такой вот прохладный, серенький день смотрит вдаль своими синими глазами, пытается разглядеть трагедии, что надвигаются на нее из-за горизонта. Он завидовал этим стихам. Какое это было бы наслаждение — увидеть ее на стене, словно парящей в воздухе у него над головой, и, подойдя ближе, плести ей какой-нибудь романтический вздор. Он познал жестокую ревность ко всему, что касалось Клары: к ее прошлому, ее детям, к мужчинам и женщинам, которые шли к ней, чтобы напиться из источника ее спокойной доброты и дать отдых усталым мозгам, как на захватывающем спектакле.

— Вам никто не кажется скучным, — возмущался он.

— Нет, половина тех, с кем я общаюсь, мне скучны, но это не так уж много, верно? — и она потянулась за томиком Браунинга, чтобы найти строки на эту тему. Из всех, кого он знал, она одна умела прервать разговор, чтобы отыскать в книге нужный отрезок или цитату, не доводя его этим до белого каления. Она проделывала это часто и с таким искренним увлечением, что он полюбил смотреть на ее золотые волосы, склоненные над книгой, на брови, чуть сдвинутые от старания найти нужную фразу.

Он стал ездить в Филадельфию каждую неделю, на субботу и воскресенье. Почти всегда у Клары бывали в эти дни и другие гости, и она как будто не стремилась остаться с ним наедине — было много случаев, когда одно ее слово могло бы подарить ему лишних полчаса для сладостного обожания. Но он влюблялся все сильнее и уже носился с мыслью о браке. Мысль эта не только бродила у него в голове, но и выливалась в слова, однако позже он понял, что желание его было не глубоко. Однажды ему приснилось, что оно сбылось, и он проснулся в ужасе, потому что во сне Клара была глупая, белобрысая, волосы ее уже не золотились, а с языка, словно ее подменили, срывались невыносимо пошлые трюизмы. Но она была первой в его жизни интересной женщиной, была по-настоящему хорошим человеком, не казавшимся ему скучным, как почти все хорошие люди, которых он встречал. Порядочность только украшала ее. Эмори считал, что обычно хорошие люди либо следуют чувству долга, либо искусственно приучают себя к человеколюбию, и еще, конечно, имеются ханжи и фарисеи (их-то, впрочем, он никогда не причислял к праведникам).

СВЯТАЯ ЦЕЦИЛИЯ

Пусть бархатный наряд тяжел —
Под златом кос, под светом глаз
Румянец розы вдруг расцвел,
То вспыхнул, то опять погас —
И от нее и до него
Истомой все напоено,
И не поймет он: есть иль нет
Мгновенный смех и розы цвет.

— Я вам нравлюсь?

— Конечно, — серьезно ответила Клара.

— Чем?

— Во-первых, у нас с вами много общего. Разные черточки, которые проявляются в нас непосредственно — или раньше так проявлялись.

— Вы хотите сказать, что я неважно использовал свои возможности?

Клара ответила не сразу.

— Знаете, мне трудно об этом судить. У мужчины, конечно, жизнь куда сложнее, а я была защищена от внешнего мира.

— Прошу вас, Клара, не увиливайте, — перебил ее Эмори. — Вы только поговорите немножко обо мне, ладно?

— Почему же нет, с удовольствием. — Она не улыбнулась.

— Вот какая вы милая. Прежде всего, ответьте на несколько вопросов. По-вашему, я очень высокого мнения о себе?

— Да пожалуй, нет — тщеславие у вас безграничное, но для людей, которые его замечают, это только забавно.

— Вот как.

— В сущности вы смиренный. Когда вам кажется, что вас обидели, вы погружаетесь в бездонное отчаяние. Скажу больше — вам недостает самоуважения.

— Опять в яблочко. Как вам это удастся, Клара? Ведь вы мне не даете слова сказать.

— Ну конечно. Я никогда не сужу о человеке по его словам. Но я не договорила. Почему вы в сущности так неуверены в себе, хотя готовы всерьез уверять филистеров, что считаете себя гением? А потому, что вы придумали себе кучу смертных грехов и пытаетесь оправдать эту выдумку. Например, вы все твердите, что вы — раб коктейлей.

— Так оно и есть, потенциально.

— И уверяете, что вы бесхарактерный, безвольный.

— Да, абсолютно безвольный. Я — раб своих чувств, своих вкусов, своего страха перед скукой, своих желаний...

— Неправда! — Она ударила одним стиснутым кулачком по другому. — Вы — раб, закованный в цепи раб, но только своего воображения.

— Это интересно. Если вам не надоело, продолжайте.

— Я заметила, что когда вам хочется лишний день не появляться в колледже, вы действуете вполне уверенно. Вы не принимаете решения, пока вам еще более или менее ясно, что лучше — прогулять или не прогулять. Вы даете своему воображению поиграть несколько часов с вашими желаниями, а потом уж решаете. А воображение, естественно, подсказывает вам миллион оправданий для прогула, так что когда решение приходит, оно уже неправильное. Оно пристрастно.

— Да, но позволять воображению играть в запретные игры, разве это не отсутствие силы воли? — возразил Эмори.

— Милый мой мальчик, вот тут-то вы ошибаетесь. К силе воли это не имеет никакого отношения. И вообще это только лишние, ничего не значащие слова. Чего вам недостает — это здравомыслия, умения понять, что воображение подведет вас, дай ему только волю.

— Черт побери! — удивленно воскликнул Эмори. — Вот этого я не ожидал.

Клара не злорадствовала. Она сразу заговорила о другом. Но он задумался над ее словами и пришел к выводу, что она отчасти права. Он чувствовал себя, как фабрикант, который обвинил служащего в нечестности, а затем обнаружил, что это его родной сын из недели в неделю подделывал записи в книгах. Его бедная, оклеветанная сила воли, которую он так упорно отрицал для оболения себя и своих друзей, стояла перед ним, омытая от грехов, а здравомыслие под конвоем шагало в тюрьму, и рядом, насмешливо приплясывая, бежал неумный бесенок — воображение. Клара была единственным человеком, с которым он советовался, самолично не диктуя ответа, — Клара да еще, может быть, монсеньер Дарси. Как он любил проводить время с Кларой! Ходить с ней за покупками было поистине мечтой эпикурейца. В магазинах, где ее знали, о ней перешептывались как о «красавице миссис Пейдж».

— Помяните мое слово, она-то недолго останется одинокой вдовой.

— А ты помалкивай, она и без твоего мнения обойдется.

— Надо же, какая красавица!

(Входит старший приказчик. Продавщицы умолкают, а он с улыбочками устремляется к покупательнице.)

— Она, говорят, из высшего общества?

— Да, только теперь, я слышала, с деньгами у нее плохо.

— Ох, девушки, но до чего же хороша!

А Клара всех одинаково дарила своей лаской. Эмори подозревал, что в магазинах ей делают скидку, когда с ее ведома, а когда и нет. Он видел, что она отлично одевается, что в доме у нее все высшего качества и что обслуживает ее всякий раз старший приказчик, а то и хозяин магазина.

По воскресеньям они ходили иногда вместе в церковь, — он шел рядом с ней и упивался тем, как капельки влажного воздуха оседают на ее щеках. Она была очень набожна, с самого детства, и одному богу известно, на какие высоты она возносилась и какую силу там черпала, когда стояла на коленях, склонив золотые волосы, озаренные светом витражей.

— Святая Цецилия! — вырвалось у него однажды, и многие оглянулись на него, священник запнулся посреди проповеди, а Клара и Эмори залились краской.

Это было их последнее воскресенье, потому что в тот вечер он сам все испортил. Просто не удержался.

Они шли, окутанные мартовскими сумерками, теплыми, как в июне, и счастье молодости так переполняло его душу, что он не мог не заговорить.

— Мне кажется, — сказал он дрогнувшим голосом, — что если бы я потерял веру в вас, я бы потерял веру в бога.

Она оглянулась на него так удивленно, что он спросил, в чем дело.

— Да ни в чем, — протянула она. — Просто я уже пять раз слышала это от разных мужчин, и это меня пугает.

— Ах, Клара, значит, это вам на роду написано? Она не ответила.

— Для вас любовь — это, вероятно... — начал он. Она резко оборвала его.

— Я никогда не любила.

Они пошли дальше, и постепенно ему открылось огромное значение ее слов... никогда не любила... Внезапно она предстала перед ним как дочь небесного света. Сам он начисто выпал из ее мира, и ему лишь хотелось коснуться ее одежды — такое чувство испытал, должно быть, Иосиф, когда ему открылась непреходящая святость Марии. Но одновременно, словно со стороны, он услышал собственный голос, говоривший:

— А я вас люблю — все, что во мне заложено высокого... Нет, не могу я это выразить, Клара, но если я приду к вам снова через два года, когда добьюсь чего-то и смогу просить вашей руки...

Она покачала головой.

— Нет, я больше никогда не выйду замуж. У меня двое детей, и я нужна себе для них. Вы мне нравитесь, мне все умные мужчины нравятся, а вы тем более, но вы меня немного знаете, и пора бы вам понять, что я никогда не вышла бы замуж за умного мужчину.

Она помолчала.

— Эмори!

— Что?

— Вы ведь меня не любите. Вы не собирались на мне жениться. Разве не так?

— Это сумерки виноваты, — недоуменно произнес Эмори. — Я как-то не осознал, что говорю вслух. Но я люблю вас... или обожаю... или боготворю...

— Это на вас похоже — проиграть за пять секунд всю гамму эмоций.

Он невольно улыбнулся.

— Не изображайте меня таким легковесом, Клара; право же, вы умеете иногда облить холодной водой.

— Вы что угодно, только не легковес, — сказала она серьезно, взяв его под руку и широко раскрыв глаза, — в меркнувшем свете он разглядел, какие они добрые. — Легковес — это тот, кто все отрицает.

— Такая весна сегодня в воздухе, такая сладость в вашем сердце!

Она отпустила его руку.

— Сейчас вам хорошо, а я и вовсе на седьмом небе. Дайте мне сигарету. Вы не знали, что я курю? Курю примерно раз в месяц.

А потом эта непостижимая женщина и Эмори со всех ног побежали к перекрестку, как двое шаловливых детей, взбудораженных голубыми сумерками.

— На завтра я уезжаю за город, — сообщила она, запыхавшись, стоя в надежном свете фонаря на углу. — Упускать такие дивные дни просто грех, хотя, может быть, они больше чувствуются именно в городе.

— Клара, Клара, каким бесовским обаянием наделил бы вас бог, если бы чуть направил вашу душу в другую сторону!

— Возможно, — отвечала она. — Впрочем, не думаю. Я в сущности не сумасбродка. Никогда не была. А эта моя маленькая вспышка — просто дань весне.

— Вы и сама вся весенняя. Они уже снова шли рядом.

— Нет, вы опять ошиблись. И как только человек с вашим признанным вами же умом может раз за разом во мне ошибаться? Я — как раз обратное всему весеннему. Если я получилась похожей на идеал сентиментального древнегреческого скульптора, это просто несчастная случайность, но уверяю вас — будь у меня другое лицо, я ушла бы в монастырь и тихо жила... — она ускорила шаг и закончила громче, чтобы он, едва поспевая за ней, мог услышать, — без моих драгоценных малюток, по которым я ужасно соскучилась.

Только с Кларой ему становилось понятно, что женщина может предпочесть ему другого. Не раз он встречал чужих жен, которых знал молоденькими девушками, и, вглядываясь в них, воображал, что читает в их лицах сожаление: «Ах, вот если бы я тогда сумела покорить вас!» Ах, как много мнил о себе Эмори Блейн!

Но этот вечер был вечером звезд и песен, и светлая душа Клары все еще озаряла пути, пройденные ими вместе.

« Вечер, вечер золотой , — негромко запел он лужицам на тротуаре, — воздух золотой... золотые мандолины сыплют золото в долины — радость и покой... Золотых переплетений по земле ложатся тени, словно юный бог смертным золото оставил, беззаботно улетаая без путей-дорог »...

ЭМОРИ НЕДОВОЛЕН

Медленно и неотвратно, а под конец одним мощным всплеском — пока Эмори разговаривал и мечтал — война накатилась на берег и поглотила песок, на котором резвился Принстон. По вечерам в гимнастическом зале теперь гулко топал взвод за взводом, стирая на полу метки от баскетбола. В Вашингтоне, куда Эмори съездил на следующие свободные дни, его ненадолго захватило общее чувство лихорадочного подъема, которое, однако, в спальном вагоне на обратном пути сменилось брезгливым отвращением, потому что через проход от него спали какие-то неаппетитные чужаки, скорее всего, решил он, греки или русские. Он думал о том, насколько легче дается патриотизм однородным нациям, насколько легче было бы воевать, как воевали американские колонии или Южная конфедерация. Он не заснул в эту ночь, а все слушал, как гогочут и храпят чужаки, наполняя вагон тяжким духом современной Америки.

В Принстоне все шутливо утешали друг друга, а в глубине души и себя, перспективой хотя бы пасть смертью храбрых.

Любители литературы зачитывались Рупертом Бруком; щеголей волновало, разрешит ли правительство офицерам носить военную форму английского образца, иные из закоренелых бездельников направляли прошения в Военный департамент — об освобождении от строевой службы и о тепленьком местечке.

Однажды Эмори после долгого перерыва встретил Бэрна и сразу понял, что спорить с ним бесполезно, — Бэрн заделался пацифистом. Социалистические журналы, изучение Толстого и собственное горячее стремление послужить делу, которое потребовало бы всех его

душевных сил, определили его окончательное решение ратовать за мир как за личный идеал каждого человека.

— Когда немцы вступили в Бельгию, — начал он, — если бы жители продолжали спокойно заниматься своими делами, германская армия оказалась бы дезорганизованной за какие-нибудь...

— Знаю, — перебил его Эмори. — Все это я слышал. Но я не намерен тебя пропагандировать. Может быть, ты и прав, но еще не пришло и еще сотни лет не придет время, когда непротивление могло бы стать для нас чем-то реальным.

— Но пойми ты, Эмори...

— Что толку спорить.

— Хорошо, не будем.

— Я только одно могу сказать — я не прошу тебя подумать о своей семье, о друзьях — я ведь знаю, что для тебя это ноль по сравнению с чувством долга — но, Бэрн, не приходило ли тебе в голову, что эти твои журналы, и кружки, и агитаторы, что за всем этим, может быть, стоят немцы?

— В некоторых случаях, конечно, так и есть.

— А может быть, они все за Германию — все эти трусы с немецко-еврейскими фамилиями?

— И это не исключено, — медленно проговорил Бэрн. — Я не могу сказать с уверенностью, в какой мере моя позиция обусловлена пропагандой, которой я наслушался. Мне-то, конечно, кажется, что это мое глубочайшее убеждение, что другой дороги у меня просто нет.

У Эмори упало сердце.

— Но ты подумай, какая это дешевка. Никто ведь не подвергнет тебя гонениям за твой пацифизм, он всего-то втянет тебя в компанию самых худших...

— Едва ли, — перебил Бэрн.

— Ну, а на мой взгляд, все это сильно отдаст нью-йоркской богемой.

— Я тебя понимаю, поэтому я еще и не решил, заняться ли мне агитацией.

— Неужели тебя прельщает в одиночку говорить с людьми, которые не захотят тебя слушать, — и это с твоими-то данными!

— Так, вероятно, рассуждал много лет назад великомученик Стефан. Но он стал проповедовать, и его убили. Умирая, он, возможно, подумал, что зря старался. Но, понимаешь, мне-то всегда казалось, что смерть Стефана — это то самое, что вспомнилось Павлу на пути в Дамаск и заставило его идти проповедовать учение Христа по всему миру.

— Ну, дальше.

— А дальше — все. Это мой личный долг. Даже если сейчас я просто пешка, просто жертва чьих-то козней. Боже ты мой, Эмори, неужели ты думаешь, что я люблю немцев?

— Ну, больше мне сказать нечего — я исчерпал свои доводы насчет непротивления, и передо мной стоит только исполинский призрак человека, такого, какой он есть и каким всегда будет. И этому призраку одинаково импонирует логическая необходимость Толстого и логическая необходимость Ницше... — Эмори осекся. — Ты когда уезжаешь?

— На будущей неделе.

— Значит, еще увидимся.

Они разошлись, и Эмори подумал, что очень похожее выражение было на лице Керри, когда они прощались под аркой Блера два года назад. Он с грустным недоумением спросил себя, почему сам он не способен на такие же элементарно честные поступки, как эти двое.

— Бэрн — фанатик, — сказал он Тому, — и он неправ, и я сильно подозреваю, что он — слепое орудие в руках анархистов-издателей и агитаторов на жалованье у немцев, — но я все время о нем думаю — как он мог вот так поставить крест на всем, для чего стоит жить...

Бэрн уехал неделю спустя, как-то трагически-незаметно. Он распродал все свое имущество и зашел проститься, ведя за руль обшарпанный старый велосипед, на котором решил добираться до родного дома в Пенсильвании.

— Петр-отшельник прощается с кардиналом Ришелье, — изрек Алек, который сидел развалясь у окна, пока Бэрн и Эмори пожимали друг другу руки.

Но Эмори было не до шуток, и, глядя вслед Бэрну, крутящему своими длинными ногами

педали нелепого велосипеда, он знал, что ему предстоит очень тоскливая неделя. В вопросе о войне у него сомнений не было, Германия по-прежнему олицетворяла в его глазах все, против чего возмущалась его душа, — грубый материализм и полный произвол власти, — но лицо Бэрна не забывалось, и ему претили истерические выкрики, звучавшие вокруг.

— Какой смысл в том, что все вдруг обрушились на Гете? — взывал он к Алеку и Тому. — К чему писать книги, доказывающие, что это он развязал войну или что недалекий, перехваленный Шиллер — сатана в человеческом образе?

— Ты что-нибудь их читал? — лукаво спросил Том.

— Нет, — честно признался Эмори. — И я нет, — рассмеялся Том.

— Пусть их кричат, — спокойно сказал Алек. — А Гете все равно стоит на своей полке в библиотеке, чтобы всякий, кому вздумается, мог над ним поскучать.

Эмори промолчал, и разговор перешел на другое.

— Ты в какие части пойдешь, Эмори?

— Пехота или авиация — никак не решу. Технику я терпеть не могу, но авиация для меня, конечно, самое подходящее.

— Вот и я так же думаю, — сказал Том. — Пехота или авиация. Авиация, конечно, — это вроде бы романтическая сторона войны, то, чем в прежние времена была кавалерия; но я, как и Эмори, не отличу поршня от лошадиной силы.

Эмори сознавал, что ему недостает патриотического пыла, и недовольство собой вылилось в попытку возложить ответственность за войну на предыдущее поколение... на тех, кто прославлял Германию в 1870 году, на воинствующих материалистов, на восхвалителей немецкой науки и деловитости. И вот однажды он сидел на лекции по английской литературе, слушал, как лектор цитирует «Локсли Холл», и с мрачным презрением судил Теннисона и все, что тот собой олицетворял, — потому что считал его викторианцем.

Господа викторианцы, чужды вам и скорбь, и гнев,
Ваши дети пожинают ваш безрадостный посев,

— записал Эмори в своем блокноте. Лектор что-то сказал о цельности Теннисона, и пятьдесят студенческих голов склонились над тетрадами. Эмори перевернул страницу и опять стал писать:

Вы дрожали, узнавая то, что Дарвин возвестил,
И когда убрался Ньюмен, и в обычай вальс входил...

Впрочем, вальс появился намного раньше... Эту строку он вычеркнул.

— ...и озаглавленное «Песня времен порядка!», — донесся откуда-то издали тягучий голос профессора. «Времен порядка!» Боже ты мой! Все запихнуто в ящик, а викторианцы усадились на крышку и безмятежно улыбаются... И Браунинг на своей вилле в Италии бодро восклицает: «Все к лучшему!» Эмори опять стал писать:

Вы колена в божьем храме преклоняли то и знай,
Восхваляли за «доходы», упрекали за Китай.

Почему у него никогда не получается больше одного двестишестизарез? Теперь ему нужна рифма к строке:

Бог спивался, ни пытались вы научно подтвердить...

Ну ладно, пока пропустим.

И полвека жил в Европе всяк из вас, ханжа и сноб,
И считал, что все в порядке, и сходил прилично в гроб.

— К этому в общих чертах сводятся идеи Теннисона, — гудел голос профессора. — Он вполне мог бы озаглавить свое стихотворение, как Суинберн, «Песня времен порядка». Он воспевал порядок в противовес хаосу, в противовес бесплодному растрачиванию сил. Вот оно, почувствовал Эмори. Он снова перевернул страницу и те двадцать минут, что еще оставались до конца лекции, писал, уже не отрываясь. Потом подошел к кафедре и положил на нее вырванный из тетради листок.

— Это стихи, посвященные викторианцам, сэр, — сказал он сухо.

Профессор с интересом потянулся к листку, Эмори же тем временем быстро вышел из аудитории.

Вот что он написал:

Песни времен порядка —
Вот наследье ваших времен.
Аргументы без заключенья,
В рифмах — на жизнь ответ,
Ключ блюстителей заточенья,
Колокольный старый трезвон...
Завершилась с годами загадка,
А мы — завершение лет.

Нам — море в разумных пределах,
Крыша неба над низким жильем,
Не для дуэли перчатка,
Пушки, чтоб нас стерегли,
Сотни чувств устарелых
С пошлостью о любви,
Песни времен порядка
И язык, чтобы петь мы могли.

МНОГОЕ КОНЧИЛОСЬ

Апрель промелькнул, как в тумане — в туманной дымке долгих вечеров на веранде клуба, когда в колоннадах граммофон пел «Бедняжка Баттерфляй», любимую песенку минувшего года. Война словно бы и не коснулась их, так могла бы протекать любая весна на старшем курсе, если не считать проводившейся через день военной подготовки, однако Эмори остро ощущал, что это последняя весна старого порядка.

— Это массовый протест против сверхчеловека, — сказал Эмори.

— Наверно, — согласился Алек.

— Сверхчеловек несовместим ни с какой утопией. Пока он существует, покоя не жди, он

пробуждает худшие инстинкты у толпы, которая слушает его речи и поддается их влиянию.

— А сам он всего-навсего одаренный человек без моральных критериев.

— Вот именно. Мне кажется, опасность тут вот в чем: раз все это уже бывало в прошлом, когда оно повторится снова? Через полвека после Ватерлоо Наполеон стал для английских школьников таким же героем, как Веллингтон. Почему знать, может быть, наши внуки будут вот так же возносить на пьедестал Гинденбурга.

— А почему так получается?

— Виновато время, черт его дери, и те, кто пишет историю. Если бы нам только научиться распознавать зло как таковое, независимо от того, рядится ли оно в грязь, в скуку или в пышность...

— О черт, мы, по-моему, только и делали эти четыре года, что крушили все на свете.

А потом настал их последний вечер в Принстоне. Том и Эмори, которым наутро предстояло разъехаться в разные учебные лагеря, привычно бродили по тенистым улочкам и словно все еще видели вокруг знакомые лица.

— Сегодня из-за каждого дерева смотрят призраки.

— Их тут везде полным-полно. Они постояли у колледжа Литтл, посмотрели, как восходит луна и серебрится в ее сиянии шиферная крыша соседнего здания, а деревья из черных становятся синими.

— Ты знаешь, — шепотом сказал Том, — ведь то, что мы сейчас испытываем, это чувства всей замечательной молодежи, которая прошумела здесь за двести лет.

От арки Блера донеслись последние звуки какой-то песни — печальные голоса перед долгой разлукой.

— И то, что мы здесь оставляем, это нечто большее, чем наши товарищи, это наследие молодости. Мы — всего лишь одно поколение, мы разрываем все звенья, которые словно бы связывали нас с поколением, носившим ботфорты и шейные платки. В эти темно-синие ночи мы ведь бродили здесь рука об руку с Бэрром и с Генри Ли... 14 Да, именно темно-синие, — отвлекся он. — Всякое яркое пятно испортило бы их, как ненужная экзотика. Шпили на фоне неба, сулящего рассвет, и синее сияние на шиферных крышах... грустно это... очень.

— Прощай, Аарон Бэрр! — крикнул Эмори, повернувшись к опустевшему Нассау-Холлу. — Нам с тобой случалось заглядывать в причудливые закоулки жизни.

Голос его отозвался эхом в тишине.

— Факелы погасли, — прошептал Том. — О Мессалина, длинные тени минаретами прочертили арену цирка...

На минуту вокруг них зазвучали голоса их первого курса, и они посмотрели друг на друга влажными от слез глазами.

— К черту!

— К черту!

Скользит последний луч. Ласкает он ряд шпилей, солнцем только что залитый, и духи вечера, тоской повиты, запели жалобно под лирный звон в сени дерев, что служат им защитой. Скользит по башням бледный огонек... Сон, грезы нам дарующий, возьми ты, возьми на память лотоса цветок и выжми из него мгновений этих сок.

Средь звезд и шпилей, в замкнутой долине, нам снова лунный лик не просквозит. Зарю желаний время обратит в сиянье дня, не жгущее отныне. Здесь в пламени нашел ты, Гераклит, тобой дарованные предвещанья, и ныне в полночь страсть моя узрит отброшенные тенью средь пыланья великолепии и горечь мирозданья.

Интерлюдия: МАЙ 1917 — ФЕВРАЛЬ 1919

Письмо, помеченное «январь 1918», от монсеньера Дарси Эмори Блейну, младшему лейтенанту 171-го пехотного полка, порт погрузки — лагерь Миллз, Лонг-Айленд.

«Дорогой мой мальчик!

Мне нужно знать о тебе одно: что ты жив; для остального мне довольно поворошить свою беспокойную память — градусник, показывающий только подскоки температуры, — и вспомнить, чем я сам был в твоём возрасте. Но людям свойственно болтать языком, и мы с тобой будем по-прежнему перекрикиваться через всю сцену, пока последний занавес не упадет прямо нам на головы. Но ты включил свой подрагивающий волшебный фонарь жизни с тем же примерно набором картинок, какой был у меня, так что мне просто необходимо написать тебе, хотя бы только для того, чтобы возопить о беспредельной человеческой глупости...

Один этап закончен: что бы с тобой ни случилось, ты никогда уже не будешь тем Эмори Блейном, которого я знал, никогда уже мы не встретимся так, как встречались, потому что твоё поколение становится суровым и жестким, куда более суровым и жестким, чем суждено было стать моему поколению, вскормленному на легкой пище девяностых годов.

Я тут недавно перечитывал Эсхила, и в божественной иронии «Агамемнона» я нахожу единственную разгадку нашего жестокого века, когда рушится весь мир и ближайшую аналогию можно сыскать только в безнадежной резиньяции древних. Порой я думаю о наших солдатах во Франции как о римских легионерах, посланных за тридевять земель от своего развратного города сдерживать натиск варварских орд... а орды-то несут опасность посерьезнее, чем этот развратный город... еще один удар вслепую по всему человечеству, фурии, которых мы много лет назад вознесли на пьедестал, над чьими трупами мы победно блеяли с начала до конца викторианской эры...

А останется от всего этого мир, насквозь пропитанный материализмом, и — католическая церковь. Я все думаю, как ты найдешь в нем свое место. В одном я уверен: кельтом ты проживешь свою жизнь и кельтом умрешь; так что если ты не используешь небо как неизменное мерило для своих идей, земля будет столь же неизменно опрокидывать твои честолюбивые замыслы.

Эмори, я как-то неожиданно понял, что я старик. Как у всех стариков, у меня были свои фантазии, и я тебе о них расскажу. Я тешил себя выдумкой, что ты мой сын, что, может быть, в молодости я однажды впал в бессознательное состояние и зачал тебя, а когда сознание вернулось, — я об этом не помнил... Это инстинкт отцовства, Эмори, ведь безбрачие касается не только плоти, оно глубже...

Иногда мне думается, что мы с тобой потому так похожи, что у нас был общий предок, и я установил, что единственная кровь, общая для семейств Дарси и О'Хара — это кровь О'Донагю... кажется, его звали Стивен...

Когда молния ударяет в одного из нас, она ударяет в обоих: стоило тебе отбыть в порт отправления, как я получил бумаги для поездки в Рим и теперь с минуты на минуту жду указаний, где мне сесть на пароход. Еще до того, как ты получишь это письмо, я буду в пути, а потом настанет и твой черед. Ты пошел на войну, как подобает джентльмену, так же, как пошел в школу и в университет, — потому что так было нужно. Похвальбу и геройские позы вполне медлю оставить на долю средних классов, у них это получается гораздо лучше.

Помнишь ли ты те дни в марте прошлого года, когда ты привозил ко мне из Принстона Бэрна Холидэя? Какой это чудесный юноша! Позже, когда ты мне написал, что я, по его мнению, молодец, меня это просто сразило.

Как мог он так обмануться? Вот уж чего нельзя сказать ни про тебя, ни про меня. Допускаю, что мы с тобой незаурядные, умные, можно даже, пожалуй, сказать — блестящие. Мы способны привлекать к себе людей, создавать атмосферу, — способны почти до конца растворить свои кельтские души в кельтских неуловимостях, почти всегда можем настоять на своем. Но молодцы? Нет, это не о нас.

В Рим я еду с интереснейшим досье и с рекомендательными письмами во все столицы Европы, и когда я там появлюсь, это «произведет впечатление». Эх, если бы я мог взять тебя с собой! Последние строки звучат, пожалуй, несерьезно, не с такими бы словами пожилому священнику обращаться к юноше, уезжающему на войну; единственное мое оправдание в том, что пожилой священник, в сущности, разговаривает с самим собой. Много у нас с тобой скрыто очень глубоко, и ты не хуже меня знаешь, что именно. У нас обоих есть глубокая вера,

хотя у тебя она еще не осознанная; и непомерная честность, которую не уничтожить никакой нашей софистике, и, главное — детская простота души, уберегающая нас от подлинной злобы.

Я написал для тебя ирландский «плач», который и прилагаю. Жаль, что твои «ланиты» не соответствуют описанию их, которое ты там найдешь, вольно ж тебе ночи напролет курить и читать.

Итак, вот мое творение.

ПЛАЧ ПО НАЗВАННОМУ СЫНУ, УХОДЯЩЕМУ НА ВОЙНУ ПРОТИВ ЧУЖЕЗЕМНОГО КОРОЛЯ

Ochone

Он ушел от меня сын души моей

В пору золотого расцвета как Энгус Ог Энгус сияющих птиц

А разум его могуч и тонок подобно разуму Кухулина на Мюиртимае.

Awirra sthrue

Чело его бело как молоко коров из стада королевы Мэйв

Ланиты его алы как вишни с того древа Что склонилось дабы Мария угостила сына божия.

Aveelia Vrone

Кудри его подобны золотому оплечью королей Тары

Очи его подобны четырем серым морям Эрина Затуманенным дождем.

Mavrone go Gudyo

Он ринется в веселую багряную битву

Среди вождей свершающих великие подвиги И жизнь его уйдет от него

И ослабнут струны моего сердца.

A Vich Deelish

Мое сердце это сердце моего сына

И конечно моя жизнь это его жизнь Можно второй раз быть молодым

Только в сыновьях.

Jia du Vaha Alanav

Да будет сын божий над ним и под ним впереди него и сзади него

Да затуманит взор чужеземному королю властитель стихий

Да проведет его владычица милосердия за руку сквозь гущу его супостатов так что они не увидят его

Да оградят его надежнее щита Патрик Гэльский и Колумб Церковный и пять тысяч святых Эрина

Когда он ринется в битву.

Och ochone.

Эмори, Эмори, почему-то я чувствую, что это конец. Один из нас (а может быть, и оба) не переживет эту войну... Я все пытаюсь дать тебе понять, как много значило для меня последние несколько лет это перевоплощение в тебя... поразительно мы с тобой одинаковые... поразительно разные...

Прощай, мой мальчик, да хранит тебя бог.

Тэйер Дарси».

НОЧНАЯ ПОГРУЗКА

Эмори продвигался по палубе, к носу, пока не нашел табуретку под электрической лампой. Порывшись в карманах, он достал блокнот и карандаш и стал писать, медленно и старательно:

Пора нам в путь...
Мы молча шли по улице пустой,
Где смолк нестройный гам,
И страшен был наш серый, зыбкий строй
Мятущимся теням,
И откликался эхом порт ночной
Размеренным шагам.

Вот палуба...
А ветер все смирней.
Уходит призрак-брег —
Там жалкие обломки сотен дней...
Оплачем ли мы бег
Бесплодных лет?
Как пенна моря муть!
А тучи раздались, и небосвод
Небес огни стремятся захлестнуть,
И за кормою клочкотанье вод
Нам всеобъемлющий ноктюрн поет
...Пора нам в путь.

Письмо от Эмори, помеченное «Брест, 11 марта 1919г. — лейтенанту Т. П. Д'Инвильерсу, лагерь Гордон, Джорджия»

«Дорогой Бодлер!

Встречаемся в Манхэттене 30-го самого что ни на есть сего месяца, затем подыскиваем себе шикарную квартиру — ты, я и Алек, который в данную минуту находится рядом со мной. Я еще не знаю, чем займусь, но смутно мечтаю посвятить себя политике. Почему это в Англии избранная молодежь из Оксфорда и Кембриджа идет в политику, а мы в США доверяем ее всякому сброду, людям, возвращенным на уличных митингах, воспитанным мелкими политиканами, и посланным в Конгресс толстопузым продажным мошенникам, не имеющим „ни идей, ни идеалов“, как мы, бывало, выражались на диспутах. Еще сорок лет назад у нас были среди политиков хорошие люди, но нас, нас-то для того воспитали, чтобы мы умели нажить миллион и „показать, из какого мы теста“. Иногда я жалею, что я не англичанин, американская жизнь кажется мне до того глупой, бессмысленной и гигиеничной, — что хоть на крик кричи.

Теперь, после смерти бедной Беатрисы, у меня будет немного денег — увы, очень, очень немного. Я могу простить матери почти все, не могу простить одного: незадолго до смерти, в припадке религиозности, она завещала половину того, что у нее еще оставалось, на церковные витражи и стипендии в духовных семинариях. Мистер Бартон, мой поверенный, пишет, что мои тысячи вложены главным образом в акции трамвайных компаний, а оные компании терпят убытки, потому что цена за проезд всего пять центов. Представляешь себе платежную ведомость, по которой неграмотному человеку платят 350 долл. в месяц?! И все же я в это верю, хотя и видел своими глазами, как состояние, некогда весьма приличное растаяло в результате спекуляций, транжирства, демократического законодательства и подоходных налогов, — да, малютка, я человек современный.

Как бы там ни было, квартира у нас будет первый сорт. Ты можешь получить работу в каком-нибудь журнале мод, Алек может поступить в ту Цинковую компанию, или чем там

владеют его родители, — он читает через мое плечо и говорит, что компания медная, но, по-моему, это на имеет значения, а ты как считаешь? Нажиты деньги на цинке или на меди — один черт, коррупция, надо думать, везде одинаковая. Что касается широко известного Эмори, он бы стал писать бессмертные литературные произведения, будь он хоть в чем-нибудь достаточно уверен для того, чтобы сообщить об этом публике. А искусно сформулированная банальщина — это самый опасный дар потомству.

Том, почему бы тебе не принять католичество? Конечно, чтобы стать хорошим католиком, тебе пришлось бы отказаться от бурных романов, в которые ты меня когда-то посвящал, но стихам твоим пошло бы на пользу, если бы в них появились высокие золотые подсвечники и долгие песнопения, и, хотя американское духовенство весьма буржуазно, как любила говорить Беатриса, ты мог бы посещать только церкви самого высокого полета, и я познакомил бы тебя с монсеньером Дарси, он-то не человек, а чудо.

Смерть Керри я пережил очень тяжело и смерть Джесси тоже, но не настолько. И мне очень, очень хотелось бы узнать, в каких несусветных потемках затерялся Бэрн. Как ты думаешь, может быть, он сидит в тюрьме под вымышленным именем? Покаюсь тебе, война не сделала меня правоверным, что было бы законной реакцией, а, наоборот, превратила в рьяного агностика. Католической церкви за последнее время так часто подрезали крылья, что в войне она играла робкую, почти незаметную роль, и хороших писателей у католиков не осталось. Честертоном я сыт по горло.

Мне попался всего один солдат, который пережил столь широко разрекламированное духовное обновление наподобие этого Доналда Хэнки, к тому же тот, которого я знал, еще до войны готовился принять сан, так что он уже и для духовного обновления созрел. Честно говоря, по-моему, все это чушь, хотя для тех, кто оставался дома, это, видимо, послужило своего рода сентиментальным утешением и, возможно, заставит многих родителей оценить по достоинству своих детей. Этакая религиозность под влиянием катастрофы никакой ценности не представляет и в лучшем случае недолговечна. Думаю, что на каждого солдата, открывшего для себя бога, приходится четыре, которые открыли Париж.

Но мы — ты, я и Алек — мы заведем, черт возьми, слугу японца и будем переодеваться к обеду, и пить вино, и вести бесстрастную созерцательную жизнь. Ох, лишь бы хоть что-нибудь случилось! Я себе места не нахожу от тревоги и безумно боюсь растолстеть или влюбиться и стать семьянином.

Поместье в Лейк-Джинева будет сдано в аренду.

Сразу, как вернусь, съезжу на Запад, повидаясь с мистером Бартоном и узнаю от него все подробности. Пиши мне на отель “Блекстон” в Чикаго.

Засим остаюсь, дорогой Босуэлл,
Сэмюел Джонсон».

Книга вторая: ВОСПИТАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Глава I: ЕЕ ПЕРВЫЙ БАЛ

Время действия — февраль. Место действия — большая нарядная спальня в особняке Коннеджей на Шестьдесят восьмой улице в Нью-Йорке. Комната явно девичья: розовые стены и занавески, розовое покрывало на кремовой кровати. Вся комната выдержана в розовых и кремовых тонах, но из обстановки прежде всего бросается в глаза роскошный туалетный стол со стеклянной крышкой и трехстворчатым зеркалом. На стенах — дорогая гравюра с картины «Спелые вишни», несколько вежливых собачек Лендсира и «Король Черных островов» Максфилда Пэрриша 15 .

Страшный беспорядок, а именно: 1) семь-восемь пустых картонок, из пасти которых свисают, пытая, языки папиросной бумаги; 2) гора уличных костюмов вперемешку с вечерними платьями — все лежат на столе, все, несомненно, новые; 3) рулон тюля,

потерявший всякое самоуважение и раболепно обвившийся вокруг всевозможных предметов; 4) на двух изящных стульчиках — стопки белья, не поддающегося подробному описанию. Возникает желание узнать, в какую сумму обошлось все это великолепие, и еще большее желание увидеть принцессу, для которой... Вот! Кто-то входит. Какое разочарование! Это всего лишь горничная, она что-то ищет. Под одной кучкой белья — нет. Под другой, на туалете, в ящиках шифоньерки. Мелькает несколько очень красивых ночных рубашек и сногшибательная пижама, но это не то, что ей нужно. Уходит.

Из соседней комнаты слышна неразборчивая воркотня. Теплее. Это мать Алека, миссис Коннедж, пышная, важная, нарумяненная и вконец замученная. Губы ее выразительно шевелятся, она тоже принимается искать. Ищет не так старательно, как горничная, но зато яростнее. Спотыкается о размотавшийся тюль и отчетливо произносит: «О черт». Удаляется с пустыми руками. Опять разговор за сценой, и девичий голос, очень избалованный голос, произносит: «В жизни не видела таких безмозглых...» Входит третья искательница — не та, что с избалованным голосом, а другое издание, помоложе. Это Сесилия Коннедж, шестнадцати лет, хорошенькая, смышленная и от природы незлобивая. Она уже одета для вечера, и нарочитая простота ее платья, вероятно, ей не по душе. Подходит к ближайшей стопке белья, выдергивает из нее что-то маленькое, розовое и любуется, держа на вытянутой руке.

Сесилия. Розовый?

Розалинда (за сценой). Да.

Сесилия. Очень модный?

Розалинда. Да.

Сесилия. Нашла! (Бросает на себя взгляд в зеркало и от радости начинает танцевать шимми.)

Розалинда (за сценой). Что ты там делаешь? На себя примеряешь?

Сесилия, перестав танцевать, выходит, унося добычу на правом плече. Из другой двери входит Алек Коннедж. Быстро оглядевшись, зовет зычным голосом: «Мама!» В соседней комнате хор протестующих голосов, он делает шаг в ту сторону, но останавливается, потому что голоса протестуют громче прежнего.

Алек. Так вот где вы все попрятались! Эмори Блейн приехал.

Сесилия (живо). Уведи его вниз.

Алек. А он и есть внизу.

Миссис Коннедж. Так покажи ему, где расположиться. Передай, что я очень жалею, но сейчас не могу к нему выйти.

Алек. Он и так обо всех вас все знает. Вы там поскорее. Папа просвещает его относительно войны, и он уже грызет удила. Он, знаете ли, очень темпераментный.

Последние слова заинтересовали Сесилию, она входит.

Сесилия (усаживается прямо на кучки белья). В каком смысле темпераментный? Ты и в письмах так о нем отзывался.

Алек. Ну, пишет всякие произведения.

Сесилия. А на рояле играет?

Алек. Кажется, нет.

Сесилия (задумчиво). Пьет?

Алек. Да. Он не сумасшедший.

Сесилия. Богат?

Алек. О господи, это ты спроси у него. Семья была богатая, и сейчас какой-то доход у него есть.

Появляется миссис Коннедж.

Миссис Коннедж. Алек, мы, конечно, очень рады принять любого твоего товарища...

Алек. С Эмори-то, во всяком случае, стоит познакомиться.

Миссис Коннедж. Конечно, с удовольствием. Но мне кажется, это чистое ребячество с твоей стороны — когда можно жить с семьей, в хорошо поставленном доме, поселиться с двумя другими молодыми людьми в какой-то немыслимой квартире. Надеюсь, вы придумали это не

для того, чтобы пить без всяких ограничений. (Пауза.) Сегодня мне, правда, не до него. Эта неделя посвящена Розалинде. Когда у девушки первый большой бал, ей следует уделять внимание в первую очередь.

Розалинда (за сценой) . Ты докажи это. Пойди сюда и застегни мне крючки.

Миссис Коннедж уходит.

Алек . Розалинда ничуть не изменилась.

Сесилия (понизив голос) . Она ужасающе избалована.

Алек . Ну, сегодня ей найдется кто-то под пару.

Сесилия . Мистер Эмори Блейн?

Алек кивает.

Пока что Розалинду еще никто не перещеголял. Честное слово, Алек, она просто жутко обращается с мужчинами. Ругает их, подводит, не является на свидания и зевает им прямо в лицо — а они возвращаются и просят добавки.

Алек . Им только того и надо.

Сесилия . Ничего подобного. Она... она, по-моему, вроде вампира, и от девушек она тоже обычно добивается всего, что ей нужно, только девушек она терпеть не может.

Алек . Сильная личность — это у нас семейное.

Сесилия (смирненно) . На меня этой силы, наверно, не хватило.

Алек . А ведет она себя прилично?

Сесилия . Да не очень. А в общем — ничего особенного, как все. Курит понемножку, пьет пунш, часто целуется... да, да, это все знают, это, понимаешь, одно из последствий войны.

Входит миссис Коннедж .

Миссис Коннедж . Розалинда почти готова, теперь я могу сойти вниз и познакомиться с твоим товарищем.

Мать и сын уходят.

Розалинда (за сценой) . Ах да, мама...

Сесилия . Мама пошла вниз.

И вот входит Розалинда . Розалинда до кончиков ногтей. Это одна из тех девушек, которым не требуется ни малейших усилий для того, чтобы мужчины в них влюблялись. Участи этой обычно избегают два типа мужчин: недалеких мужчин страшит ее живой ум, а мужчин интеллектуального склада страшит ее красота. Все остальные — ее рабы по праву сильнейшего.

Если бы Розалинду можно было избаловать, этот процесс был бы уже завершен; и в самом деле, характер у нее не идеальный; если уж ей чего-нибудь хочется, так вынь да положь, и, когда ее желание оказывается невыполнимым, она умеет отравить существование всем окружающим. Но баловство не вконец ее испортило. Способность радоваться, желание расти и учиться, беспредельная вера в неисчерпаемость романтики, мужество и честность по большому счету — все это осталось при ней.

Бывает, что она подолгу ненавидит все свое семейство. Твердых принципов у нее не имеется, жизненная философия сводится к *carpe diem* 16 для себя и *Laissez-faire* 17 для других. Она обожает нецензурные анекдоты: в ней нет-нет да проявляется грубоватость, свойственная широким натурам. Она хочет нравиться, но осуждение ничуть ее не заботит и никак не влияет на нее.

Примерной ее не назовешь.

Образование для красивой женщины — это умение разбираться в мужчинах. Один мужчина за другим не оправдывал ее ожиданий, но в мужчин вообще она верила свято. Зато женщин терпеть не могла. Они воплощали те свойства, которые она чувствовала и презирала в себе, — потенциальную подлость, самомнение, трусость и нечестность по мелочам. Однажды она объявила целой группе дам, сидевших в гостях у ее матери, что женщин можно терпеть только потому, что они вносят в среду мужчин необходимый элемент легкого волнения. Танцевала она восхитительно, рисовала мило, но небрежно и обладала редкостной легкостью слога, которую использовала только в любовных письмах.

Но перед красотой Розалинды всякая критика умолкает. Роскошные волосы того особого

желтого опенка, на подражании которому богатеет наша красильная промышленность. Просящий поцелуев рот, небольшой, немного чувственный, бесконечно волнующий. Серые глаза и безупречной белизны кожа, на которой вспыхивает и гаснет нежный румянец. Была она тоненькая, гибкая, но крепкая, с хорошо развитой фигурой, и чистым наслаждением было смотреть, как она движется по комнате, идет по улице, замахивается клюшкой для гольфа, а то и пройдет на колесе.

И последняя поправка — ее живость, непосредственность была свободна от того налета лицедейства, который Эмори усмотрел в Изабелле. Монсеньер Дарси сильно затруднился бы, как ее назвать — индивидуумом или личностью. Возможно, она была бесценным, раз в сто лет встречающимся сплавом того и другого. Сегодня, в день своего первого большого бала, она, несмотря на свою умудренность, всего-навсего счастливая девочка. Горничная матери только что причесала ее, но она тут же решила, что сама сумеет причесаться гораздо лучше. От волнения она не может ни минуты посидеть на месте. Поэтому мы и увидели ее в этой неприбранной комнате. Сейчас она заговорит. Низкие модуляции Изабеллы напоминали скрипку, но доведись вам услышать голос Розалинды, вы бы сказали, что он мелодичен, как водопад.

Розалинда . Честное слово, я только в двух нарядах чувствую себя хорошо — в кринолине и в купальном костюме. В том и другом я выгляжу очаровательно.

Сесилия . Рада, что выплываешь в свет?

Розалинда . Очень, а ты?

Сесилия (безжалостно) . Ты рада, потому что сможешь теперь выйти замуж и жить на Лонг-Айленде среди «наших молодых супружеских пар современного типа». Ты хочешь, чтобы жизнь у тебя была цепочкой флиртов — что ни звено, то новый мужчина.

Розалинда . «Хочу»! Ты лучше скажи, что так оно и есть, и я в этом давно убедилась.

Сесилия . Уж будто!

Розалинда . Сесилия, крошка, тебе не понять, до чего это тяжело быть... такой, как я. На улице я должна сохранять каменное лицо, чтобы мужчины мне не подмигивали. В театре, если я рассмеюсь, комик потом весь вечер играет только для меня. Если на танцах я скажу что-то шепотом, или опущу глаза, или уроню платок, мой кавалер потом целую неделю изо дня в день звонит мне по телефону.

Сесилия . Да, это, должно быть, утомительно.

Розалинда . И, как назло, единственные мужчины, которые меня хоть сколько-нибудь интересуют, абсолютно не годятся для брака. Будь я бедна, я пошла бы на сцену.

Сесилия . Правильно. Ты и так все время играешь, так пусть бы хоть деньги платили.

Розалинда . Иногда, когда я бываю особенно неотразима, мне приходит в голову — к чему растрчивать все это на одного мужчину?

Сесилия . А я, когда ты бываешь особенно не в духе, часто думаю, к чему растрчивать все это на одну семью? (Встает.) Пойду, пожалуй, вниз, познакомлюсь с мистером Эмори Блейном. Люблю темпераментных мужчин.

Розалинда . Таких нет в природе. Мужчины не умеют ни сердиться, ни наслаждаться по-настоящему, а те, что умеют, тех хватает ненадолго.

Сесилия . У меня-то, к счастью, твоих забот нет. Я помолвлена.

Розалинда (с презрительной улыбкой) . Помолвлена? Ах ты, глупышка! Если бы мама такое услышала, она бы отправила тебя в закрытую школу, где тебе и место.

Сесилия . Но ты ей не расскажешь, потому что я тоже могла бы кое-что рассказать, а это тебе не понравится, тебе твое спокойствие дороже.

Розалинда (с легкой досадой) . Ну, беги, малышка. А с кем это ты помолвлена? С тем молодым человеком, который развозит лед, или с тем, что держит кондитерскую лавочку?

Сесилия . Дешевое остроумие! Счастливо оставаться, дорогая, мы еще увидимся.

Розалинда . Надеюсь, ведь ты моя единственная опора.

Сесилия уходит. Розалинда, закончив прическу, встает, напевая. Потом начинает танцевать перед зеркалом, на мягком ковре. Она смотрит не на свои ноги, а на глаза, смотрит внимательно, даже когда улыбается. Внезапно дверь отворяется рывком и снова

захлопывается. Вошел Эмори, как всегда очень спокойный и красивый. Секунда замешательства.

Он . Ох, простите! Я думал...

Он а (с лучезарной улыбкой) . Вы — Эмори Блейн?

Он (рассматривая ее) . А вы — Розалинда?

Она . Я буду называть вас Эмори. Да вы входите, не бойтесь, мама сейчас придет... (едва слышно) к сожалению.

Он (оглядываясь по сторонам) . Это для меня что-то новое.

Она . Это — «ничья земля».

Он . Это здесь вы... (Пауза.)

Она . Да, тут все мое. (Подходит к туалетному столу.) Вот видите — мои румяна, мой карандаш для бровей.

Он . Я не думал, что вы такая.

Она . А чего вы ждали?

Он . Я думал, вы... ну, как бы бесполое — играете в гольф, плаваете...

Она . А я этим и занимаюсь, только не в приемные часы.

Он . Приемные часы?

Она . От шести вечера до двух ночи. Ни минутой дольше.

Он . Я не прочь войти пайщиком в эту корпорацию.

Она . А это не корпорация — просто «Розалинда, компания с неограниченной ответственностью». Пятьдесят один процент акций, имя, стоимость фирмы и все прочее оценивается в двадцать пять тысяч годового дохода.

Он (неодобрительно) . Холодноватое, я бы сказал, начинание.

Она . Но вам от этого ни холодно ни жарко, Эмори, верно? Когда я встречу человека, который за две недели не надоест мне до смерти, кое-что, возможно, изменится.

Он . Забавно, вы держитесь такой же точки зрения на мужчин, как я — на женщин.

Она . Я-то, понимаете, не типичная женщина... по складу ума.

Он (заинтригован) . Продолжайте.

Она . Нет, лучше вы — вы продолжайте. Вы заставили меня заговорить о себе. А это против правил.

Он . Правил?

Она . Моих правил. Но вы... Ах, Эмори, я слышала, что вы — блестящий человек. Мои родные так много от вас ждут.

Он . Это вдохновляет!

Она . Алек говорит, что вы научили его думать. Это правда? Мне казалось, что на это никто не способен.

Он . Нет. На самом деле я очень заурядный. (Явно с расчетом, что это не будет принято всерьез.)

Она . Не верю.

Он . Я... я религиозен... я причастен к литературе, я... даже пишу стихи.

Она . Вольным стихом? Прелестно! (Декламирует.)

Деревья зеленые,

На деревьях поют птицы,

Девушка маленькими глотками пьет яд,

Птица улетает, девушка умирает.

Он (смеется) . Нет, не такие.

Она (неожиданно) . Вы мне нравитесь.

Он . Не надо.

Она . И такая скромность...

Он . Я вас боюсь. Я любой девушки боюсь — пока не поцелую ее.

Она (назидательно) . Сейчас не военное время.

Он . Значит, я всегда буду вас бояться.

Она (не без грусти) . Видимо, так.

Оба минуту колеблются.

Он (обдумав все «за» и «против») . Я понимаю, это чудовищная просьба...

Она (заранее зная продолжение) . После пяти минут знакомства.

Он . Но прошу вас, поцелуйте меня. Или боитесь?

Она . Я ничего не боюсь, но ваши доводы как-то не убеждают.

Он . Розалинда, я так хочу вас поцеловать.

Она . Я тоже.

Поцелуй — долгий, на совесть.

Он (переводя дух) . Ну как, удовлетворили свое любопытство?

Она . А вы?

Он . Нет, оно только-только проснулось. (Видно, что он не лжет.)

Она (мечтательно) . Я целовалась с десятками мужчин. Впереди, скорее всего, еще десятки.

Он (рассеянно) . Да, это вы могли.

Она . Почти всем нравится со мной целоваться.

Он (спохватившись) . Господи, а как же иначе! Поцелуйте меня еще, Розалинда!

Она . Нет, мое любопытство обычно удовлетворяется с первого раза.

Он (обескуражен) . Это правило?

Она . Я создаю правила для каждого случая.

Он . У нас с вами есть кое-что общее — только я, конечно, намного старше и опытнее.

Она . Вам сколько лет?

Он . Скоро двадцать три. А вам?

Она . Девятнадцать — только что исполнилось.

Он . Вы, надо полагать, продукт какой-нибудь фешенебельной школы?

Она . Нет, я, можно сказать, сырой материал. Из Спенса меня исключили, за что — не помню.

Он . А вообще вы какая?

Она . Ну — яркая, эгоистка, возбудима, люблю поклонение...

Он (перебивая) . Я не хочу в вас влюбиться.

Она (вздернув брови) . А вас никто и не просил.

Он (невозмутимо продолжает) ...но, вероятно, влюблюсь. У вас чудесный рот.

Она . Чш! Ради бога, не влюбляйтесь в мой рот. Волосы, плечи, туфли — что угодно, только не рот. Все влюбляются в мой рот.

Он . Не удивительно, он очень красивый.

Она . Слишком маленький.

Он . Разве? По-моему, нет.

Снова целует ее, также на совесть.

Она (слегка взволнованная) . Скажите что-нибудь милое.

Он (испуганно) . О господи!

Она (отодвигаясь) . Ну и не надо — если это так трудно.

Он . Начнем притворяться? Уже?

Она . У нас для времени не такие мерки, как у других.

Он . Вот видите — уже появились «другие».

Она . Давайте притворяться.

Он . Нет, не могу — это сантименты.

Она . А вы не сентиментальны?

Он . Нет. Я — романтик. Человек сентиментальный воображает, что любовь может длиться, — романтик вопреки всему надеется, что конец близко. Сентиментальность — это эмоции.

Она . А вы не эмоциональны? (Опустив веки.) Вам, вероятно, кажется, что вы до этого не снисходите?

Он . Нет, я... Розалинда, Розалинда, не надо спорить. Поцелуйте меня.

Она (на этот раз совсем холодно) . Нет — не чувствую такого желания.

Он (откровенно уязвленный) . Но минуту назад вам хотелось меня целовать.
Она . А сейчас не хочется.
Он . Мне лучше уйти.
Она . Пожалуй.
Он направляется к двери.
Ах да!
Он оборачивается.
(Смеясь.) Очко. Счет — сто — ноль в пользу нашей команды.
Он делает шаг назад.
(Быстро.) Дождь, игра отменяется.
Он уходит. Она спокойно идет к шифоньерке, достает портсигар и прячет в боковом ящике письменного столика. Входит ее мать с блокнотом в руке.
Миссис Коннедж . Хорошо, что ты здесь. Я хотела поговорить с тобой, прежде чем мы сойдем вниз.
Розалинда . Боже мой! Ты меня пугаешь.
Миссис Коннедж . Розалинда, ты в последнее время обходишься нам недешево.
Розалинда (смирненно) . Да.
Миссис Коннедж . И тебе известно, что состояние твоего отца не то, что было раньше.
Розалинда (с гримаской) . Очень тебя прошу, не говори о деньгах.
Миссис Коннедж . А без них — шагу ступить нельзя. В этом доме мы доживаем последний год — и, если так пойдет дальше, у Сесилии не будет тех возможностей, какие были у тебя.
Розалинда (нетерпеливо) . Ну, так что ты хотела сказать?
Миссис Коннедж . Будь добра прислушаться к нескольким моим пожеланиям, которые я тут записала в блокноте. Во-первых, не прячься по углам с молодыми людьми. Допускаю, что иногда это удобно, но сегодня я хочу, чтобы ты была в бальной зале, где я в любую минуту могу тебя найти. Я хочу познакомить тебя с несколькими гостями, и мне не улыбается разыскивать тебя за кустами в зимнем саду, когда ты болтаешь глупости — или выслушиваешь их.
Розалинда (язвительно) . Да, «выслушиваешь» — это вернее.
Миссис Коннедж . А во-вторых, не трать столько времени попусту со студентами — мальчиками по девятнадцать — двадцать лет. Почему не побывать на университетском балу или на футбольном матче, против этого я не возражаю, но ты, вместо того чтобы ездить в гости в хорошие дома, закусываешь в дешевых кафе с первыми встречными...
Розалинда (утверждая собственный кодекс, по-своему не менее возвышенный, чем у матери) . Мама, сейчас все так делают, нельзя же равняться на девятностые годы.
Миссис Коннедж (не слушая) . Есть несколько друзей твоего отца, холостых, с которыми я хочу тебя сегодня познакомить, люди еще не старые.
Розалинда (умудренно кивает) . Лет на сорок пять?
Миссис Коннедж (резко) . Ну и что ж?
Розалинда . Да нет, ничего, они знают жизнь и напускают на себя такой обворожительно усталый вид. (Качает головой.) И притом непременно желают танцевать.
Миссис Коннедж . С мистером Блейном я еще незнакома, но едва ли он тебя заинтересует. Судя по рассказам, он не умеет наживать деньги.
Розалинда . Мама, я никогда не думаю о деньгах.
Миссис Коннедж . Тебе некогда о них думать, ты их только тратишь.
Розалинда (вздыхает) . Да, когда-нибудь я, скорее всего, выйду замуж за целый мешок с деньгами — просто от скуки.
Миссис Коннедж (заглянув в блокнот) . Я получила телеграмму из Хартфорда. Досон Райдер сегодня будет в Нью-Йорке. Вот это приятный молодой человек, и денег куры не клюют. Мне кажется, что раз Хауорд Гиллеспи тебе надоел, ты могла бы обойтись с мистером Райдером поласковее. Он за месяц уже третий раз сюда приезжает.
Розалинда . Откуда ты знаешь, что Хауорд Гиллеспи мне надоел?
Миссис Коннедж . У бедного мальчика теперь всегда такие грустные глаза.

Розалинда . Это был один из моих романтических флиртов довоенного типа. Они всегда кончаются ничем.

Миссис Коннедж (она свое сказала) . Как бы то ни было, сегодня мы хотим тобой гордиться.

Розалинда . Разве я, по-вашему, не красива?

Миссис Коннедж . Это ты и сама знаешь.

Снизу доносится стон настраиваемой скрипки, рокот барабана. Миссис Коннедж быстро поворачивается к двери.

Пошли!

Розалинда . Иди, я сейчас.

Мать уходит. Розалинда, подойдя к зеркалу, с одобрением себя рассматривает. Целует свою руку и прикасается ею к отражению своего рта в зеркале. Потом гасит лампы и выходит из комнаты. Тишина. Аккорды рояля, приглушенный стук барабана, шуршание нового шелка — все эти звуки, слившись воедино на лестнице, проникают сюда через приоткрытую дверь. В освещенном коридоре мелькают фигуры в мантии. Внизу кто-то засмеялся, кто-то подхватил, смех стал общим. Потом кто-то входит в комнату, включает свет. Это Сесилия . Подходит к шифоньерке, заглядывает в ящики, подумав, направляется к столу и достает из него портсигар, а оттуда — сигарету. Закуривает и, старательно втягивая и выпуская дым, идет к зеркалу.

Сесилия (пародируя светскую львицу) . О да, в наше время эти «первые» званые вечера — не более как фарс. Столько успеваешь повеселиться еще до семнадцати лет, что это больше похоже на конец, чем на начало. (Пожимает руку воображаемому титулованному мужчине средних лет.) Да, ваша светлость, помнится, мне говорила о вас моя сестра. Хотите закурить? Сигареты хорошие. Называются... называются «Корона». Не курите? Какая жалость! Наверно, вам король не разрешает?.. Да, пойдете танцевать. (И пускается танцевать по всей комнате под музыку, доносящуюся снизу, протянув руки к невидимому кавалеру, зажав в пальцах сигарету.)

СПУСТЯ НЕСКОЛЬКО ЧАСОВ

Маленькая гостиная на первом этаже, почти полностью занятая очень удобной кожаной тахтой. В потолке две неяркие лампы, а посередине, над тахтой, висит писанный маслом портрет очень старого, очень почтенного джентльмена, одетого по моде 1860-х годов.

За сценой звучит музыка фокстрота.

Розалинда сидит на тахте, слева от нее — Хауорд Гиллеспи , нудный молодой человек лет двадцати четырех. Он явно страдает, а ей очень скучно.

Гиллеспи (вяло) . В каком смысле я изменился? К вам я отношусь все так же.

Розалинда . А мне вы кажетесь другим.

Гиллеспи . Три недели назад вы говорили, что я вам нравлюсь, потому что я такой пресыщенный, такой равнодушный, — я и сейчас такой.

Розалинда . Только не по отношению ко мне. Раньше вы мне нравились, потому что у вас карие глаза и тонкие ноги.

Гиллеспи (беспомощно) . Они и сейчас карие и тонкие. А вы просто кокетка, вот и все.

Розалинда . Кокетки меня интересуют только те, что в модных журналах. Мужчин обычно сбивает с толку то, что я вполне естественна. Я-то думала, что вы никогда не ревнуете. А вы теперь глаз с меня не спускаете, куда бы я ни пошла.

Гиллеспи . Я вас люблю.

Розалинда (холодно) . Знаю.

Гиллеспи . И вы уже две недели не даете себя поцеловать. Мне казалось, что после того, как девушку поцелуешь, она... она завоевана.

Розалинда . Это в прежнее время так было. Меня каждый раз надо завоевывать сызнова.

Гиллеспи . Вы шутите?

Розалинда . Как всегда, не больше и не меньше. Раньше были поцелуи двух сортов: либо девушку целовали и бросали, либо целовали и объявляли о помолвке. А теперь есть новая

разновидность — не девушку, а мужчину целуют и бросают. В девяностых годах, если мистер Джонс похвалялся, что поцеловал девушку, всем было ясно, что он с ней покончил. Если тем же похваляется мистер Джонс выпуска тысяча девятьсот двадцатого года, всем понятно, что ему, значит, больше не разрешается ее целовать. В наше время девушка, стоит ей удачно начать, всегда перещеголяет мужчину.

Гиллесли . Так зачем вы играете мужчинами?

Розалинда (наклонясь к нему, доверительно) . Ради первой секунды — пока ему только любопытно. Есть такая секунда — как раз перед первым поцелуем — одно шепотом сказанное слово — что-то неуловимое, ради чего стоит все это затевать.

Гиллесли . А потом?

Розалинда . А потом заставляешь его заговорить о себе. Скоро он уже только о том и думает, как бы остаться с тобой наедине — он дуется, не пробует бороться, не хочет играть — победа!

Входит Досон Райдер — двадцати шести лет, красив, богат, знает себе цену, скучноват, пожалуй, но надежен и уверен в успехе.

Райдер . По-моему, этот танец за мной, Розалинда.

Розалинда . Как приятно, что вы меня узнали, Досон. Значит, я не слишком крашена. Познакомьтесь: мистер Райдер — мистер Гиллесли.

Онижимают друг другу руки, и Гиллесли уходит, погрузившись в бездну уныния.

Райдер . Что и говорить, ваш вечер — большая удача.

Розалинда . Да, кажется... Не берусь об этом судить. Я устала... Посидим немного, вы не против?

Райдер . Против? Да я в восторге. Вы же знаете, я ненавижу торопиться и торопить других. Лучше видиться с девушкой вчера, сегодня, завтра.

Розалинда . Досон!

Досон . Что?

Розалинда . Интересно, вы понимаете, что влюблены в меня?

Райдер (поражен) . О, вы замечательная девушка.

Розалинда . А то ведь со мной, знаете ли, сладить трудно. Тот, кто на мне женится, не будет знать ни минуты покоя. Я скверная, очень скверная.

Райдер . Ну, этого я бы не сказал.

Розалинда . Правда, правда — особенно по отношению к самым близким людям. (Встает.) Пошли. Я передумала, хочу танцевать. Мама там, наверное, уже голову потеряла.

Уходят. Входят Алек и Сесилия .

Сесилия . Вот уж повезло — в перерыве между танцами оказаться с родным братом.

Алек (мрачно) . Пожалуйста, могу уйти.

Сесилия . Ни в коем случае. С кем же мне тогда начинать следующий танец? (Вздыхает.) С тех пор как уехали французские офицеры, балы уже стали не те.

Алек (хмурясь) . Я не хочу, чтобы Эмори влюбился в Розалинду.

Сесилия . Да? А мне казалось, что ты именно этого хочешь.

Алек . Я и хотел, но как посмотрел на этих девиц, что-то засомневался. Эмори мне очень дорог. Он уязвимая натура, и я вовсе не хочу, чтобы сердце у него оказалось разбитым из-за девушки, которой он безразличен.

Сесилия . Он очень красивый.

Алек (все еще хмурясь) . Замуж она за него не выйдет, но разбить человеку сердце можно и без этого.

Сесилия . Чем она их привораживает? Хорошо бы узнать секрет.

Алек . Ах ты, хладнокровный котенок. Счастье еще, что у тебя нос курносый, а то никому бы спасения не было.

Входит миссис Коннедж .

Миссис Коннедж . Господи, да где же Розалинда?

Алек (в тоне милой шутки) . Да уж, ты знала, у кого спросить. С кем же ей быть, как не с нами!

Миссис Коннедж . Отец созвал восемь холостых миллионеров, специально чтобы представить ей.

Алек . Ты их построй по ранжиру, и шагом марш по всему дому.

Миссис Коннедж . Я не шучу — с нее станется в вечер первого бала удрать с каким-нибудь футболистом в кафе «Кокос». Ты пойдй влево, а я...

Алек (непочтительно) . А может, тебе лучше послать дворецкого поискать в погребе?

Миссис Коннедж (на полном серьезе) . Неужели ты думаешь, что она там?

Сесилия . Да он шутит, мама.

Алек . Мама уже представила себе, как она пьет пиво прямо из бочки с каким-нибудь чемпионом.

Миссис Коннедж . Пойдемте же, пойдемте ее искать.

Уходят. Входят Розалинда и Гиллесли .

Гиллесли . Розалинда, я вас спрашиваю еще раз — неужели я вам совершенно безразличен?

Быстро входит Эмори .

Эмори . Этот танец за мной. Розалинда. Мистер Гиллесли, это мистер Блейн, познакомьтесь.

Гиллесли . Мы с мистером Блейном встречались. Вы ведь из Лейк-Джинева?

Эмори . Да.

Гиллесли (хватаясь за соломинку) . Я там бывал. Это... это на Среднем Западе, так, кажется?

Эмори (с издевкой) . Более или менее. Но меня всегда больше прельщало быть провинциальным рагу с перцем, чем пресной похлебкой.

Гиллесли . Что?!

Эмори . О, прошу не принимать на свой счет.

Гиллесли, отвесив поклон, удаляется.

Розалинда . Очень уж он примитивен.

Эмори . Я когда-то был влюблен в такой вот примитив.

Розалинда . В самом деле?

Эмори . Да, да, ее звали Изабелла — и ничего в ней не было, кроме того, чем я сам ее наделил.

Розалинда . И что получилось?

Эмори . В конце концов я убедил ее, что мне до нее далеко — и тогда она дала мне отставку. Заявила, что я все на свете критикую и к тому же непрактичен.

Розалинда . В каком смысле непрактичен?

Эмори . Ну, понимаете, вести автомобиль могу, а шину сменить не сумею.

Розалинда . Что вы намерены делать в жизни?

Эмори . Да еще не знаю, избираться в президенты, писать...

Розалинда . Гринич-Вилледж?

Эмори . Боже сохрани, я сказал «писать», а не «пить».

Розалинда . Я люблю деловых людей. Умные мужчины обычно такие невзрачные.

Эмори . Мне кажется, что я вас знал тысячу лет.

Розалинда . Ой, сейчас начнется рассказ про пирамиды!

Эмори . Нет, у меня была в мыслях Франция. Я был Людовиком XIV, а вы — одной из моих... моих... (Совсем другим тоном.) А что, если нам влюбиться друг в друга?

Розалинда . Я предлагала притвориться влюбленными.

Эмори . Нам бы это легко не прошло.

Розалинда . Почему?

Эмори . Потому что именно эгоисты, как ни странно, способны на большую любовь.

Розалинда (поднимая к нему лицо) . Притворитесь.

Долгий, неспешный поцелуй.

Эмори . Милых вещей я говорить не умею. Но вы прекрасны.

Розалинда . Ой, только не это.

Эмори . А что же?
Розалинда (грустно) . Да ничего. Просто я жду чувства, настоящего чувства — и никогда его не нахожу.
Эмори . А я только это и нахожу кругом и ненавижу от всей души.
Розалинда . Так трудно найти мужчину, который удовлетворял бы вашим эстетическим запросам.
Где-то отворили дверь, и в комнату ворвались звуки вальса. Розалинда встает.
Слышите? Там играют «Поцелуй еще раз».
Он смотрит на нее.
Эмори . Так что?
Розалинда . Так что?
Эмори (тихо, признавая свое поражение) . Я вас люблю.
Розалинда . И я вас люблю — сейчас.
Поцелуй.
Эмори . Боже мой, что я наделал?
Розалинда . Ничего. Не надо говорить. Поцелуй меня еще.
Эмори . Сам не знаю, почему и как, но я полюбил вас с первого взгляда.
Розалинда . И я... я тоже, сегодня такой вечер...
В комнату не спеша входит ее брат , вздрагивает, потом громко произносит: «Ох, простите», — и выходит.
(Едва шевеля губами.) Не отпускай меня. Пусть знают, мне все равно.
Эмори . Повтори!
Розалинда . Люблю — сейчас. (Отходят друг от друга.) О, я еще очень молода, слава богу, и, слава богу, довольно красива, и, слава богу, счастлива... (После паузы, словно в пророческом озарении, добавляет.) Бедный Эмори!
Он снова ее целует.

НЕОТВРАТИМОЕ

Еще две недели — и Эмори с Розалиндой уже любили глубоко и страстно. Критический зуд, в прошлом испортивший — и ему и ей немало любовных встреч, утих под окатившей их мощной волною чувства.

— Пусть этот роман безумие, — сказала она однажды встревоженной матери, — но уж, во всяком случае, это не пустое времяпрепровождение.

В начале марта все той же мощной волной Эмори внесло в некое рекламное агентство, где он попеременно показывал образцы незаурядной работы и погружался в сумасбродные мечты о том, как вдруг разбогатеет и увезет Розалинду в путешествие по Италии.

Они виделись постоянно — за завтраком, за обедом и почти каждый вечер — словно бы не дыша, словно опасаясь, что с минуты на минуту чары рассеются и они окажутся изгнаны из этого пламенеющего розами рая. Но чары с каждым днем обволакивали их все крепче, они уже говорили о том, чтобы пожениться в июле — в июне. Вся жизнь вне их любви потеряла смысл, весь опыт, желания, честолюбивые замыслы свелись к нулю, чувство юмора забилося в уголок и уснуло, прежние флирты и романы казались детской забавой, способной вызвать лишь мимолетную улыбку и легкий вздох.

Второй раз в жизни Эмори совершился полный переворот, и он спешил занять место в рядах своего поколения.

МАЛЕНЬКАЯ ИНТЕРЛЮДИЯ

Эмори медленно брел по тротуару, думая о том, что ночь всегда принадлежит ему — весь этот пышный карнавал живого мрака и серых улиц... словно он захлопнул наконец книгу бледных гармоний и ступил на объятые чувственным трепетом дороги жизни. Повсюду кругом огни, огни, сулящие целую ночь улиц и пения, в каком-то полусне он двигался с потоком

прохожих, словно ожидая, что из-за каждого угла ему навстречу выбежит Розалинда — и тогда незабываемые лица ночного города сразу сольются в одно ее лицо, несчетные шаги, сотни намеков сольются в ее шагах; и мягкий взгляд ее глаз, глядящих в его глаза, опьянит сильнее вина. Даже в его сновидениях теперь тихо играли скрипки — летние звуки, тающие в летнем воздухе.

В комнате было темно, только светился кончик сигареты, с которой Том сидел без дела у отворенного окна. Эмори закрыл за собой дверь и постоял, прислонившись к ней.

— Привет, Бенвенуто Блейн. Ну, как там дела в рекламной промышленности?

Эмори растянулся на диване.

— Гнусно, как и всегда. — Перед глазами встало агентство с его бестолковой сутолокой и тут же сменилось другим видением. — Бог ты мой, она изумительна.

Том вздохнул.

— Я просто не могу тебе выразить, до чего она изумительна, — повторил Эмори. — Я и не хочу, чтобы ты знал. Я хочу, чтобы никто не знал.

От окна снова донесся вздох — вздох человека, смирившегося со своей участью.

Глаза у Эмори защекотало от слез.

— Том, Том, ты только подумай!

СЛАДКАЯ ГОРЕЧЬ

— Давай посидим, как тогда, — шепнула она. Он сел в глубокое кресло и протянул руки, чтобы принять ее в объятия.

— Я знала, что ты сегодня придешь, — сказала она тихо. — Как раз когда ты больше всего был мне нужен... милый... милый.

Губы его легко запорхали по ее лицу.

— Ты такая вкусная, — вздохнул он.

— Как это, любимый?

— Ты сладкая, сладкая... — Он крепче прижал ее к себе.

— Эмори, — шепнула она, — когда ты будешь готов на мне жениться, я за тебя выйду.

— Для начала нам придется жить очень скромно.

— Перестань! — воскликнула она. — Мне больно, когда ты себя упрекаешь, за то, чего не можешь мне дать. У меня есть ты — большего мне не надо.

— Скажи...

— Ведь ты это знаешь? Ну, конечно, знаешь. — Да, но я хочу, чтоб ты это сказала.

— Я люблю тебя, Эмори, люблю всем сердцем. — И всегда будешь?

— Всю жизнь... Ох, Эмори...

— Что?

— Я хочу быть твоей. Хочу, чтоб твои родные были моими родными... Хочу иметь от тебя детей.

— Но родных-то у меня никого нет.

— Не смейся надо мной, Эмори. Поцелуй меня.

— Я сделаю все, как ты хочешь.

— Нет, это я сделаю все, как ты хочешь. Мы — это ты, а не я. Ты настолько часть меня, насколько я вся... Он закрыл глаза.

— Я так счастлив, что мне страшно. Какой был бы ужас, если б это оказалось высшей точкой. Она устремила на него задумчивый взгляд.

— Красота и любовь не вечны, я знаю. И от печали не уйти. Наверно, всякое большое счастье немножко печально. Красота — это благоухание роз, а розы увядают.

— Красота — это муки приносящего жертву и конец этой муки.

— А мы прекрасны, Эмори, я это чувствую. Я уверена, что бог нас любит.

— Он любит тебя. Ты — самое ценное его достояние.

— Я не его, Эмори, я твоя. Первый раз в жизни я жалею о всех прежних поцелуях, теперь-то я знаю, что может значить поцелуй.

Потом они закуривали, и он рассказывал ей, как прошел день на работе и где им можно будет поселиться. Порой, когда ему случалось разговориться не в меру, она засыпала в его объятиях, но он любил и эту Розалинду — любил всех Розалинд, как раньше не любил никого на свете. Быстротечные, неуловимые, навек ускользающие из памяти часы.

ЭПИЗОД НА ВОДЕ

Однажды Эмори и Хауорд Гиллеспи встретились случайно в деловой части города. Они вместе зашли в кафе позавтракать, и Эмори выслушал рассказ, очень его позабавивший. У Гиллеспи после нескольких коктейлей развязался язык, и для начала он сообщил Эмори, что Розалинда, по его мнению, девушка со странностями.

Как-то раз они целой компанией ездили купаться в Уэстчестер, и кто-то упомянул, что туда приезжала Аннет Келлерман и прыгала в воду с шаткой тридцатифутовой вышки. Розалинда тут же потребовала, чтобы Хауорд лез туда вместе с ней — посмотреть, как это выглядит сверху.

Через минуту, когда он сидел на краю вышки, болтая ногами, рядом с ним что-то мелькнуло — это Розалинда безупречной «ласточкой» пронеслась вниз, в прозрачную воду.

— После этого мне, сами понимаете, тоже пришлось прыгать, я чуть не убился до смерти. Меня стоило похвалить уже за то, что я вообще решился. Больше никто из компании не пробовал. Так у Розалинды потом хватило нахальства осведомиться, зачем я во время прыжка пригнул голову. Это, видите ли, не облегчает дела, а только портит впечатление. Ну я вас спрашиваю, как быть с такой девушкой? Я считаю, это уже лишнее.

Гиллеспи было невдомек, почему Эмори до конца завтрака не переставал блаженно улыбаться. Скорее всего, решил он, это признак тупого оптимизма.

ПЯТЬ НЕДЕЛЬ СПУСТЯ

Библиотека в доме Коннеджей. Розалинда одна, сидит на диване, хмуро глядя в пространство. Она заметно изменилась, даже похудела немного. Блеск ее глаз потускнел, можно подумать, что она стала, по крайней мере, на год старше.

Входит ее мать, кутаясь в мантию. Окидывает Розалинду тревожным взглядом.

Миссис Коннедж . Ты сегодня кого ждешь?

Розалинда не слышит, во всяком случае не отзывается.

Сейчас заедет Алек, он везет меня на эту пьесу Барри «И ты, Брут». (Спохватывается, что говорит сама с собой.) Розалинда! Я тебя спросила, кого ты ждешь.

Розалинда (вздрагнув) . Я?.. Что... Да Эмори...

Миссис Коннедж (язвительно) . У тебя последнее время столько поклонников, что я просто не могла угадать, который на очереди. (Розалинда не отвечает.) Досон Райдер оказался терпеливее, чем я думала. Ты на этой неделе ни одного вечера ему не уредила.

Розалинда (не свойственным ей раньше, до предела усталым тоном) . Мама, прошу тебя...

Миссис Коннедж . О, я-то вмешиваться не намерена. Ты уже два месяца потратила на гения без гроша за душой, но, пожалуйста, продолжай, потрать на него хоть всю жизнь. Я вмешиваться не буду.

Розалинда (словно повторяя скучный урок) . Тебе известно, что небольшой доход у него есть и что он зарабатывает тридцать долларов в неделю в рекламном...

Миссис Коннедж . И что этого даже на твои туалеты не хватит. (Делает паузу, но Розалинда молчит.) Я пекусь только о твоих интересах, когда отговариваю тебя от безрассудного шага, о котором ты до конца дней будешь жалеть. И на папину помощь рассчитывать нечего. Он немолод, и дела у него последнее время идут плохо. Единственной твоей опорой оказался бы мечтатель, очень милый юноша, из хорошей семьи, но мечтатель — умный мальчик, и больше ничего. (Дает понять, что ум — черта сама по себе отрицательная.)

Розалинда . Мама, ради бога...

Входит горничная, докладывает о приходе мистера Блейна, и тут же входит он сам. Друзья

Эмори уже десять дней твердят ему, что он «выглядит как божий гнев», и они правы. А последние полтора суток он не был в состоянии проглотить ни куска.

Эмори . Добрый вечер, миссис Коннедж.

Миссис Коннедж (вполне ласково) . Добрый вечер, Эмори.

Эмори и Розалинда переглядываются. Входит Алек. Тот все время держался нейтральной позиции. В душе он уверен, что предполагаемый брак будет для Эмори унижительным, а для Розалинды несчастным, но глубоко сочувствует им обоим.

Алек . Здорово, Эмори!

Эмори . Здорово, Алек! Том сказал, что встретится с тобой в театре.

Алек . Да, я его видел. Как дела с рекламой? Сочинил что-нибудь блестящее?

Эмори . Да ничего особенного. Получил прибавку... (все взгляды с интересом обращаются к нему) ... два доллара в неделю.

Все разочарованно отводят глаза.

Миссис Коннедж . Идем, Алек. Я слышу, автомобиль подали.

Все прощаются — кто более, кто менее сердечно. Миссис Коннедж и Алек уходят, после чего наступает молчание. Розалинда по-прежнему хмуро смотрит в камин. Эмори подходит и обнимает ее.

Эмори . Девочка моя. (Поцелуй. Снова пауза, потом она, схватив его руку, осыпает ее поцелуями и прижимает к груди.)

Розалинда (печально) . Я люблю твои руки, больше всего люблю. Я часто вижу их, когда тебя здесь нет, — такие усталые... Я знаю их до мельчайшей черточки — милые руки!

На минуту их взгляды встречаются, а потом она раздражается сухими рыданиями.

Эмори . Розалинда!

Розалинда . Ой, мы такие жалкие!

Эмори . Розалинда!

Розалинда . Ой, я хочу умереть!

Эмори . Розалинда, еще один такой вечер и силы мои кончатся. Ты уже четыре дня такая. Влей в меня хоть немножко бодрости, а то я не могу ни работать, ни есть, ни спать. (Беспомощно озирается, точно в поисках новых слов взамен старых, сносившихся) . С чего-то надо начитать. Начинать вместе — это даже лучше. (Отклика нет, и наигранная уверенность покидает его.) В чем дело? (Рывком встает и ходит по комнате.) Это все Досон Райдер, я знаю. Он изматывает тебе нервы. Ты всю эту неделю каждый день с ним виделась. Люди мне говорят, что видели вас вместе, а я должен улыбаться, кивать и делать вид, что для меня это не имеет ни малейшего значения. А ты за все это время не нашла нужным ничего мне рассказать.

Розалинда . Эмори, если ты не сядешь, я закричу.

Эмори (саясь с ней рядом) . О господи!

Розалинда (беря его за руку, мягко) . Ты ведь знаешь, что я тебя люблю.

Эмори . Да.

Розалинда . И что буду тебя любить всегда...

Эмори . Не надо так говорить. Ты меня пугаешь. Как будто нам предстоит расстаться. (Она опять заплакала, встала и перешла с дивана на кресло.) Я весь день чувствовал сегодня, как что-то ускользает. На работе я чуть с ума не сошел, не мог написать ни строчки. Расскажи мне все.

Розалинда . Да правда же, нечего рассказывать. Я просто нервничаю.

Эмори . Розалинда, ты прикидываешь, не выйти ли замуж за Досона Райдера.

Розалинда (после паузы) . Он сегодня весь день меня об этом просил.

Эмори . У него-то, видно, нервы крепкие.

Розалинда (снова после паузы) . Он мне нравится.

Эмори . Не говори так. Мне больно.

Розалинда . Не дури. Ты же знаешь, что, кроме тебя, я никого не любила и не буду любить.

Эмори . Розалинда, давай поженимся — на будущей неделе.

Розалинда . Это невозможно.

Эмори . Почему?

Розалинда . Невозможно. Это значит, мне стать твоей рабыней — в какой-нибудь гадкой дыре.

Эмори . У нас будет двести семьдесят пять долларов в месяц.

Розалинда . Дорогой мой, я обычно даже не причесываюсь сама.

Эмори . Я буду тебя причесывать.

Розалинда (со смешком, похожим на всхлип) . Спасибо.

Эмори . Розалинда, я не верю, что ты можешь думать о браке с кем-то другим. Ты что-то от меня скрываешь. Скажи мне! Если скажешь, я помогу тебе с этим справиться.

Розалинда . Все дело... в нас. Мы жалкие, вот и все. Именно из-за тех качеств, которые я в тебе люблю, ты всегда останешься неудачником.

Эмори (угрюмо) . Ну, дальше.

Розалинда . О, ну хорошо. Да, всему виной Досон Райдер. Он такой надежный. Чувствуется, что он мог бы стать... хорошим фоном.

Эмори . Ты его не любишь.

Розалинда . Не люблю, но зато уважаю, он хороший человек и сильный.

Эмори (неохотно соглашаясь) . Да, этого у него не отнимешь.

Розалинда . Ну вот, хотя бы такой пример. Во вторник мы встретили в Райе какого-то бедного мальчика, и, знаешь, Досон посадил его к себе на колени, разговаривал с ним и пообещал подарить ему индейский костюм — а на следующий день вспомнил и купил ему костюм, и, и... так это получилось заботливо, и я невольно подумала, как он хорошо относился бы к... нашим детям, заботился бы о них, и мне не о чем было бы тревожиться.

Эмори (в отчаянии) . Розалинда, Розалинда!

Розалинда (чуть лукаво) . Не напускай на себя такой страдальческий вид.

Эмори . Какую боль мы способны причинять друг другу.

Розалинда (опять заливается слезами) . Это было так замечательно — ты и я. Так похоже на то, о чем я мечтала и боялась, что никогда не найду. Первый раз, что я думала не о себе. И я не могу допустить, чтобы это чувство увяло в серой, тусклой атмосфере.

Эмори . Не увянет оно, не увянет?

Розалинда . Лучше сохранить его как прекрасное воспоминание, упрятанное глубоко в сердце.

Эмори . Да, женщины это умеют, но мужчины — нет. Я бы всегда помнил не то, как это было прекрасно, пока длилось, а только горечь, неизбывную горечь.

Розалинда . Не надо!

Эмори . Никогда больше не видеть тебя, не целовать — словно ворота захлопнули и задвинули засов — ты просто боишься стать моей женой.

Розалинда . Нет, нет, я выбираю более трудный путь, более решительный. Наш брак был бы неудачей, а я неудачницей не была и не буду... Если ты не перестанешь ходить взад-вперед, я закричу!

Он снова в изнеможении опускается на диван.

Эмори . Поди сюда и поцелуй меня.

Розалинда . Нет.

Эмори . Ты не хочешь меня поцеловать?

Розалинда . Сегодня я хочу, чтобы ты любил меня спокойно, издали.

Эмори . Начало конца.

Розалинда (в интуитивном озарении) . Эмори, ты еще очень молод. И я молода. Сейчас нам прощают наши позы, нашу дерзость, то, что мы никого не уважаем, и это нам сходит с рук. Но тебя ждет в жизни много щелчков...

Эмори . И ты боишься, что заодно они достанутся и тебе.

Розалинда . Нет, не этого я боюсь. Где-то я читала одни стихи... Ты скажешь — Элла Уилер Уилкоккс, и посмеешься, но вот послушай:

В этом и мудрость — любить и жить,
Брать, что судьба решит подарить,

Не молиться, вопросов не задавать,
Гладить кудри, уста целовать,
Плыть, куда страсти несет поток,
Обладать — и проститься, чуть минет срок.
Эмори . Но мы-то не обладали!

Розалинда . Эмори, я твоя, ты это знаешь. За последний месяц бывали минуты, когда я стала бы совсем твоей, если б ты захотел. Но я не могу выйти за тебя замуж и загубить и твою жизнь и свою.

Эмори . Надо рискнуть — может, и будет счастье.

Розалинда . Досон говорит, что я научусь его любить.

Эмори, опустив лицо в ладони, сидит неподвижно. Жизнь словно покинула его.

Любимый! Я не могу с тобой и не могу представить себе жизнь без тебя.

Эмори . Розалинда, мы раздражаем друг друга. Просто у нас обоих нервы не в порядке, и эта неделя...

Голос у него словно состарился. Она подходит к нему и, взяв его лицо в ладони, целует.

Розалинда . Не могу, Эмори. Не могу я жить, отгороженная от цветов и деревьев, запертая в маленькой квартирке, и ждать тебя целыми днями. Ты бы меня возненавидел в этом спертом воздухе. И я же была бы виновата.

Снова ее ослепили неудержимые слезы.

Эмори . Розалинда...

Розалинда . Ох, милый, уходи. А то будет еще труднее. Я больше не могу...

Эмори (лицо его осунулось, голос напряжен) . Ты думаешь, что говоришь? Значит, это навсегда?

Оба страдают, но по-разному.

Розалинда . Неужели ты не понимаешь?

Эмори . Не понимаю, если ты меня любишь. Тебе страшно вместе со мной на два года смириться с некоторыми трудностями.

Розалинда . Я была бы уже не той Розалиндой, которую ты любишь.

Эмори (на грани истерики) . Не могу я от тебя отказаться! Не могу, и все тут. Ты должна быть моей.

Розалинда (с жесткой ноткой в голосе) . А теперь ты говоришь, как ребенок.

Эмори (закусив удила) . Ну и пусть! Ты нам обоим испортила жизнь.

Розалинда . Я выбрала разумный путь, единственно возможный.

Эмори . И ты выйдешь за Досона Райдера?

Розалинда . Не спрашивай. Ты же знаешь, в некоторых отношениях я уже не молода, но в других... в других я как маленькая девочка. Люблю солнце, и красивые вещи, и чтоб было весело, и до смерти боюсь ответственности — не хочу думать про кухню, про кастрюли и веники. Мои заботы — это загорят ли у меня ноги, когда я летом поеду на море.

Эмори . Но ты меня любишь.

Розалинда . Поэтому-то и нужно кончать. Неопределенность — это так больно. Такой сцены, как сегодня, мне больше не выдержать.

Снимает с пальца кольцо и протягивает ему. Глаза у обоих снова наполняются слезами.

Эмори (целуя ее в мокрую щеку) . Не надо! Сохрани его, ну пожалуйста! Не разбивай мне сердце!

Она мягко вдавливая кольцо ему в ладонь.

Розалинда (безнадежно) . Уйди, прошу тебя.

Эмори . Прощай...

Она бросает на него еще один взгляд, полный бесконечного сожаления, бесконечной тоски.

Розалинда . Не забудь меня, Эмори... Эмори. Прощай...

Он идет к двери, как слепой ищет ручку, находит; она видит, как он вскидывает голову, и вот он ушел. Ушел — она приподнимается, потом падает на диван, лицом в подушки.

Розалинда . О господи, лучше умереть!

Через минуту встает и с закрытыми глазами пробирается к двери. Потом еще раз окидывает

взглядом комнату. Здесь они сидели и мечтали; в этот подносик она столько раз насыпала ему спичек; этот абажур они в какое-то блаженно долгое воскресенье предусмотрительно опустили. С блестящими от слез глазами она стоит и вспоминает, потом произносит вслух: Эмори, дорогой мой, что же я с тобой сделала!

И глубже, чем боль и грусть, которые со временем пройдут, в ней живет чувство, что она что-то потеряла — неведомо что, неведомо как.

Глава II: МЕТОДЫ ИЗЛЕЧЕНИЯ

В баре «Никербокер», на который с широкой улыбкой взирал многоцветный, веселый «Старый дедушка Коль» работы Максфилда Пэрриша, былолюдно. Эмори, войдя, остановился и посмотрел на часы: ему необходимо было узнать точное время, присущая ему любовь к перечням и рубрикам требовала отчетливости во всем. Когда-нибудь ему доставит смутное удовлетворение мысль, что «это кончилось ровно в двадцать минут девятого в четверг, десятого июня 1919 года». Было учтено и то, сколько времени он шел сюда от ее дома, — путь, который затем начисто выпал из его памяти.

Он пребывал в каком-то непонятном состоянии. После двух суток непрерывной нервной тревоги, без еды и без сна, завершившихся раздирающей сценой и неожиданно твердым решением Розалинды, его мозг погрузился в спасительное забытие. Он неуклюже рылся в маслинах у стола с бесплатной закуской и, когда к нему подошел и заговорил с ним какой-то человек, выронил маслину из трясущихся пальцев.

— Кого я вижу, Эмори...

Кто-то знакомый по Принстону. Фамилия? Хоть убей, не вспомню.

— Здорово, дружище, — услышал он собственный голос.

— Джим Уилсон. Ты, я вижу, забыл.

— Ну как же, Джим. Конечно, помню.

— На встречу собираешься?

— Еще бы. — И тут же сообразил, что на встречу однокашников он не собирается.

— За морем побывал?

Эмори кивнул, уставясь в пространство. Отступив на шаг, чтобы дать кому-то дорогу, он сшиб на пол тарелку с маслинами, и она звеня разлетелась на куски.

— Жалость какая, — пробормотал он. — Выпьем? Уилсон, изображая тактичность, похлопал его по спине.

— Ты уже и так набрался, старина. Эмори в ответ только посмотрел на него, и Уилсону стало не по себе от этого взгляда.

— Набрался, говоришь? — произнес наконец Эмори. — Да у меня сегодня капли во рту не было. Уилсон явно ему не поверил.

— Так выпьем или нет? — грубо крикнул Эмори. Они двинулись к стойке.

— Виски.

— Мне — «Бронкс».

Уилсон выпил еще одну, Эмори — еще несколько. Они решили посидеть за столиком. В десять часов Уилсона сменил Карлинг из выпуска 15-го года. У Эмори блаженно кружилась голова, мягкое довольство слой за слоем ложилось на душевные увечья, и он без удержу разглагольствовал о войне.

— П-пустая трата духовных сил, — твердил он с тяжеловесным апломбом. — Д-два года жизни в интеллектуальном вакууме. Был идеалист, мечтатель, стал животное. — Он выразительно погрозил кулаком «Дедушке Колю». — Стал пруссаком, насчет женщин в особенности. Раньше я с женщинами по-честному, теперь плевать на них хотел. — В доказательство своей беспринципности он широким жестом смахнул со стола бутылку зельтерской, уготовив ей громкую гибель на полу, но это не помешало ему продолжать: — Лови момент, завтра умрем. В-вот такая у меня теперь философия.

Карлинг зевнул, но Эмори уже не мог унять свое красноречие.

— Раньше хотел понять, откуда компромиссы, половинчатая позиция в жизни. Теперь не хочу понимать, не хочу... — Он так старался внушить Карлингу, что не хочет ничего понимать, что потерял нить своих рассуждений и еще раз объявил во всеуслышание, что он теперь «животное, и точка».

— Ты какое событие празднуешь, Эмори? Эмори доверительно склонился над столиком.

— Праздную крах всей своей ж-жизни. Величайшее бытие. Рассказать про это не могу...

Он услышал, как Карлинг окликнул бармена:

— Дайте стакан бромо-зельцера. Эмори возмущенно замотал головой:

— Н-не желаю!

— Но послушай, Эмори, тебе сейчас станет дурно. На тебе лица нет.

Эмори обдумал эти слова. Хотел посмотреть на себя в зеркале за стойкой, но, даже скосив глаза, не увидел ничего дальше ряда бутылок.

— Мне бы чего-нибудь пожевать, — сказал он. — Пойдем поищем чего-нибудь п-пожевать. Движением плеч он поправил пиджак с потугой на небрежность манер, но, едва отнял руку от стойки, мешком свалился на стул.

— Пошли через дорогу к «Шенли», — предложил Карлинг, подставляя ему локоть.

С его помощью Эмори заставил свои ноги кое-как пересечь Сорок вторую улицу.

У «Шенли» все было в тумане. Он смутно сознавал, что громко и, как ему казалось, очень четко и убедительно толкует о своем желании раздавить кое-кого каблуком. Уничтожил три огромных сэндвича, жадно и быстро, словно три шоколадные конфеты. Потом в сознание снова стала наведываться Розалинда, а губы беззвучно повторяли и повторяли ее имя. А потом его стало клонить ко сну, и ум лениво, равнодушно отметил, что к их столику стягиваются мужчины во фраках, скорей всего — официанты...

...Он был в какой-то комнате, и Карлинг что-то говорил про узел на шнурках.

— Б-брось, — едва выговорил он сквозь дремоту. — Буду спать так...

ВСЕ ЕЩЕ В ВИННЫХ ПАРАХ

Он проснулся смеясь и лениво обвел глазами комнату — очевидно, номер с ванной в хорошем отеле. Голова у него гудела, картина за картиной складывалась, расплывалась и таяла перед глазами, не вызывая, однако, никакого отклика, кроме желания посмеяться. Он потянулся к телефону на тумбочке.

— Алло, это какой отель?.. «Никербокер»? Отлично. Пришлите в номер два виски.

Он еще полежал, зачем-то гадая, что ему пришлют — бутылку или просто два стакана, уже налитых. Потом с усилием выбрался из постели и зашлепал в ванную.

Когда он вышел оттуда, неспешно растираясь полотенцем, официант уже был в комнате, и Эмори вдруг захотелось его разыграть. Подумав, он решил, что это будет дешево, и жестом отпустил его.

От первых же глотков алкоголя он согрелся, и разрозненные картины стали медленно складываться в киноленту о вчерашнем дне. Снова он увидел Розалинду, как она плакала, зарывшись в подушки, снова почувствовал ее слезы на своей щеке. В ушах зазвучали ее слова: «Не забудь меня, Эмори, не забудь...»

— Черт! — выдохнул он и поперхнулся и рухнул на постель, скрученный судорогой горя. Но через минуту открыл глаза и устремил взгляд к потолку.

— Идиот несчастный! — воскликнул он гадливо, вздохнул всей грудью, встал и пошел к бутылке. А выпив еще стакан, дал волю облегчающим слезам. Он нарочно вызывал к жизни мельчайшие воспоминания сгинувшей весны, облакал эмоции в слова, чтобы растравить свою боль.

— Мы были так счастливы, — декламировал он, — так безмерно счастливы. — И, захлебнувшись, опустил на колени возле кровати, лицом в подушку.

— Родная моя девочка... родная... О... Он так стиснул зубы, что слезы ручьем хлынули из глаз.

— Девочка моя, самая хорошая, единственная... Вернись ко мне, вернись... Ты так мне нужна... Мы такие жалкие... столько страданий причинили друг другу... Ее спрячут от меня... Я не смогу ее видеть, не смогу быть ей другом... Так суждено... суждено...

И опять сызнова:

— Мы были так счастливы, так безмерно счастливы...

Он встал и бросился на кровать в пароксизме чувства и тут постепенно сообразил, что накануне вечером был сильно пьян и что мозги у него опять завихряются. Он рассмеялся, встал и побрел к бутылке...

В полдень он встретил подходящую компанию в баре отеля «Билтмор», и все началось сначала. Позже ему смутно вспоминалось, что он рассуждал о французской поэзии с английским офицером, которого ему представили так: «Капитан Корн его величества пехоты», что за завтраком он пытался прочесть вслух «Glair de lune» 18 ; потом проспал в глубоком мягком кресле почти до пяти часов, когда его обнаружила и разбудила уже другая компания. Последовала пьяная подготовка несходных темпераментов к тягостному ритуалу обеда. У Тайсона они купили билеты на спектакль с тремя антрактами для выпивки — спектакль всего с двумя монотонными голосами, с мутными, мрачными сценами и световыми эффектами, за которыми было нелегко уследить, когда глаза вели себя так странно. Впоследствии он решил, что это, по-видимому, была «Шутка»...

Потом — «Кокосовая пальма», где Эмори опять поспал на балкончике... Еще позже, у «Шенли», он стал мыслить почти последовательно и, педантично ведя счет выпитым коктейлям, сделался очень прозорлив и разговорчив. Выяснилось, что их компания состоит из пяти мужчин, из которых двое ему слегка знакомы, он заявил, что намерен нести свою долю расходов, как честный человек, и громко твердил, что рассчитаться надо немедленно, — чем вызвал шумное веселье за соседними столиками...

Кто-то упомянул, что в зале сидит известная звезда эстрады, и Эмори, встав с места, подошел к ней и галантно представился... Тут же он оказался втянут в спор сперва с ее кавалером, а затем с метрдотелем, причем сам он держался чуть надменно и изысканно вежливо... и, поддавшись на неоспоримо логичные доводы, согласился, чтобы его отвели обратно к его столику.

— Решил покончить с собой, — объявил он ни с того ни с сего.

— Когда? В будущем году?

— Теперь же. Завтра утром. Сниму номер в «Коммодоре», залезу в горячую ванну и вскрыю вену.

— Ну и разговорчики!

— Вам бы еще стаканчик выпить, старина.

— Обсудим это завтра.

Но Эмори не желал ничего слушать — он желал говорить.

— С вами так бывает? — выпросил он театральным шепотом.

— А как же!

— И часто?

— У меня это хроническое.

Последовала дискуссия. Один из собутыльников сказал, что порой ему бывает до того скверно, что он серьезно об этом подумывает. Другой согласился, что жить, собственно, не для чего. «Капитан Корн», каким-то образом снова оказавшийся среди них, высказал мнение, что обычно так чувствуешь себя, когда плохо со здоровьем. Эмори внес предложение — заказать по «Бронксу», намешать туда битого стекла и выпить залпом. К тайной его радости, никто этой идеи не поддержал, и тогда он, допив бокал, подпер подбородок ладонью, — а локоть поставил на стол, уверив себя, что так можно поспать, грациозно и почти незаметно, и застыл в оцепенении.

Проснулся он от того, что в него вцепилась женщина — очень хорошенькая, синеглазая, с растрепанными темными волосами.

— Проводи меня домой! — взмолилась она.

— Что такое? — спросил Эмори, моргая.

— Ты мне нравишься, — сообщила она нежно.

— Ты мне тоже.

Он заметил, что на заднем плане маячит какой-то горластый мужчина, а ему самому толкует что-то один из его компании.

— Этот, с которым я пришла, — болван, — пояснила синеглазая. — Ну его. Отвези меня домой.

— Напилась? — осведомился Эмори, воплощенное благоразумие.

Она застенчиво кивнула.

— Поезжай домой с ним, — посоветовал он веско. — С кем пришла, с тем и поезжай.

Тут горластый мужчина на заднем плане вырвался из удерживавших его рук и приблизился.

— Эй! — произнес он злобно. — Эта девушка со мной, чего встречаешь?

Эмори окинул его холодным взглядом, а девушка вцепилась в него крепче прежнего.

— Отпусти девушку! — крикнул горластый. Эмори постарался сделать грозные глаза.

— Подите вы к черту, — постановил он наконец и перенес свое внимание на девушку.

— Любовь с первого взгляда? — предположил он.

— Я тебя люблю, — шепнула она, прижимаясь к нему. А глаза у нее и правда были красивые. Кто-то, наклонившись, сказал ему на ухо:

— Это же Маргарет Даймонд. Она напилась, а пришла сюда с этим типом. Оставьте ее в покое.

— Так пусть он о ней и заботится! — яростно выкрикнул Эмори. — Я не нанимался следить за ее нравственностью!

— Оставьте ее в покое!

— Она сама, черт возьми, на мне повисла. Ну и пусть висит!

Все больше людей теснилось вокруг столика. Драка уже казалась неизбежной, но тут проворный официант разогнул пальцы Маргарет Даймонд, и та, выпустив Эмори, залепила официанту пощечину, а потом бросилась на шею своему взбешенному кавалеру.

— О господи! — воскликнул Эмори. — Пошли! — Живо, а то и такси не достанешь!

— Официант, счет!

— Пошли, Эмори. Кончился твой романчик.

Эмори расхохотался.

— Знали бы вы, до чего вы правы! Да откуда вам знать. В этом-то все и горе.

ЭМОРИ О ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Через два дня, явившись с утра в рекламное агентство «Баском и Барлоу», он постучал в кабинет директора.

— Войдите.

Эмори вошел нетвердой походкой.

— Доброе утро, мистер Барлоу.

— А-а, мистер Блейн. Мы вас уже несколько дней не видели.

— Да, — сказал Эмори. — Я увольняюсь.

— В самом деле? Это, знаете ли...

— Мне здесь не нравится.

— Очень сожалею. Мне казалось, наши отношения как, раз... э-э... налаживаются. Вы производили впечатление старательного работника, немного, может быть, увлекающегося...

— А мне надоело, — грубо перебил его Эмори. — Мне в высокой степени наплевать, чья детская мука самая питательная, Хэрбелла или кого другого. Я ее и не пробовал. И расписывать ее другим мне надоело... Да, у меня был запой, знаю.

Лицо у мистера Барлоу посуровело на несколько делений.

— Вы просили работы... Эмори не дал ему говорить.

— И платили мне безобразно мало. Тридцать пять долларов в неделю, меньше, чем хорошему плотнику.

— Вы только начинали. А раньше вообще еще не работали, — хладнокровно возразил

мистер Барлоу.

— Но на мое образование потратили десять тысяч долларов, чтобы я мог писать для вас эту белиберду. А если говорить о стаже, так у вас некоторые стенографистки уже пять лет получают пятнадцать монет в неделю.

— Я не намерен вступать с вами в споры, сэр, — сказал мистер Барлоу, вставая.

— Я тоже. Просто хотел вам сообщить, что увольняюсь.

С минуту они постояли, невозмутимо глядя друг на друга, потом Эмори повернулся и вышел.

ПЕРЕДЫШКА

Спустя еще четыре дня он наконец вернулся в свою квартиру. Том сочинял рецензию для «Новой демократии», где он теперь был штатным сотрудником. Некоторое время они молча смотрели друг на друга.

— Ну?

— Ну?

— Боже мой, Эмори, где ты заработал синяк под глазом? И скула...

Эмори расхохотался.

— Это еще что, пустяки!

Он стянул пиджак и обнажил плечи.

— Гляди!

Том присвистнул.

— Что на тебя свалилось?

Эмори опять расхохотался.

— Да много всяких людей. Меня избили. Факт. — Он привел в порядок сорочку. — Рано или поздно это должно было случиться, а переживание ценнейшее.

— Кто они были?

— Ну, скорее всего, официанты, и парочка матросов, и несколько случайных прохожих. Удивительное ощущение. Стоит попробовать, хотя бы для обогащения опыта. В какой-то момент валишься с ног, и, пока ты не упал, каждый норовит ударить еще раз, а когда упал — пинают.

Том закурил.

— Я целый день гонялся за тобой по городу, но ты все время от меня ускользал. Воображаю, в какой компании.

Эмори плюхнулся на стул и попросил сигарету.

— Сейчас ты трезвый? — язвительно спросил Том.

— Более или менее. А что?

— Так вот слушай. Алек съехал. Родные уже сколько времени его допекали, чтобы жил дома, вот он и... У Эмори больно сдавило горло.

— Жалость какая.

— Да, жаль. Если мы останемся здесь, надо подыскивать кого-нибудь другого. Плата за квартиру растет.

— Правильно. Подыщи кого-нибудь, Том. Я заранее согласен.

Эмори прошел в свою комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, был снимок Розалинды, который он собирался окантовать, а пока поставил на комод, прислонив к зеркалу. При виде его Эмори ничего не почувствовал. После тех живых портретов, что рисовала ему память, снимок казался нереальным, мертвым. Он вернулся в общую комнату.

— У тебя нет какой-нибудь картонки?

— Нет, — ответил Том удивленно. — Откуда у меня картонки? Впрочем, погоди, может быть, у Алека осталась.

Эмори нашел-таки, что искал, и, вернувшись к комоду, выдвинул ящик, где лежали письма, записки, обрывок цепочки, два крошечных носовых платка и несколько любительских снимков. Пока он аккуратно перекладывал все это в картонку, ему вспомнилось место из какой-то книги, когда герой, после того как целый год хранил кусок мыла, некогда

принадлежавший его неверной возлюбленной, моет им руки. Он засмеялся, стал было напевать «Когда ты уедешь»... Умолк на полуслове.

Бечевка два раза рвалась, но он с ней справился, бросил коробку на дно чемодана, щелкнул замком и вернулся к Тому.

— Уходишь? — В голосе Тома скрывалась тревога.

— Угу.

— Куда?

— Сам не знаю, старик.

— Давай пообедаем вместе.

— Я бы с удовольствием, да уже сговорился пообедать с Сьюки Бреттом.

— Понятно.

— Пока.

В кафе напротив он пропустил коктейль, потом дошел до Вашингтон-сквер и залез на империал автобуса. Сошел он у Сорок третьей улицы и ввалился в бар отеля «Билтмор».

— Ого! Эмори!

— Что будешь пить?

— Официант, сюда!

ТЕМПЕРАТУРА НОРМАЛЬНАЯ

Сухой закон разом положил конец попыткам Эмори утопить горе в вине, и когда он, проснувшись однажды утром, обнаружил, что дни хождений из бара в бар миновали, он не почувствовал ни раскаяния за эти безумные три недели, ни сожаления о том, что повторить их невозможно. Он понимал, что выбрал самый жестокий, хоть и самый пассивный путь, чтобы защититься от кинжала памяти, и, хотя другим он не порекомендовал бы такой способ самозащиты, своей цели он в конце концов достиг — первый приступ боли остался позади.

Поймите его правильно. Эмори любил Розалинду, как ему не суждено было полюбить никого другого. Она забрала себе первое цветение его молодости, извлекла из немереных глубин его существа нежность, поразившую его самого, мягкость и самоотречение, которыми он еще никого не дарил. У него и потом бывали романы, но иного рода — когда он вновь занимал более, вероятно, типичную для него позицию, видя в женщине только зеркало собственного настроения. Розалинда пробудила в нем нечто большее, чем страстное восхищение. К Розалинде он сохранил глубокое, неумирающее чувство.

Но к концу их отношения обрели такой трагический накал, вылившийся в причудливый кошмар его трехнедельного загула, что эмоционально он был опустошен. Убежище, казалось, сулили люди и отношения, которые запомнились ему как тихие либо утонченно искусственные. Он написал рассказ, в котором в циничных тонах изобразил похороны своего отца, и, отослав его в журнал, получил в ответ чек на шестьдесят долларов и просьбу присылать еще материал в таком же духе. Это польстило его тщеславию, но на дальнейшие усилия не подвигло.

Он запоем читал. Был озадачен и угнетен «Портретом художника в молодости»; с огромным интересом проглотил «Неугасимый огонь» и «Джоун и Питер», не без удивления открыл, с помощью критика по фамилии Менкен, несколько превосходных американских романов:

«Вандовер и Зверь», «Проклятие Терона Уэра», «Дженни Герхардт». Маккензи, Честертон, Голсуорси, Беннета он воспринимал уже не как прозорливых, вскормленных жизнью гениев, а всего лишь как занятых современников. Только отрешенная ясность и блестящая логика Шоу и неистовое стремление Уэллса подобрать ключ романтического единства к вечно меняющемуся замку правды не переставали пленять его.

Ему хотелось повидать монсеньера Дарси, которому он написал, вернувшись из Франции, но не получил ответа. К тому же он знал, что свидеться с монсеньером означало бы рассказать о Розалинде, а одна эта мысль приводила его в содрогание.

В поисках тихих людей он вспомнил про миссис Лоренс, очень неглупую, очень достойную леди, принявшую католичество и глубоко преданную монсеньеру.

Однажды он позвонил ей по телефону. Да, она прекрасно его помнит, нет, монсеньер сейчас в отъезде, кажется — в Бостоне; обещал, когда вернется, у нее пообедать. А может быть, Эмори навестит ее как-нибудь на этих днях?

— Я решил не терять времени, — не очень ловко начал он, входя в ее гостиную.

— Монсеньер был здесь на прошлой неделе, — с сожалением сказала миссис Лоренс. — Он тоже мечтал с вами встретиться, но забыл дома ваш адрес.

— Он уж не опасается ли, что я ударился в большевизм? — с интересом спросил Эмори.

— Ох, ему сейчас очень трудно.

— Почему?

— Из-за Ирландской республики. Он считает, что ей недостает собственного достоинства.

— В самом деле?

— Когда приезжал ирландский президент, он тоже поехал в Бостон и был чрезвычайно расстроен, потому что члены приемного комитета, когда ехали с президентом в автомобиле, все время тянулись его обнимать.

— Бедный монсеньер, я его понимаю.

— Расскажите, какие у вас остались самые сильные впечатления от пребывания в армии? Внешне вы сильно изменились.

— Это следы другой, более опустошительной битвы, — отвечал он с невольной улыбкой. — А что касается армии — что ж, я установил, что физическая храбрость во многом зависит от того, насколько физически тренирован человек. Убедился, что сам я не более и не менее храбр, чем другие, — раньше я боялся, что окажусь трусом.

— Что еще?

— Еще — вывод, что человек может выдержать что угодно, если привыкнет, и что я хорошо сдал экзамен по психологии.

Миссис Лоренс посмеялась. Эмори испытывал огромное облегчение от того, что находится в этом тихом доме на Риверсайд-Драйв, вдали от более скученных кварталов Нью-Йорка, где людям словно бы некуда выдыхать отработанный легкими воздух. Миссис Лоренс чем-то напоминала ему Беатрису — не темпераментом, но безупречной грацией и уверенностью манер. Дом, обстановка, ритуал обеда — все являло разительный контраст с тем, что он видел в поместьях богачей на Лонг-Айленде, где слуги были так назойливы, что их приходилось буквально отталкивать, или даже в более традиционных семействах, примыкавших к почтенному старому «Юнион-клубу». Он задумывался над тем, откуда взялась эта благопристойная сдержанность, это изящество, в котором ему чудилось что-то неамериканское, — было ли все это унаследовано миссис Лоренс от предков, поколениями живших в Новой Англии, или приобретено во время длительного пребывания в Италии и Испании?

После двух бокалов сотерна язык у него развязался, и, чувствуя, что к нему возвращается былое обаяние, он свободно заговорил о религии, литературе, опасных социальных тенденциях. Миссис Лоренс как будто осталась им довольна, и особенно ее заинтересовал его склад ума, а ему как раз и хотелось, чтобы людей снова привлек его ум — через какое-то время это могло стать уютным прибежищем.

— Монсеньер Дарси до сих пор считает, что вы — его новое воплощение, что в конце концов ваша вера оформится.

— Возможно, — отозвался он. — Сейчас-то я в некотором роде язычник. В моем возрасте всем, вероятно, кажется, что религия не имеет ни малейшего отношения к жизни.

Простившись с ней, он шел по Риверсайд-Драйв душевно удовлетворенный. Забавно было опять побеседовать на такие темы, как интересный молодой поэт Стивен Винсент Бене или Ирландская республика. В последние месяцы, из-за пошлых взаимных обвинений Карсона и судьи Кохалона, весь ирландский вопрос изрядно ему опротивел, а ведь было время, когда он строил свою жизненную философию именно на кельтских чертах собственного характера.

Он вдруг почувствовал, что в жизни еще много чего осталось, если только пробуждение прежних интересов не означало, что он движется вспять — вспять от самой жизни.

— Я tres 19 стар, и мне tres скучно, Том, — сказал однажды Эмори, с удобством растянувшись на кушетке у окна. В лежащем положении он всегда чувствовал себя лучше. — Ты был занятым собеседником, пока не начал писать, — продолжал он. — А теперь держишь при себе любую мысль, если есть шансы ее напечатать.

Существование снова устоялось на нормальном безвзлетном уровне. Они решили, что при известной экономии им хватит денег платить за эту квартиру, к которой Том, домоседливый, как кошка, успел привязаться. Старые английские гравюры — сцены охоты — принадлежали Тому, так же как и большой гобелен — реликвия декадентских увлечений студенческих лет, и множество опустевших подсвечников, и резного дерева стульчик в стиле Людовика XV, с которого все через минуту вскакивали от невыносимой боли в спине, — Том объяснял это тем, что сидеть приходилось на коленях у призрака мадам де Монтеспан 20, — так или иначе, именно имущество Тома обусловило их решение остаться на этой квартире.

Выходили они очень мало: изредка в театр или пообедать в «Рице» либо в Принстонском клубе. Сухой закон нанес смертельные раны обычным местам веселых сборищ; уже нельзя было заглянуть в бар отеля «Билтмор» хоть в пять, хоть в двенадцать часов, с уверенностью, что найдешь там родственные души, а танцевать с юными девицами из Нью-Джерси или со Среднего Запада в Розовом зале отеля «Плаза» ни Тома, ни Эмори не тянуло — они уже вышли из этого возраста, да к тому же и тут требовалось несколько коктейлей, «чтобы спуститься до интеллектуального уровня этих женщин», как выразился однажды Эмори, чем привел в ужас некую почтенную матрону.

От мистера Бартон Эмори получил несколько весьма неутешительных писем, — сдать дом в Лейк-Джинева оказалось нелегко, уж очень он велик, максимальной арендной платы, какую можно получить в этом году, хватит только на уплату налогов и самый необходимый ремонт; мнение поверенного сводилось к тому, что вся эта недвижимость обременительна и не нужна. Однако Эмори, даже готовый к тому, что в ближайшие три года не получит с нее ни цента, все же из каких-то сентиментальных соображений решил пока что дом не продавать.

Тот день, когда он объявил Тому, что ему скучно, мало чем отличался от других. Он встал в полдень, завтракал у миссис Лоренс и домой добрался своим любимым способом — на империале автобуса.

— А почему тебе не должно быть скучно? — зевнул Том. — Разве это не приличествует молодому человеку твоего возраста и положения?

— Так-то так, — задумчиво протянул Эмори, — но мне не только скучно. Мне беспокойно.

— Любовь и война тебя доконали.

— Ну, не знаю, — возразил Эмори. — Думается, война как таковая не оказала особенно сильного влияния ни на тебя, ни на меня, но прежние устои она, безусловно, разрушила, вроде как вытравила из нашего поколения всякий индивидуализм.

Том удивленно поднял голову.

— Да, да, — убежденно продолжал Эмори. — Может, она изо всех на свете его вытравила. О господи, как чудесно было когда-то мечтать, что я стану великим диктатором, или писателем, или религиозным или политическим вождем — а теперь даже какой-нибудь Леонардо да Винчи или Лоренцо ди Медичи не мог бы по старинке прославиться на весь мир. Жизнь стала слишком огромной и сложной. Мир так разросся, что уже не в состоянии шевельнуть собственным пальцем, а я мечтал стать таким важным пальцем...

— Я с тобой не согласен, — перебил его Том. — Люди не оказывались в таком исключительном положении уже со времен... ну, скажем, со времен французской революции. Эмори стал горячо возражать:

— Ты неправильно расцениваешь наше время. Сейчас каждый чудаков — индивидуалист на период своего индивидуализма. Вильсон был силой, только пока он кого-то представлял, а сколько раз ему пришлось идти на компромисс. Даже Фош вполнину не такая значительная фигура, как Джексон Каменная Стена. Война когда-то была самым индивидуальным занятием, а между тем популярные военные герои не пользовались авторитетом и не знали

ответственности. Гайнемер и сержант Йорк. Какому школьнику придет в голову выбрать в герои Першинга? У великого человека нет времени ни на что, кроме как быть великим.

— Так, по-твоему, героев в мировом масштабе вообще больше не будет?

— Будут — в истории, но не в жизни. Карлайлу было бы сейчас нелегко найти материал для новой главы в разделе «Герой как великий человек» 21 .

— Давай дальше. Я сегодня в настроении слушать.

— Люди сейчас так стараются верить в вождей, просто до умиления. Но стоит выдвинуться и завоевать популярность какому-нибудь борцу за реформы, или государственному деятелю, или писателю, или философу, — будь то Рузвельт, или Толстой, или Вуд, или Шоу, или Ницше, — как его смыкает прочь встречным течением уничтожающей критики. В наши дни никто не способен выдержать громкой славы. Это самый верный путь к забвению. Людям надоедает без конца слышать одно и то же имя.

— Выходит, во всем виновата пресса?

— Безусловно. Возьми хоть себя. Ты работаешь в «Новой демократии», она считается самым блестящим американским еженедельником, ее читают наши виднейшие деятели и проч. и проч. В чем же твоя задача? Да в том, чтобы как можно умнее, интереснее и язвительнее высказываться о любом человеке, учении, книге или политической теории, какие тебе поручают преподнести публике. Чем больше энергии и сарказма ты в это вкладываешь, тем больше тебе платят, тем лучше расходуется данный номер. Ты, Том Д'Инвильерс, несостоявшийся Шелли, изменчивый, верткий, умный, беспринципный, воплощаешь в себе критическую мысль нации... нет, не возражай, я знаю, о чем говорю. Я сам в университете писал рецензии на книги. И до чего же это было весело — человек честно, добросовестно пытается обосновать какую-то теорию или предложить лекарство, а ты клеймишь это как «легкое чтение для летнего времяпрепровождения». Попробуй скажи, что это не так.

Том рассмеялся, а Эмори с торжеством продолжал:

— Мы очень хотим верить. Молодые ученые стараются верить в своих предшественников, избиратели стараются верить в своих конгрессменов, страны стараются верить в своих государственных деятелей, — но они не могут верить. Слишком велика разногласия, слишком велик разноречивой нелогичной, непродуманной критики. А с газетами и вовсе дело дрянь. Богатый ретроград с тем особым хищным, стяжательским складом увы, который зовется финансовым гением, может стать владельцем газеты, а эта газета — единственная духовная пища для тысяч усталых, издерганных людей, не способных в условиях современной жизни заглатывать ничего, кроме жвачки. За два цента избиратель покупает себе политические взгляды, предрассудки и мировоззрение. Через год политическая верхушка сменяется или газета переходит в другие руки — и что же? Снова путаница, снова противоречия, внезапный натиск новых идей, их смягчают, разбавляют водичкой, потом против них начинается реакция...

Он перевел дух.

— Вот поэтому я и зарекаюсь листать что бы то ни было до тех пор, пока мои идеи либо устоятся, либо уж вовсе сгинут. У меня на душе и так достаточно грехов, не хватает еще, чтобы я забивал людям мозги пустышками в форме изящных афоризмов. Того и гляди, я бы толкнул какого-нибудь скромного, безобидного капиталиста на пошлую связь с бомбой или впутал юного невинного большевика в серьезный флирт с пулеметной лентой...

Том уже поеживался от этого пасквиля на его сотрудничество в «Новой демократии».

— Но какое это имеет отношение к тому, что тебе скучно?

Эмори считал, что самое непосредственное.

— Я-то при чем остаюсь? — спросил он. — На что я годен? Множить потомство?

Американские романы внушают, что «здоровый молодой американец» в возрасте от девятнадцати до двадцати пяти лет — существо абсолютно бесполое. А на самом деле чем он здоровее, тем это большая ложь. Единственное спасение от этого — найти какой-нибудь всепоглощающий интерес в жизни. Ну, так вот: война кончилась, писать я не могу — слишком верю в ответственность, которую берет на себя писатель, а деловая жизнь — что о ней говорить. Она не связана ни с чем, что меня когда-либо интересовало, если не считать очень

приблизительной, чисто утилитарной связи с экономикой. Но случись мне на ближайшие, лучшие десять лет моей жизни погрязнуть в конторской работе, интеллектуально это обогатило бы меня не больше, чем кинолента на индустриальную тему.

— А беллетристика? — предложил Том.

— Безнадежно. Когда я начинаю писать рассказ, меня угнетает, что я пишу, вместо того чтобы жить, — все время думаю, что жизнь-то, может быть, ждет меня в японском саду «Рица», или в Атлантик-Сити, или в трущобах Ист-Сайда. Да и вообще нет у меня к этому настоящей тяги. Я хотел быть просто нормальным человеком, но моя избранница не смогла стать на мою точку зрения.

— Найдешь другую.

— О черт! Забудь об этом думать. Ты еще скажешь, что, если бы девушка была стоящая, она бы меня дождалась? Нет, мой милый, девушка, которой действительно стоит добиваться, никого ждать не станет. Если б я думал, что найдется другая, я бы растерял последние остатки веры в человеческую природу. Развлекаться я, может быть, буду, но Розалинда — единственная на свете женщина, которая могла меня удержать.

— Ну ладно, — зевнул Том. — Я уже битый час выслушиваю твои признания. А все-таки я рад, что у тебя опять появились хоть какие-то резкие суждения.

— Да, — нехотя согласился Эмори. — И, однако, я не могу видеть счастливых семей — с души воротит.

— А счастливые семьи нарочно стараются произвести такое впечатление, — утешил его циник Том.

ТОМ В РОЛИ ЦЕНЗОРА

Бывало и так, что слушал Эмори. Это случалось, когда Том, окутанный клубами дыма, принимался со вкусом изничтожать американскую литературу. Ему не хватало слов, он захлебывался.

— Пятьдесят тысяч долларов в год! — восклицал он. — Боже мой, да кто они, кто они? Эдна Фербер, Говернор Моррис, Фанни Хербст, Мэри Робертс Рейнхарт — кто из них создал хотя бы один рассказ или роман, который еще будут помнить через десять лет? А этот Кобб — я не считаю его ни способным, ни занимательным, да и не думаю, чтобы многие его высоко ценили, разве что его издатели. Ему реклама ударила в голову. А уж эти... ах, Гарольд Белл Райт, ах, Зейн Грей...

— Они стараются по мере сил.

— Неправда, они даже не стараются. Некоторые из них умеют писать, но не дают себе труда сесть и создать хотя бы один честный роман. А по большей части они просто не умеют писать, тут я с тобой согласен. Я верю, что Руперт Хьюз старается нарисовать правдивую, широкую картину американской жизни, но стиль и угол зрения у него варварские. Эрнест Пул старается, и Дороти Кэнфильд тоже, но им мешает полное отсутствие чувства юмора; эти двое хоть пишут компактно, не рассусоливают.

Каждый писатель должен бы писать каждую свою книгу так, будто в тот день, когда он ее закончит, ему отрубят голову.

— Это как понимать, фигурально?

— Не сбивай меня! Так вот, у некоторых как будто и культура есть, и ум, и литературная хватка, но они просто не желают писать честно, а оправдываются тем, что на хорошую литературу, мол, нет спроса. Тогда почему же, скажи на милость, у Уэллса, Конрада, Голсуорси, Шоу, Беннета больше половины тиражей расходятся в Америке?

— А поэтов маленький Томми тоже не любит? Том в отчаянии воздел руки, потом дал им бессильно повиснуть и тихо застонал.

— Я сейчас пишу на них сатиру, называется «Бостонские барды и Херстовские обозреватели» 22 .

— А ну почитай, — с интересом попросил Эмори.

— Пока у меня написан только конец.

— Что ж, это очень современно. Прочти конец, если он смешной.

Том извлек из кармана сложенный лист бумаги и стал читать, делая паузы, чтобы было ясно, что это свободный стих.

Итак,
Уолтер Аренсберг,
Альфред Креймборг,
Карл Сэндберг,
Луис Унтермайер,
Юнис Тийенс,
Клара Шанафельт,
Джеймс Оппенгейм,
Максуэлл Боденгейм,
Ричард Глензер,
Шармел Айрис,
Конрад Эйкен,
Я включаю сюда ваши имена,
Чтобы вы жили,
Пусть только как имена,
В разделе «Ювенилии»
Моего полного собрания сочинений.

Эмори покатился со смеху.

— Здорово! За беспримерную наглость двух последних строк приглашаю тебя пообедать. Эмори не мог бы подписаться под огульным разносом, который Том учинял американским писателям и поэтам. Он любил и Вэчела Линдзи, и Бута Таркингтона, восхищался изощренным, хоть и неглубоким артистизмом Эдгара Ли Мастерса.

— Что я ненавижу, так это их идиотские бредни насчет «Я бог — я человек — я оседлал бурю — я видел сквозь дым — я сила жизни».

— Ужас!

— И хорошо бы американские прозаики отказались от попыток романтизировать бизнес. Никому не интересно про это читать, если только бизнес не мошеннический. Будь это интересная тема, люди читали бы биографию Джеймса Дж. Хилла 23, а не эти длиннющие конторские трагедии, где все толкуют о вреде дыма...

— А мрачность! — подхватил Том. — Вот еще один из любимых мотивов, хотя тут, надо признать, пальма первенства у русских. Наша специальность — это истории про маленьких девочек, которые ломают позвоночник, после чего их усыновляют брюзгливые старики, потому что они все время улыбаются. Можно подумать, что мы — нация неунывающих калек, а у русских крестьян одна общая цель — самоубийство.

— Шесть часов, — сказал Эмори, взглянув на часы. — Пошли, угощу тебя роскошным обедом за ювенилии твоего полного собрания сочинений.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Июль изнемог от последней особенно жаркой недели, и Эмори, снова не находя себе места, подсчитал, что прошло ровно пять месяцев с того дня, когда он впервые увидел Розалинду. Впрочем, ему уже трудно было почувствовать себя тем молодым человеком, который сошел с военного транспорта, свободный, сам себе хозяин, жаждущий окунуться в гущу жизни. Однажды вечером, когда в окна его комнаты дышал изнурительный, расслабляющий зной, он несколько часов бился над стихами, пытаясь увековечить щемящую радость тех дней.

В ночи ветра февральские летели и шлепали по стенам все сильнее, пустые мостовые

заблестели. Притихла жизнь. Под светом фонарей, как масло золотое, снег лоснился в час звезд и слякоти.

Как много взглядов снежные заплаты скрывали между слякотных прорех! Я молод был. Со мною шла тогда ты, прекраснее и совершенней всех. Полузабытые мечты впивал я из губ твоих.

Был некий привкус в воздухе полночном, звук не вставал, мертвела тишина — и жизнь вдруг прозвенела льдом непрочным... Мы были вместе... Началась весна. (На крышах быстро таяли сосульки, и город падал в обморок.)

Все наши мысли — иней среди карнизов; мы, тени, целовались в проводах — не жуткий полусмех бросает вызов, а вздох о прежних огненных годах. Все, что она любила, — в сожаленье превращено.

ЕЩЕ ЧТО-ТО КОНЧИЛОСЬ

В середине августа пришло письмо от монсеньера Дарси, — видимо, ему только что попался на глаза адрес Эмори.

«Дорогой мой мальчик!

Твое последнее письмо меня встревожило. Словно и не ты его писал. Читая между строк, я догадываюсь, что помолвка с этой девушкой не принесла тебе безоблачного счастья, и ты, я вижу, утратил романтический взгляд на жизнь, который был у тебя до войны. Ты сильно ошибаешься, если думаешь, что можно быть романтиком без религии. Иногда мне кажется, что для нас с тобой секрет успеха, какого ни на есть, заключен в мистическом элементе нашего существа: что-то вливается в нас такое, что расширяет нашу сущность, а с отливом его наша сущность съеживается; два твоих последних письма я бы назвал прямо-таки ссохшимися. Бойся потерять себя в сущности другого человека, будь то мужчины или женщины.

В настоящее время у меня гостят его высокопреосвященство кардинал О'Нийл и епископ Бостонский, поэтому мне трудно выбрать время для письма, но потом я очень хочу, чтобы ты ко мне приехал, хотя бы только на субботу и воскресенье. На этой неделе я должен съездить в Вашингтон.

Чем я буду занят дальше, еще не ясно. Строго между нами, не исключено, что в ближайшие восемь месяцев на мою недостойную голову опустится алая кардинальская шляпа. Так или иначе, мне бы хотелось иметь свой дом в Нью-Йорке или в Вашингтоне, куда ты мог бы приезжать на свободные дни.

Эмори, я очень рад, что оба мы живы; эта война вполне могла прикончить наш славный род. Но что касается брака — ты сейчас переживаешь самый опасный период своей жизни. Ты рискуешь жениться „на скорую руку, да на долгую муку“, но думаю, что этого не случится. Судя по тому, что ты пишешь о плачевном состоянии твоих финансов, теперешняя твоя мечта, разумеется, неосуществима. Однако, меряя тебя моей обычной меркой, я бы сказал, что еще в ближайшие годы тебя ждет серьезное эмоциональное потрясение.

Неприменно пиши мне. Куда это годится, что я так плохо о тебе осведомлен.

Искренне к тебе расположенный Тэйер Дарси».

А через неделю после получения этого письма их маленькое хозяйство развалилось, как карточный домик. Непосредственной причиной послужила тяжелая, видимо, неизлечимая болезнь матери Тома. И вот они свезли мебель на склад, распорядились сдать квартиру от их имени и пожали друг другу руки на Пенсильванском вокзале. Том и Эмори словно только и делали, что прощались.

Оставшись в тоскливом одиночестве, Эмори махнул на юг, надеясь поймать монсеньера в Вашингтоне. Они разминулись на два часа, и тогда, решив провести несколько дней у полузабытого престарелого дядюшки, Эмори покати по тучным полям Мэриленда в округ Рамильи. Но вместо нескольких дней он пробыл там с середины августа почти до конца сентября, потому что в Мэриленде он встретил Элинора.

Глава III: ИРОНИЯ ЮНОСТИ

Еще много лет, когда Эмори вспоминал Элино́р, ему снова слышалось, как плачет ветер, пронизывая сквознячками сердце. В ту ночь, когда они верхом поднимались в гору и холодная луна плыла сквозь тучи, он потерял еще какую-то невосполнимую часть себя, а потеряв ее, потерял и способность жалеть о ней. Можно сказать, что с Элино́р к Эмори в последний раз подкралось Зло под маской красоты, в последний раз жуткая тайна заморозила его и растерзала в клочки его душу.

С ней его воображение не знало удержу, вот почему они и поднялись на самую высокую точку в округе и смотрели, как плывет высоко в небе злая луна, — они знали, что видят друг в друге дьявола. Но сама Элино́р — или она приснилась ему? Позже затевали игру их призраки, но оба они от души надеялись, что больше не встретятся. Бесконечная ли печаль ее глаз околдовала его или собственное отражение, которое он увидел, как в зеркале, в великолепной ясности ее ума? Другого такого переживания, как Эмори, у нее не будет, и если она прочтет эти строки, то скажет: «А у Эмори не будет другого такого переживания, как я».

И не вздохнет, как не вздохнул бы и он.

Однажды Элино́р попыталась написать об этом:

Все, дорогое нам с тобой,
Мы позабудем... Смех и грусть
Растают, словно снег весной...
Мечты избудем —
Ну и пусть!

Рассвет, что пробуждая экстаз,
Гнетет свечением пустым,
И чувств, что опьяняли нас,
Не ощутим.

Нет, милый, полно, не тоскуй...
Чувств угасанью
Не перечь...
Увял последний поцелуй,
Да и молчанье
В пору встреч
Не даст по вспененным волнам
Метаться призракам былым:
Их, если и предстанут нам,
Не разглядим.

Они чуть не рассорились, потому что Эмори утверждал, что непозволительно рифмовать «угасанью» и «молчанье». И еще был у Элино́р кусок другого стихотворения, для которого она никак не могла подобрать начало:

Проходит мудрость... Хоть дано
Годам учить нас день за днем,
Но их уроки все равно
Мы не поймем.

Элинор всем сердцем ненавидела Мэриленд. Она принадлежала к старейшему из старых семейств округа Рамилы и жила с дедом в большом мрачном доме. Родилась и росла она во Франции... Но не с этого надо было начинать. Попробую начать по-другому.

Эмори скучал, как с ним всегда бывало в деревне. Он уходил один на далекие прогулки, читал кукурузным полям «Улялюм» и одобрял Эдгара По, спившегося до смерти в этой атмосфере улыбчивого благодушия. Как-то раз он отшагал несколько миль по незнакомой дороге, потом, на беду послушав совета какой-то негритянки, свернул в лес и окончательно заблудился. Пролетная гроза решила разразиться именно здесь, и, к великой его досаде, небо почернело и дождь закапал сквозь листву деревьев, сразу ставших неуютными и призрачными. Гром угрожающе заворчал вдалеке, глухими залпами стал прокатываться по лесу. Он шел напролом, надеясь выйти из лесу, и наконец сквозь сетку перепутанных веток увидел просвет между деревьями и дальше — открытое место, то и дело озаряемое молниями. Добежав до опушки, он остановился, не решаясь пуститься через поле к домику — светящейся точке вдали. Было всего половина шестого, но за десять шагов впереди ничего не было видно, только при вспышках молнии все вокруг выступало четкими пугающими очертаниями.

Внезапно слуха его коснулись странные звуки — звуки песни, и пел ее низкий, хрипловатый голос — женский голос — где-то совсем близко. Год назад он, вероятно, рассмеялся бы или задрожал, но сейчас, снедаемый беспокойством, он только стоял и слушал, давая словам проникнуть в сознание.

Les sanglots longs
Des violons
De l'automne
Blessent mon coeur
D'une langueur
Monotone.

Новая молния расколола небо, но пение продолжалось, даже не дрогнув. Певица явно была на лугу, и голос ее как будто исходил из стога сена шагах в двадцати впереди.

Потом голос умолк: умолк и зазвучал снова, — точно скорбный хорал взлетал ввысь, повисал в воздухе и падал, сливаясь с дождем.

Tout suffocant
Et bleme quand
Sonne l'heure
Je me souviens
Des jours anciens
Et je pleure... 24

— Вздумалось же кому-то в округе Рамилы, — проговорил Эмори вслух, — петь Верлена на мотив собственного сочинения, когда услышать его может только мокрый стог сена!

— Кто-то идет! — крикнул голос, ничуть не встревоженный. — Кто вы? Манфред, святой Христофор или королева Виктория?

— Я Дон Жуан! — экспромтом отозвался Эмори, стараясь перекрыть шум дождя и ветра. Из стога раздался громкий радостный смех.

— Я знаю, кто вы, вы — тот юный блондин, что любит «Улялюм», я вас по голосу узнала.

— Как мне к вам подняться? — крикнул он, подбегая к стогу, уже промокший до нитки. Из-за края стога появилась голова — было так темно, что он разглядел только черные влажные волосы и два глаза, светящихся, как у кошки.

— Надо разбежаться и прыгнуть, — отвечал голос, — а я подам вам руку... Нет, не здесь, с другой стороны.

Он послушался и, когда стал карабкаться на стог, по колено увязая в сене, маленькая белая рука протянулась ему навстречу, ухватила его руку и помогла добраться до верху.

— Вот и вы, Жуан! — громко приветствовала его обладательница влажных волос. — Без «Дона» мы обойдемся, ладно?

— У вас большой палец в точности как мой! — воскликнул он.

— А вы все держите меня за руку, это рискованно, ведь вы еще не видели моего лица.

Он поспешно выпустил ее руку.

Словно в ответ на его молитву сверкнула молния, и он жадно глянул на ту, что стояла рядом с ним на мокром сене, в десяти футах над землей. Но она закрыла лицо, и он увидел только стройную фигурку, темные, влажные стриженные волосы и маленькие белые руки с большими пальцами, которые отгибались назад, как у него.

— Присаживайтесь, — вежливо предложила она, и их снова окутал мрак. — Если сядете напротив меня в эту ямку, уступлю вам половину моего плаща. Он мне служил палаткой, пока вы так грубо не нарушили мое уединение.

— Вы сами меня позвали, — с готовностью парировал Эмори, — сами позвали и прекрасно это знаете.

— Дон Жуан всегда вот так поворачивает дело, — отвечала она, смеясь, — но я больше не буду называть вас Дон Жуаном, потому что вы блондин, даже рыжеватый. Лучше прочтите мне «Улялюм», а я буду Психеей, вашей душой.

Эмори вспыхнул и порадовался, что его не видно за пеленой ветра и дождя. Они сидели друг против друга в небольшой выемке в сене, частично защищенные плащом. Эмори изо всех сил старался разглядеть Психею, но молний, как назло, не было, и оставалось только ждать.

Боже мой! А что, если она совсем не красивая, что, если она — сорокалетняя ученая женщина, о господи, что если она сумасшедшая? Но он тут же отбросил эту мысль как недостойную. Провидение ниспослало ему девушку, чтобы было кому его позабавить, как ниспосылало Бенвенуто Челлини мужчин, чтобы было кого убить, а он гадает, не сумасшедшая ли она, только потому, что она так пришлась к его настроению.

— Нет, — сказала она.

— Что нет?

— Не сумасшедшая. Я же не решила, что вы сумасшедший, когда в первый раз вас увидела, значит, и с вашей стороны нечестно так обо мне думать.

— Но как вы могли...

С начала до конца своего знакомства Эмори и Элинора могли поговорить о чем-то, потом замолчать, продолжая об этом думать, а через десять минут заговорить снова, и оказывалось, что мысль у обоих за это время работала одинаково и достигла одинаковой точки, в которой другие не усмотрели бы никакой связи с предыдущей.

— Скажите мне, — попросил он, взволнованно подавшись вперед, — откуда вы знаете про «Улялюм» и какого цвета у меня волосы? Как вас зовут? Что вы тут делали? Отвечайте сразу про все.

Молния вдруг сверкнула невероятно ярко, и он увидел Элинора, впервые глянул в эти ее глаза. Она была прекрасна — бледная кожа цвета мрамора при свете звезд, тонкие брови и глаза, блеснувшие двумя изумрудами в ослепительной вспышке. Колдунья, лет девятнадцати, быстрая и томная, и над верхней губой — узкая выбеленная полоска, очаровательное свидетельство женской слабости. Он тихо ахнул и откинулся на сено.

— Теперь вы меня видели, — сказала она спокойно, — и сейчас, вероятно, скажете, что мои зеленые глаза горят у вас в мозгу.

— Какого цвета у вас волосы? — спросил он тревожно. — Они ведь стриженные?

— Да, стриженные. А какого цвета — не знаю, — продолжала она задумчиво. — Меня столько

мужчин об этом спрашивали. Наверно, какого-нибудь среднего цвета. На мои волосы никто не заглядывался, а вот глаза у меня красивые. Можете сказать что угодно, а я все равно знаю, глаза у меня красивые.

— Ответь мне на вопросы, Маделина.

— Я уж их все не помню... и зовут меня, между прочим, не Маделина, а Элинон.

— Как я сразу не догадался. Вы и на вид Элинон, у вас элиноновская внешность... ну, вы меня понимаете. В наступившем молчании они слушали дождь...

— За шиворот затекает, собрат помешанный, — сообщила она наконец.

— Ответьте на мои вопросы.

— Хорошо. Итак: фамилия — Сэведж, имя — Элинон, живу в большом старом доме, отсюда мила по дороге; ближайший родственник, которого в случае чего известить, — дед, Рамилли Сэведж; рост — пять футов четыре дюйма, номер на крышке часов — триста семь тысяч семьсот тринадцать, нос с изящной горбинкой, нрав — бесовский...

— А меня, — перебил ее Эмори, — где вы меня видели?

— Ах, вы, значит, один из тех мужчин, — отвечала она надменно, — для которых единственная интересная тема разговора, — они сами. Извольте, милейший, я как-то на прошлой неделе загорала за изгородью и слышу — по дороге идет человек и говорит таким приятно-самодовольным тоном:

Ночь захла, рассвет неизбежный

Предвещало движенье светил,(говорит)

Вдоль аллеи к нам призрачный, нежный (говорит)

Возникающий свет доходил.

Ну, я, конечно, высунулась из-за изгороди посмотреть, но вы, неизвестно почему, пустились бежать, так что я увидела только ваш прелестный затылок. Ага, говорю, вот мужчина, по которому многие девушки вздыхают, и так далее в лучшем ирландском...

— Понятно, — перебил Эмори, — теперь давайте дальше о себе.

— Хорошо. Я иду по жизни, доставляя людям сильные ощущения, сама же таковых почти не испытываю, разве что выдумую себе кого-нибудь в такой вечер, как сегодня. Смелости, чтобы пойти на сцену, у меня бы хватило, но нет энергии. Чтобы писать книги, нужно терпение, его у меня тоже нет. И я ни разу не встретила мужчину, за которого могла бы выйти замуж. Впрочем, мне еще только восемнадцать лет.

Гроза понемногу стихала, лишь ветер дул с прежним нездешним упорством, и стог степенно раскачивался из стороны в сторону. Эмори был словно в трансе. Он чувствовал, что каждое мгновение бесценно. Никогда еще он не встречал такой девушки, никогда уже она не покажется ему в точности такой же. Он совсем не ощущал себя актером на сцене, что было бы естественно в столь необычной ситуации, — нет, скорее он чувствовал, что вернулся домой.

— Я только что пришла к важному решению, — сказала Элинон, опять помолчав, — потому я и здесь, и это, кстати, ответ на еще один ваш вопрос. Я решила, что не верю в бессмертие.

— Только-то? Как банально!

— Очень, — согласилась она, — и, однако же, огорчительно до противности. Я пришла сюда, чтобы промокнуть — стать как мокрая курица. Мокрые куры всегда отличаются ясностью мышления, — заключила она.

— Продолжайте, — вежливо сказал Эмори.

— Ну, темноты я не боюсь, так что надела плащ и резиновые сапоги и вышла из дому. Понимаете, раньше я всегда боялась сказать, что не верю в бога, — вдруг меня за это поразит молния, — но вот она я, здесь, и молния меня, конечно, не поразила, но главное то, что сегодня мне было не страшнее, чем в прошлом году, когда я верила в «христианскую науку» 25 . Так что теперь я поняла, что я — материалистка и такая же вещь, как вот это сено,

а тут из леса появились вы, стали на опушке и трясетесь от страха.

— Это уже нахальство! — возмущенно вскричал Эмори. — Чего же мне было пугаться?

— самого себя! — крикнула она так громко, что он подскочил. Она смеясь захлопала в ладоши.

— Друзья, друзья! Убейте совесть, как я! Элино́р Сэведж, материолог, не бойся, не дрожи, не опаздывай...

— Но без души мне никак нельзя, — возразил он. — Не могу я быть только рациональным, а скопищем молекул быть не хочу.

Она наклонилась к нему, впиваясь в его глаза своим горящим взглядом, и прошептала с какой-то романтической одержимостью:

— Так я и думала, Жуан, этого и опасалась, — вы sentimentalны, не то что я. Я — романтическая материалисточка.

— Я не sentimentalен. Я романтик не хуже вас. Ведь sentimentalные люди, как известно, воображают, что мгновение можно продлить, а романтики тешат себя уверенностью, что нельзя. (Это различие Эмори проводил не впервые.)

— Парадоксы? Я пошла домой, — сказала она с грустью. — Давайте слезать, до развилки дойдем вместе.

Они стали осторожно спускаться со своего нашествия. Она не приняла его помощи — сделав ему знак отойти, грациозно плюхнулась в мягкую грязь и посидела так, смеясь над собой. Потом вскочила, взяла его за руку, и они пустились по мокрому лугу, перепрыгивая с кочки на кочку. Каждая лужица словно искрилась небывалой радостью — взошла луна, и гроза умчалась на запад Мэриленда. Всякий раз, что Элино́р касалась его, он холодел от страха, как бы не выронить волшебную кисть, которой воображение расцвечивало ее в сказочные краски. Он поглядывал на нее краем глаза, как и позже, на их прогулках, — она была прелесть и безумие, и он жалел, что ему не суждено до окончания дней сидеть на стоге сена, глядя на жизнь ее зелеными глазами. В тот вечер он был вдохновенным язычником, и, когда она серым призраком растворилась вдали на дороге, тихое пение поднялось от земли и сопровождало его до самого дома. Всю ночь в окно его комнаты залетали и кружились летние бабочки; всю ночь огромные звуки-призраки плыли в таинственном хороводе сквозь серебряную пыль, а он слушал, лежа без сна в светящейся тьме.

СЕНТЯБРЬ

Эмори выбрал травинку и стал сосредоточенно ее жевать.

— Я никогда не влюбляюсь в августе и в сентябре, — объявил он.

— А когда?

— На Рождество или на Пасху. Я чту церковные праздники.

— Пасха! — Она сморщила нос. — Фу! Весна в корсете.

— По-вашему, весне от Пасхи скучно? Пасха заплетает волосы в косы, носит строгий костюм.

— Стяни стопы ремнями сандалий,
Чтоб ярче при беге они сияли,

— негромко процитировала Элино́р, а потом добавила: — Для осени День всех святых, наверно, лучше, чем День благодарения.

— Гораздо лучше. А для зимы неплох сочельник, но лето...

— У лета нет своего праздника, — сказала она. — Летняя любовь не для нас. Люди столько раз пробовали, что самые эти слова вошли в поговорку. Лето — это всего лишь невыполненное обещание весны, подделка вместо тех теплых блаженных ночей, о которых мечтаешь в апреле. Печальное время жизни без роста... Время без праздников.

— А Четвертое июля? — шутливо напомнил Эмори.

— Не острите! — сказала она, уничтожая его взглядом.

— Так кто же мог бы выполнить обещание весны? Она минуту подумала.

— Ну, например, провидение, если бы оно существовало, этакое языческое провидение... Вам бы следовало быть материалистом, — добавила она ни к селу ни к городу.

— Почему?

— Потому что вы похожи на портреты Руперта Брука.

В какой-то мере Эмори пытался играть Руперта Брука все время, что длилось их знакомство. Его слова, его отношение к жизни, к Элино́р, к самому себе — все это были отзвуки литературных настроений недавно умершего англичанина. Часто Элино́р сидела на траве, и ветер лениво играл ее короткими волосами, а хриловатый ее голос пробегал по всей шкале от Грантчестера до Ваикики. В чтение стихов она вкладывала подлинную страсть. Они острее ощущали свою близость, не только духовную, но и физическую, когда читали, чем когда она лежала в его объятиях, а это тоже бывало часто, потому что они почти с самого начала были словно бы влюблены. Но был ли Эмори еще способен на любовь? Он мог, как всегда, за полчаса проиграть всю гамму эмоций, но даже в минуты, когда оба давали волю воображению, он знал, что ни он, ни она не могут любить так, как он любил однажды, — поэтому, вероятно, они и обратились к Бруку, Суинберну, Шелли. Спасение их было в том, чтобы придать всему красоту, законченность, образное богатство, протянуть крошечные золотые щупальца от его воображения к ее и тем заменить большую, глубокую любовь, которая была где-то совсем близко, но оставалась неуловимой, как сон.

Одно стихотворение — «Торжество времени» Суинберна — они читали снова и снова, и одно четверостишие из него звучало потом в его памяти всякий раз, когда теплыми летними ночами он видел светляков среди темных деревьев и слышал заунывный хор лягушек.

Потом из мрака словно появлялась Элино́р и стояла с ним рядом, и он слышал ее хриловатый голос, напоминающий по тембру заглушенные барабаны:

Стоит ли часа или слезы

Думать про смытое бегом времен:

Про стебель, сломанный гневом грозы,

Несвершенный подвиг, несбывшийся сон?

Через два дня после первой встречи состоялось их официальное знакомство, и тетка рассказала ему историю Элино́р. Жили они сейчас вдвоем: дед и внучка. Элино́р провела юность во Франции с матерью, беспокойной особой, которую Эмори представил себе в чем-то очень похожей на Беатрису, а после смерти матери приехала в Америку. Сперва она поселилась у дяди-холостяка в Балтиморе и там, семнадцати лет, пожелала приобщиться к светской жизни. Всю зиму она веселилась напропалую, а в марте прибыла в деревню, бурно рассорившись с благопристойными балтиморскими родичами, в ярости восставшими против ее поведения. Была обнаружена легкомысленная компания — члены ее распивали коктейли в лимузинах и держались до неприличия снисходительно и покровительственно по отношению к старшим — и Элино́р, как выяснилось, с дерзостью, сильно отдающей парижскими бульварами, завлекла многих невинных юношей, только что со школьной скамьи, на пути беспардонной богемы. Когда сведения об этом дошли до ее дядюшки, успевшего забыть, что и сам он был повесой, только в более ханжескую эпоху, — разразился семейный скандал, после чего Элино́р, укрощенная, но негодующая и несмирившаяся, нашла пристанище у деда, пребывавшего в деревне на грани старческого слабоумия. Вот все, что было сообщено Эмори; остальное Элино́р рассказала ему сама, но уже много позже.

Они вместе ходили купаться, и Эмори, лениво покачиваясь на воде, выключал из сознания все мысли, оставляя только грезу о туманной стране, где солнце вечно струится сквозь пьяную от ветра листву. Зачем думать, терзаться, что-нибудь делать? Нет, только плавать,

плескаться, нырять здесь, на краю времени, когда летние дни становятся все короче. Пусть дни бегут: печаль, воспоминания, боль — все это так, и, прежде чем опять к ним приобщиться, так хочется побыть здесь, безвольным и молодым.

Порой Эмори бывало обидно, что его жизнь из ровного продвижения по дороге, уходящей вдаль среди единого стройного ландшафта, превратилась в ряд быстро сменяющихся, не связанных между собой сцен — два года пота и крови, внезапная, нелепая мечта об отцовстве, которую разбудила в нем Розалинда, получувственная, полуневрастеническая окраска этой осени с Элинором. Он думал о том, сколько времени — а где его взять? — потребуется на то, чтобы наклеить эти бесформенные картинки на место в альбоме его жизни. Точно он на полчаса своей молодости уселся за банкетный стол и пытается насладиться сменой роскошных, усладительных блюд.

Он давал себе туманные обещания когда-нибудь спаять все это воедино. Ему долго казалось, что его то несет вперед потоком любви или увлечения, то прибывает в заводь, и в заводь не хочется думать, хочется только, чтобы со временем новая волна подхватила и понесла дальше.

— Изверившееся, умирающее лето и наша любовь, как они слитны, — печально сказала Элиносор, когда они однажды, накупавшись, лежали на берегу.

«Прощальный отблеск наших сердец...» — Он осекся.

— Скажи мне, — попросила она, — у нее волосы были светлые или темные?

— Светлые.

— Она была красивее меня?

— Не знаю, — отрезал он.

Как-то поздно вечером они гуляли в саду, и взошла луна, разливая вокруг густое великолепие, так что сад превратился в сказочную страну, где Эмори и Элиносор, воплощение вечной красоты, были как смутные тени в причудливой любовной игре. Из лунного света они шагнули в тьму беседки, увитой диким виноградом, где запахи были так жалобны, что казались звуками музыки.

— Зажги спичку, — шепнула она, — я хочу тебя видеть.

Чирк! Вспых!

Ночь и корявые стволы напоминали декорацию, и в том, что он здесь с Элиносор, ускользающей, нереальной, Эмори почудилось что-то знакомое. Почему это, подумал он, только прошлое кажется странным и невероятным? Спичка погасла.

— Темно, как в колоде.

— Теперь мы — только голоса, — тихо проговорила Элиносор. — Слабые, одинокие голоса. Зажги еще спичку.

— Та была последняя, больше нет. И вдруг он схватил ее в объятия.

— Ты моя, ты же знаешь, что моя! — воскликнул он страстно...

Лунный свет прокрался сквозь лозы и слушал... Светляки ловили их шепот, словно просили его оторваться взглядом от ее глаз.

ЛЕТО КОНЧИЛОСЬ

— «Все тишиной обволокло, и под луною ветерок почил. В озерах потаенных спит вода, как льдистое стекло, что золотой подарок погребло», — декламировала Элиносор деревьям, тонкими штрихами расчертившим ночь. — Жутко здесь, правда? Поедем прямо лесом, искать потаенные озера, только смотри, чтобы лошадь не споткнулась.

— Второй час ночи, — возразил он, — тебе нагорит. Да и в лошадях я мало что смыслю, не сумею потом расседлать в полной темноте.

— Замолчи, старый дурак, — прошептала она, неожиданно всплыв, и тут же, перегнувшись в седле, лениво похлопала его по руке стеком. — Своего одра можешь оставить у нас в конюшне, я его завтра пришлю.

— Но на этом одре дядя в семь часов утра должен отвезти меня на станцию.

— Да перестань ты брюзжать. И помни: тебе свойственна нерешительность, это мешает тебе

стать украшением моей жизни.

Эмори подъехал к ней вплотную и схватил ее за руку.

— Скажи, что я — украшение твоей жизни, сейчас же скажи, а не то перетащу тебя к себе и будешь сидеть сзади.

Она с улыбкой взглянула на него и замотала головой.

— Давай! То есть нет, не надо. И почему это все самое интересное связано с неудобствами? Война, путешествия, лыжи в Канаде. Кстати, мы скоро поднимемся на Харперов обрыв. Кажется, в нашей программе это назначено на пять часов.

— Вот бесенок, — проворчал Эмори. — Ты мне всю ночь не дашь отдохнуть, придется отсыпаться в поезде, как иммигранту.

— Тс! Кто-то идет по дороге. Исчезаем. Урра!

С этим воплем, от которого запоздалого путника наверняка пробрала дрожь, она направила лошадь в чашу, и Эмори осторожно свернул за ней следом, как следовал за ней изо дня в день вот уже три недели.

Лето кончилось, но все эти последние недели он наблюдал, как Элино́р, легкий грациозный Манфред, воздвигает себе интеллектуальные и психологические пирамиды, упивается своими фантазиями, как малый ребенок, и за обеденным столом вместе с ним сочиняет стихи.

Когда ликующий порыв преобразил их бытие, он, зачарованный, решив, что должен помнить мир ее, любовь, и смерть зарифмовал с ее глазами... «Времена над ней не властны!» — он вскричал, но все же умерла она с его дыханьем. Красота ушла, как на заре туман...

Живет искусство — не уста, живут стихи — не стройный стан...

«Будь мудр, начав слагать сонет, не торопи слова певца». Пусть лжи в моих признаньях нет, пусть был правдив я до конца при восхваленье красоты, но беспощаден лё́т годин, и не поверит мир, что ты была прекрасна день один.

Он написал это однажды, размышляя о том, как холодно мы относимся к «Смуглой леди сонетов» и как помним ее совсем не такой, какой великий поэт хотел ее обессмертить. Ибо ясно, что если Шекспир мог писать с таким божественным отчаянием, значит, он хотел, чтобы эта женщина осталась жить в веках... а теперь она нам, в сущности, не интересна... И какая ирония! Если бы не женщина, а поэзия стояла для него на первом месте, сонет был бы не более чем откровенной подражательной риторикой и через двадцать лет никто его уже не читал бы...

Это было последнее в его жизни свидание с Элино́р. Наутро он уезжал в Нью-Йорк, и они уговорились совершить небольшую прощальную прогулку верхом при холодном лунном свете. Она сказала, что ей хочется поговорить, может быть, в последний раз в жизни показать себя разумным существом (она имела в виду — всласть попозировать). И вот они свернули в лес и полчаса ехали молча, только время от времени она шепотом произносила «Черт!», зацепившись за докучливую ветку, — произносила с чувством, недоступным никакой другой девушке. Потом стали подниматься к Харперову обрыву, пустив усталых лошадей шагом.

— Господи, как тут тихо! — шепнула Элино́р. — Гораздо пустыннее, чем в лесу.

— Ненавижу лес! — сказал Эмори, передернувшись. — И вообще всякую листву и кусты ночью. Здесь так просторно и дышится легче.

— Долгий подъем по долгому склону.

— И холодная луна катит навстречу свое сияние.

— И самое главное — ты и я.

Было очень тихо. По прямой дороге, ведущей к краю обрыва, и вообще-то мало кто ездил. Лишь кое-где негритянская хижина, серебристая в дробящемся о камни лунном свете, нарушала однообразие голого плоскогорья, позади чернела опушка — темная глазурь на белом торте, впереди — высокое, ясное небо. Стало еще холоднее, так холодно, что все теплые ночи словно выветрились из памяти.

— Кончилось лето, — тихо сказала Элино́р. — Слышишь, как наши лошади стучат копытами: тук-тук-тук. С тобой так бывало, что когда поднимается температура, все звуки сливаются в такое вот «тук-тук-тук», кажется, оно может звучать до скончания века. Вот так я себя и

сейчас чувствую — старые лошади копытами: тук-тук. Наверно, только это и отличает нас от лошадей и часов. Человек, если будет жить под «тук-тук-тук», непременно свихнется.

Ветер усилился. Элинор плотно запахнула в накидку и поежилась.

— Очень озябла? — спросил Эмори.

— Нет. Я думаю о себе, о своей черной сути, самой подлинной, с изначальной честностью, которая только и не даст мне стать безнадежной грешницей, потому что заставляет признавать собственные грехи.

Они ехали по краю обрыва, и Эмори глянул вниз. Там, на глубине ста футов, чернела речка, четкая линия, прерываемая бликами на быстрой воде.

— Гадостный мир! — внезапно взорвалась Элинор. — И самое скверное в нем — это я. Господи, почему я не мужчина? Почему я не дура? Вот ты — ты глупее меня, не намного, но все-таки, а волен резвиться, пока не наскучит, а потом переменить обстановку и снова резвиться, волен развлекаться с девушками, не запутываясь в сети эмоций, волен думать что угодно, и никто тебя не осудит. А я — ума у меня хоть отбавляй, но я прикована к тонущему кораблю неотвратимого замужества. Мне бы надо родиться на сто лет позже, а сейчас — что меня ждет? Придется выходить замуж, ничего не поделаешь. А за кого? Для большинства мужчин я слишком умна, а между тем, чтобы привлечь их внимание, вынуждена спускаться до их уровня, тогда они хоть получают удовольствие, могут отнестись ко мне покровительственно. С каждым годом у меня остается все меньше шансов встретить мужчину без изъянов. И выбирать я могу от силы в двух-трех городах, ну, и, конечно, только в своем кругу.

— Понимаешь, — она опять перегнулась к нему, — я люблю умных мужчин, и красивых, и, конечно, незаурядных. А что такое секс — это, дай бог, один человек из пятидесяти хотя бы смутно понимает. Фрейд и прочее — это мне все известно, но все-таки свинство, что всякая настоящая любовь — на девяносто пять процентов страсть плюс щепотка ревности. — Она умолкла так же неожиданно, как начала.

— Ты, конечно, права, — согласился Эмори. — Это какая-то неприятная, неодолимая сила, и она — подоплека всего остального. Словно актер, который демонстрирует тебе свою технику... погоди, дай додумать...

Он помолчал, подыскивая метафору. Они повернули и ехали теперь по дороге футах в пятидесяти от обрыва.

— Понимаешь, каждому нужно набрасывать на это какое-то покрывало. Мелкие умишки — второе сословие, по Платону, — те пускают в ход остатки рыцарской романтики, разбавленной викторианской чувствительностью; а мы, претендующие на высокую интеллектуальность, притворяемся, будто видим в этом другую сторону своей сущности, ничего общего не имеющую с нашим замечательным разумом. Мы притворяемся, будто самый факт, что мы это понимаем, гарантирует от опасности попасть к нему в рабство. Но на самом-то деле секс таится в самой сердцевине наших чистейших абстракций, так близко, что загораживает вид... Вот сейчас я могу поцеловать тебя и поцелую. — Он потянулся к ней, но она отстранилась.

— Не могу. Не могу я сейчас с тобой целоваться. У меня организация тоньше.

— Не тоньше, а глупее, — заявил он раздраженно. — Ум — не защита от секса, так же как и чувство приличия.

— А что защита? — вспыхнула она. — Католическая церковь? Максимум Конфуция?

Эмори от удивления не нашелся что ответить.

— В этом, что ли, твоя панацея? — крикнула она. — Сам ты старый ханжа, и больше ничего. Тысячи злующих священников треплются насчет шестой и девятой заповеди, призывая к покаянию кретинов итальянцев и неграмотных ирландцев. Все это покрывала, маски, сантименты, духовные румяна, панацеи. Говорю тебе, бога нет, нет даже абстрактного доброго начала, каждый должен сам для себя до всего додумываться, правда — вот она, за высоким белым лбом, таким, как у меня, а ты по своей ограниченности не желаешь это признать. — Она выпустила поводья и кулачком погрозила звездам. — Если бог есть, пусть убьет меня!

— Типичные рассуждения атеистов о божестве, — резко сказал Эмори.

От кощунственных слов Элинора его материализм, и всегда-то непрочная оболочка, затрещал по всем швам. Она это знала, и то, что она знает, бесило его.

— И подобно большинству интеллигентов, которым при жизни религия только мешает, — продолжал он холодно, — подобно Наполеону и Оскару Уайльду и прочим людям твоего склада, на смертном одре ты будешь со слезами призывать священника.

Элинора резко осадилась на лошади, и Эмори, догнав ее, тоже остановился.

— Ты так думаешь? — голос ее прозвучал до того странно, что он испугался. — Ну так гляди! Сейчас я прыгну с обрыва. — И не успел он опомниться, как она рывком повернула лошадь и во весь опор понеслась к краю плато.

Он бросился вслед — тело как лед, нервы гудят набатным звоном. Остановить ее нечего и думать. Луну скрыло облако, лошадь не заметит опасности. Но не доезжая футов десяти до края, Элинора с пронзительным воплем бросила тело вбок, грохнулась наземь и, два раза перевернувшись, застыла в кустарнике в пяти шагах от обрыва. Лошадь с отчаянным ржанием исчезла из глаз. Он подбежал к Элиноре и увидел, что глаза у нее открыты.

— Элинора! — крикнул он.

Она не ответила, но губы шевельнулись, и глаза вдруг наполнились слезами.

— Элинора, ты расшиблась?

— Кажется, нет, — сказала она едва слышно и заплакала. — Лошадь... насмерть?

— О господи, конечно.

— Ой, — простонала она, — я ведь тоже хотела... я думала...

Он бережно помог ей подняться, посадил на свою лошадь. Так они пустились домой — Эмори вел лошадь, а Элинора, склонившись на луку, горько рыдала.

— Я ведь не совсем нормальная, — выговорила она с усилием. — Я уже два раза такие вещи проделывала. Когда мне было одиннадцать лет, мама помешалась, по-настоящему, была буйно помешанная. Мы тогда жили в Вене...

Всю дорогу она, запинаясь, рассказывала о себе, и любовь в сердце Эмори медленно убывала вместе с луной. У дверей ее дома они по привычке чуть не поцеловались, но она не кинулась ему на шею, да и он не раскрыл ей объятий, как было бы неделю назад. Минуту они постояли ненавидя друг друга с лютой печалью. Но Эмори и раньше любил в Элинору самого себя и теперь ненавидел лишь зеркало. В бледном рассвете их фантазии усыпали землю, как битое стекло. Звезды давно погасли, только ветер еще вздыхал, не громко, с перерывами... но обнаженные души — кому они нужны? — и вскоре Эмори зашагал к своему дому, готовый с восходом солнца встретить новый день.

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЭЛИНОРА ПРИСЛАЛА ЭМОРИ НЕКОЛЬКО ЛЕТ СПУСТЯ

Здесь, земнородные, мы над журчанием водным,
Тем, чья беспечная музыка света полна,
День обнимали со смехом лучисто-свободным...
Здесь нам удобно шептаться и ночь не страшна.
Здесь мы вдвоем... Красотой ли с величием мы были
Вместе увенчаны вольною летней порой?
Рваные тени листвы на тропе мы любили
И гобелены прозрачные дали немой.

Это был день... А а ночи преданье иное —
Бледной, как сон, в карандашной штриховке ветвей:
Призраки звезд нам шептали о дивном покое,
Славы велели не ждать и не думать о ней.
Звезды твердили о вере, что гибнет с рассветом...
Юность — медяк, ею куплены чары луны.
Смысл и порыв ощущали с тобой мы лишь в этом,

Эти проценты мы были июню должны.

Здесь мы, у струй, что о прошлом расскажут едва ли
То, что не следует знать, и, мечты углубя,
Молвят, что свет — только солнце... Но воды молчали...
Кажется, вместе мы... Как я любила тебя!
Что было прошлую ночью, в час гибели лета?
К дому что нас потянуло в вечерних тенях?
Кто там из мрака, оскалась, уставился где-то?
Ах, как ты, спящий, метался! Объял тебя страх.

Что ж... Мы прошли... Мы теперь обратились в преданье —
Метеоритов чудной искривленный металл —
И подменило навеки меня мирозданье,
Ты же, усталости чуждый, смертельно устал.
Страх — это зов... Безопасность нужна земнородным...
Мы — голоса лишь и лица, навеки бледны...
Шепчется полулюбовь над журчанием водным...
Юность — медяк, ею куплены чары луны.

СТИХИ, КОТОРЫЕ ЭМОРИ ПОСЛАЛ ЭЛИНОР, ОЗАГЛАВЛЕННЫЕ «ЛЕТНЯЯ ГРОЗА»

Звук песни, дуновенье ветерков,
И чей-то легкий смех в дали немой,
И дождь, и над полями чей-то зов...
На солнце туча бурая нашла
И, трепеща, скликает за собой
Сестер. В деревьях — крыльям нет числа.
Тень промелькнула — это голубок...
И сквозь долину, по ее стволам
Скользит на темную грозу намек —
То дух, присущий высохшим морям,
Чуть слышный гром... О ливень и туман,
Вам снова бы чадру судьбы сорвать!
Власы ей взвихри, бурный ураган!
Я ожидаю Вас! И вот опять
Меня захлестывает все страшней
Нагромождение грозы и мглы.
Когда-то были все дожди нежней,
Когда-то были все ветра теплы...
И ты идешь в тумане... Меж кудрей
Сверкающие капли, на губах —
Что старше делает тебя и злей —
Надрыв иронии, веселый страх.
Ты, словно призрак, обгоняешь дождь,
Идешь в лугах, где мертвые мечты,
Где мертвая любовь, и листья рощ
Мертвы, как сон, и дымкой залиты...
(Ползет чуть слышный шепот в темноте,

Деревья молкнут.) А ночная мгла
Прочь сорвала хитон промокший дня...
Скользнула по холмам и размела
По долу кудри... Сумрак воцарен...
Деревья стихли... все молчит... покой...
О тьма... сиянье будущих времен...
И чей-то легкий смех в дали немой...

Глава IV: ВЫСОКОМЕРНОЕ САМОПОЖЕРТВОВАНИЕ

Атлантик-Сити. К концу дня Эмори шел по пешеходной эстакаде над набережной, убаюканный однообразным шумом вечно сменяющихся волн, вдыхая чуть похоронный запах соленого ветра. Море, думал он, хранит память о прошлом крепче, чем изменчивая земля. Оно все еще шепчет о ладьях викингов, что бороздили океан под черными крыльями-флагами, об английских дредноутах — серых оплотах цивилизации, что в черном июльском тумане сумели выйти в Северное море.

— Да это Эмори Блейн!

Эмори глянул вниз, на мостовую, где только что остановился низкий гоночный автомобиль и за ветровым стеклом расплылась в улыбке знакомая физиономия.

— Спускайся к нам, бродяга! — крикнул Алек.

Эмори ответил и, спустившись по деревянной лестнице, подошел к машине. Все это время они с Алеком изредка виделись, но между ними преградой стояла Розалинда. Эмори это огорчало, ему очень не хотелось терять Алека.

— Мистер Блейн, знакомьтесь: мисс Уотерсон, мисс Уэйн, мистер Талли.

— Очень приятно.

— Эмори, — радостно возгласил Алек, — полезай в машину, мы тебя свезем в одно укромное местечко и дадим кое-чего глотнуть.

Эмори обдумал предложение.

— Что ж, это идея.

— Джилл, подвинься немножко, получишь от Эмори обворожительную улыбку.

Эмори втиснулся на заднее сиденье, рядом с разряженной пунцовогубой блондинкой.

— Привет, Дуглас Фербенкс, — сказала она развязно. — Для моциона гуляете или ищете компанию?

— Я считал волны, — невозмутимо ответил Эмори. — Моя специальность — статистика.

— Хватит заливать, Дуг.

Доехав до какого-то безлюдного переулочка, Алек затормозил в черной тени домов.

— Ты что тут делаешь в такой холод, Эмори? — спросил он, доставая из-под меховой полости кварту виски.

Эмори не ответил — он и сам не мог бы сказать, почему его потянуло на взморье. Вместо ответа он спросил:

— А помнишь, как мы на втором курсе ездили к морю?

— Еще бы! И ночевали в павильоне в Эсбери-Парк...

— О господи, Алек, просто не верится, что ни Джесси, ни Дика, ни Керри уже нет в живых. Алек поехался.

— Не говори ты мне об этом. Осень, холод, и без того тошно.

— И правда, — подхватила Джилл, — этот твой Дуг не очень-то веселый. Ты ему скажи, пусть хлебнет как следует. Когда еще такой случай представится.

— Меня вот что интересует, Эмори, ты где обретаешься?

— Да более или менее в Нью-Йорке.

— Нет, я имею в виду сегодня. Если ты еще нигде не устроился, ты мог бы здорово меня выручить.

— С удовольствием.

— Понимаешь, мы с Талли взяли номер у Ранье — две комнаты с ванной посередине, а ему нужно вернуться в Нью-Йорк. Мне переезжать не хочется. Вопрос: хочешь занять вторую комнату?

Эмори согласился с условием, что водворится сейчас же.

— Ключ возьмешь у портье, номер на мое имя.

И Эмори, поблагодарив за приятную прогулку и угощение, решительно вылез из машины и не спеша зашагал обратно по эстакаде к отелю.

Опять его прибило в заводь, глубокую и неподвижную, не хотелось ни писать, ни работать, ни любить, ни развратничать. Впервые в жизни он почти мечтал о том, чтобы смерть поглотила его поколение, уничтожив без следа их мелкие страсти, усилия, взлеты. Никогда еще молодость не казалась так безвозвратно ушедшей, как теперь, когда по контрасту с предельным одиночеством этой поездки к морю вспоминалась та бесшабашно веселая эскапада четырехлетней давности. То, что в тогдашней жизни было повседневностью — крепкий сон, ощущение окружающей красоты, сила желаний — улетело, испарилось, а оставшиеся пустоты заполняла лишь бескрайняя апатия.

«Чтобы привязать к себе мужчину, женщина должна будить в нем худшие инстинкты. Вокруг этого изречения почти всегда строилась его бессонница, а бессонница, он чувствовал, ожидала его и сегодня. Мысль его уже начала разыгрывать вариации на знакомую тему. Неуемная страсть, яростная ревность, жажда овладеть и раздавить — вот все, что осталось от его любви к Розалинде, все, что было уплачено ему за утрату молодости — горькая пилюля под тонкой сахарной оболочкой любовных восторгов. У себя в комнате он разделся и, закутавшись в одеяло от холодного октябрьского воздуха, задремал в кресле у открытого окна.

Вспомнились прочитанные когда-то стихи:

О сердце, честен был всегда твой труд.
В морских скитаньях годы зря идут...

Но не было сознания, что годы прожиты зря, и не было связанной с ним надежды. Жизнь просто отвергла его.

«Розалинда, Розалинда!» Он нежно выдохнул эти слова в полумрак, и теперь комната наполнилась ею; соленый ветер с моря увлажнил его волосы, краешек луны обжег небо, и занавески стали мутные, призрачные. Он уснул.

Проснулся он не скоро. Стояла глубокая тишина. Одеяло сползло у него с плеч, кожа была влажная и холодная на ощупь.

Потом шагах в десяти от себя он уловил напряженный шепот.

Он застыл в кресле.

— И чтобы ни звука! — говорил Алек. — Джилл, поняла?

— Да. — Чуть слышное, испуганное. Они были в ванной.

Потом слуха его достигли другие звуки, погромче, из коридора. Неясные голоса нескольких мужчин и негромкий стук в дверь. Эмори сбросил одеяло и подошел к двери в ванную.

— Боже мой! — расслышал он голос девушки. — Придется тебе впустить их!

— Шш.

Тут начался упорный настойчивый стук в дверь, ведущую к Эмори из коридора, и одновременно из ванной появился Алек, а за ним — пунцовогубая девица. Оба были в пижамах.

— Эмори! — тревожным шепотом.

— Что там случилось?

— Гостиничные детективы. Господи, Эмори, это проверка.

— Так их, наверно, надо впустить?

— Ты не понимаешь. Они могут подвести меня под закон Манна.

Девушка едва передвигала ноги — сейчас она казалась худой и жалкой.

Эмори стал быстро соображать.

— Ты пошуми ипусти их к себе, — предложил он неуверенно, — а я выпущу ее в эту дверь.

— У твоей двери они тоже сторожат.

— Назовись другим именем.

— Не выйдет. Я зарегистрировался под своей фамилией, да и по номеру машины узнают.

— Скажи, что она твоя жена.

— Джилл говорит, один из здешних детективов ее знает.

Девушка тем временем повалилась на кровать и, глотая слезы, прислушивалась. В дверь уже не стучали, а дубасили, потом раздался мужской голос, сердитый и повелительный:

— Откройте, не то взломаем дверь!

В молчании, последовавшем за этим возгласом, Эмори почувствовал, что в комнате, кроме людей, есть и другое... над скорчившейся на кровати фигурой нависла пелена, прозрачная, как лунный луч, отдающая выдохшимся слабым вином, но страшная, грозящая опутать их всех троих... а у окна, полускрытое колышущимися занавесками, стояло еще что-то, безликое и неразличимое, но странно знакомое... Две проблемы, одинаково важные, одновременно встали перед Эмори; все, что произошло затем в его сознании, заняло по часам не больше десяти секунд.

Первым озарением была мысль о том, что всякое самопожертвование — чистая абстракция, он понял, что ходячие понятия: любовь и ненависть, награда и наказание, имеют к нему не больше касательства, чем, скажем, день и час. В памяти молниеносно пронеслась одна история, которую он слышал в университете: некий студент смошенничал на экзамене, его товарищ в приступе самопожертвования взял вину на себя, за публичным позором потянулась цепь сожалений и неудач, неблагодарность истинного виновника переполнила чашу. Он покончил с собой, а много лет спустя правда всплыла наружу. В то время история эта озадачила Эмори, долго не давала ему покоя. Теперь он понял, в чем дело: никакими жертвами свободы не купишь. Самопожертвование, как высокая выборная должность, как унаследованная власть, для каких-то людей, в какие-то моменты — роскошь, но влечет оно за собой не гарантию, а ответственность, не спокойствие, а отчаянный риск. Собственной инерцией оно может толкнуть к гибели, — спадет эмоциональная волна, породившая его, и человек навсегда останется один на голой скале безнадежности.

...Эмори уже знал, что Алек будет втайне ненавидеть его за ту огромную услугу, что он ему окажет...

...Все это Эмори словно прочел на внезапно развернувшемся свитке, а вне его существа, размышляя о нем, слушали, затаив дыхание, эти две силы: прозрачная пелена, нависшая над девушкой, и то знакомое Нечто у окна.

Самопожертвование по самой своей сути высокомерно и безлично; жертвовать собой следует с горделивым презрением.

«Не обо мне плачь, но о детях своих». Вот в таком духе, подумал Эмори, мог бы говорить с ним господь.

К сердцу его вдруг прихлынула радость, и тут же пелена над кроватью растаяла, как лицо на киноэкране; подвижная тень у окна — иначе он не сумел бы ее назвать — задержалась еще на мгновение, а потом ее словно выдуло ветром из комнаты. Он стиснул кулаки, он ликовал... десять секунд истекли...

— Делай все, как я скажу, Алек. Не спорь, понял? Алек молча смотрел на него — воплощенный страх и отчаяние.

— У тебя есть семья, — медленно продолжал Эмори. — У тебя есть семья, и тебе необходимо выпутаться из этой истории. Слышишь, что я говорю? — Он повторил еще раз, четко и раздельно: — Ты меня слышишь?

— Слышу. — Голос звучал напряженно, глаза не отрывались от глаз Эмори.

— Алек, ты сейчас ляжешь в постель, здесь у меня. Если кто войдет, притворись пьяным. Слушайся меня, а то я, скорей всего, тебя убью.

Еще мгновение они смотрели друг на друга. Потом Эмори быстро подошел к комоду, взял свой бумажник и сделал девушке знак следовать за ним. Алек что-то сказал, Эмори как будто уловил слово «тюрьма», а потом вместе с Джилл юркнул в ванную и запер дверь на задвижку.

— Ты здесь со мной, — предупредил он строго. — Провела со мной весь вечер.

Она всхлипнула и кивнула.

Тогда он отпер дверь второй комнаты, и из коридора вошли трое. Комнату сразу залил электрический свет, он заморгал и зажмурился.

— Опасную игру затеяли, молодой человек!

Эмори засмеялся.

— А дальше?

Тот, что вошел первым, сделал знак ражему детине в клетчатом костюме.

— Действуйте, Олсон.

— Понятно, мистер О'Мэй, — сказал Олсон, кивая. Двое других с любопытством глянули на свою добычу и удалились, сердито стукнув дверью.

Ражий презрительно воззрился на Эмори.

— Вы что, про закон Манна не слышали? Это надо же — явиться сюда с ней, — он ткнул большим пальцем в сторону Джилл, — с нью-йоркским номером на машине, и в такую гостиницу! — Он покачал головой, давая понять, что долго боролся за Эмори, но теперь ставит на нем крест.

— Так чего вы от нас хотите? — спросил Эмори раздраженно.

— Одевайтесь, живо, да скажите вашей приятельнице, пусть заткнет глотку. — Джилл громко рыдала на постели, но при этих словах утихла и, хмуро собрав одежду, ушла в ванную.

Эмори, натягивая брюки Алека, с удовольствием обнаружил, что ситуация представляется ему комичной. Этот ражий детина печется о добродетели, смех, да и только!

— Кто-нибудь еще здесь есть? — спросил Олсон, напустив на себя вид многоопытного сыщика.

— Тот парень, что снял номер, — небрежно ответил Эмори. — Он пьян как стелька. С шести часов дрыхнет.

— Ладно, заглянем и к нему.

— Как вы узнали? — полюбопытствовал Эмори.

— Ночной дежурный видел, как вы поднимались по лестнице с этой женщиной.

Эмори кивнул, из ванной вышла Джилл, полностью, хоть и не слишком аккуратно одетая.

— Так, — начал Олсон, доставая блокнот, — запишем, кто вы такие. Только давайте по-честному, никаких там «Джон Смит» и «Мэри Браун».

— Минутку, — спокойно перебил Эмори — Советую вам сбавить тон. Ну, мы попались, так что же из этого?

Олсон сердито выпучил глаза.

— Фамилия! — рявкнул он.

Эмори назвал свою фамилию и нью-йоркский адрес.

— А дамочка?

— Мисс Джилл...

— Эй, — возмутился Олсон, — вы меня детскими стишками не кормите. Как вас звать? Сара Мэрфи? Минни Джексон?

— Ой господи! — воскликнула девушка, закрыв руками заплаканное лицо. — Только бы моя мама не узнала! Не хочу, чтобы моя мама узнала!

— Ну, долго мне ждать?

— Полегче, — прикрикнул Эмори. Минута молчания.

— Стелла Роббинс, — пролепетала она наконец. — До востребования, Рагуэй, Нью-Гэмпшир.

Олсон захлопнул блокнот и поглядел на них с глубокомысленным выражением.

— По правилам гостиница могла бы передать эти сведения в полицию, и вы бы, как пить

дать, угодили в тюрьму за то, что привезли женщину из одного штата в другой с безнравственной целью. — Он помолчал, чтобы дать им прочувствовать все значение этих слов. — Но гостиница проявит к вам снисхождение.

— Не хотят в газеты попадать! — яростно выкрикнула Джилл. — Снисхождение, скажет тоже! Эмори почувствовал себя легким, как пушинка. Он понял, что спасен, и только сейчас до его сознания дошло, какой гнусной процедуре его могли подвергнуть.

— Однако, — продолжал Олсон, — гостиницы решили сообща защищать свои интересы. За последнее время эти безобразия участились, и у нас есть договоренность с газетами, чтобы они бесплатно создавали вам кое-какую рекламу. Название отеля не упоминается, а так, несколько строк, что, мол, у вас в Атлантик-Сити вышли неприятности. Ясно?

— Ясно.

— Вы легко отделались, черт возьми, очень легко, но...

— Ладно, — оборвал его Эмори — Пошли отсюда. Напутственных речей нам не требуется. Олсон, пройдя через ванную, для порядка взглянул на неподвижное тело Алека. Потом погасил свет и первым вышел в коридор. Войдя в лифт, Эмори ощутил соблазн побравировать — и поддался ему. Он легонько похлопал Олсона по плечу.

— Будьте добры, снимите шляпу. В лифте дама. Олсон помедлил, но шляпу снял. Последовали две малоприятные минуты под лампами вестибюля, когда ночной дежурный и несколько запоздалых гостей с любопытством глазели на них — безвкусно разодетая девица с опущенной головой, красивый молодой человек с вызывающе задранным подбородком: вывод напрашивался сам собой. Потом холодная улица, где соленый воздух стал еще свежее и резче с приближением утра.

— Вон такси, выбирайте любое и катитесь отсюда, — сказал Олсон, указывая на смутные очертания двух машин, в которых угадывались фигуры спящих шоферов. Он красноречиво потянулся к карману, но Эмори фыркнул, взял девушку под руку и пошел прочь.

— Вы куда велели ехать? — спросила Джилл, когда они уже мчались по тускло освещенной улице.

— На вокзал.

— Если этот тип напишет моей матери...

— Не напишет. Никто ничего не узнает... кроме наших друзей и наших врагов.

Над морем занимался рассвет.

— Голубеет, — сказала она.

— Несомненно, — подтвердил он одобрительно, а потом спохватился: — Скоро время завтракать, вам поесть не хочется?

— Еда... — Она вдруг рассмеялась. — Из-за еды все и вышло. Мы часа в два ночи заказали в номер шикарный ужин. Алек не дал официанту на чай, так он, гаденыш, наверно, и донес. Уныние Джилл рассеялось едва ли не быстрее, чем ночная тьма.

— Я вам вот что скажу, — заявила она, — ежели хотите покутить в веселой компании, держитесь подальше от спиртного, а ежели хотите напиться, держитесь подальше от спален.

— Запомню.

Он постучал в стекло, и машина остановилась у подъезда ночного ресторана.

— Алек вам очень близкий друг? — спросила Джилл, когда они взобрались на высокие табуреты и облокотились о грязную стойку.

— Был когда-то. Теперь, вероятно, больше не захочет и сам не будет понимать почему.

— Сумасшедшим надо быть, чтобы этакое взять на себя. Он что, очень важный человек? Важнее вас?

Эмори рассмеялся.

— Это покажет будущее, — отвечал он. — В этом и есть самый главный вопрос.

РУШАТСЯ НЕСКОЛЬКО ОПОР

Через два дня, уже снова в Нью-Йорке, Эмори нашел в газете то, что искал, — коротенькую заметку о том, что мистеру Эмори Блейну, заявившему, будто он проживает там-то,

предложили покинуть отель в Атлантик-Сити, поскольку он принимал у себя в номере женщину, не являющуюся его женой.

А дочитав, он вздрогнул, и пальцы у него задрожали, потому что чуть выше в том же столбце он увидел другую заметку, подлиннее, которая начиналась словами:

«Мистер и миссис Леланд Р. Коннедж объявляют о помолвке своей дочери Розалинды с Дж. Досоном Райдером из Хартфорда, штат Коннектикут...»

Он выронил газету и лег на кровать, изнемогая от дурнотного ужаса. Она ушла из его жизни — теперь уже окончательно, безвозвратно. До сих пор где-то в глубине его души еще теплилась надежда, что когда-нибудь он ей понадобится, и она пошлет за ним, и скажет, что это было ошибкой, что сердце ее ноет от боли, которую она ему причинила. Не тешить ему себя больше даже темным желанием — не была желанна ни сегодняшняя Розалинда, что стала старше, черствее, ни та угасшая, сломленная женщина, которую воображение нет-нет да приводило на порог к нему сорокалетнему. Эмори нужна была ее молодость — сияющее цветение ее души и тела, все, что теперь будет ею продано. С этого, дня для Эмори юная Розалинда умерла.

Через день он получил письмо от мистера Бартон из Чикаго — в сухих и четких выражениях тот извещал его, что поскольку еще три трамвайные компании обанкротились, ни на какие денежные переводы Эмори в ближайшее время рассчитывать не должен. А в довершение всего пустым воскресным вечером пришла телеграмма, из которой он узнал, что пять дней назад монсеньер Дарси скоропостижно скончался в Филадельфии.

И тогда он понял, что привиделось ему за занавесками гостиничного номера в Атлантик-Сити.

Глава V: ЭГОИСТ СТАНОВИТСЯ ЛИЧНОСТЬЮ

На сажень в сон я погружен.
Влеченья, что смирял, теперь
Из заточенья рвутся вон,
Как сумрак ломится сквозь дверь.
Хочу, чтобы помог сыскать
Мне веру новую рассвет...
Увы! Уныло все опять!
Конца завесам ливня нет.

О, встать бы вновь! Когда бы мог
Стряхнуть я хмеля давний пыл
И в небе сказочный чертог
Рассвет, как встарь, нагромоздил!
Когда б мираж воздушный стать
Мог символом, что даст ответ! Увы!
Уныло все опять:
Конца завесам ливня нет.

Стоя под стеклянным навесом какого-то театра Эмори увидел, как первые крупные капли дождя шлепнулись на тротуар и расплылись темными пятнами. Воздух стал серым и матовым; в доме напротив вдруг возникло освещенное окно, потом еще огонек; потом целая сотня их замерцала, заплясала вокруг. Под ногами у него обозначилось желтым подвальное окно с железными шляпками гвоздей, фары нескольких такси прочертили полосы света по

сразу почерневшей мостовой. Незванный ноябрьский дождь подло украл у дня последний час и снес его в заклад к старой процентщице — ночи.

Тишина в театре у него за спиной взорвалась каким-то странным щелчком, за которым последовал глухой гул разом задвигавшихся людей и оживленный многоголосый говор. Дневной спектакль кончился.

Он отступил немного в сторону, под дождь, чтобы дать дорогу толпе. Из подъезда выбежал мальчик, потянул носом свежий, влажный воздух и поднял воротник пальто; появились три-четыре спешащие пары, появилась небольшая кучка зрителей, и все, как один, взглядывали сперва на мокрую улицу, потом на повисший в воздухе дождь и, наконец, на хмурое небо, но вот из дверей густо повалила публика, и он задохнулся от тяжелого запаха, в котором мешался табачный дух мужчин и чувственность разогревшейся на женщинах пудры. После густой толпы опять выходили редкие группки, потом еще человек пять; мужчина на костылях; и, наконец, стук откидных сидений внутри здания возвестил, что за работу взялись капельдинеры.

Нью-Йорк, казалось, не то чтобы проснулся, а заворочался в постели. Миллю пробежали бледные мужчины, придерживая под подбородком поднятые воротники; в резких взрывах смеха из универсального магазина высыпал говорливый рой усталых девушек — по три под одним зонтом; промаршировал отряд полицейских, чудом успевших уже облачиться в клеенчатые накидки.

Дождь словно обострил внутреннее зрение Эмори, и перед ним грозной вереницей прошли все невзгоды, уготованные в большом городе человеку без денег. Гнусная, зловонная давка в метро — рекламы лезут в глаза, назойливые, как те невыносимо скучные люди, которые держат тебя за рукав, норовя рассказать еще один анекдот, брезгливое ощущение, что вот-вот кто-то на тебя навалится; мужчина, твердо решивший не уступать место женщине и ненавидящий ее за это, а женщина ненавидя его за то, что он не встает; в худшем случае — жалкая мешанина из чужого дыхания, поношенной одежды и запахов еды, в лучшем случае — просто люди, изнывающие от жары или дрожащие от холода, усталые, озабоченные.

Он представил себе комнаты, где живут эти люди, — где на вспученных обоях бесконечно повторяются крупные подсолнухи по желто-зеленому фону, где цинковые ванны и темные коридоры, а за домами — голые, без единой травинки дворы; где даже любовь сведена к соращению — прозаическое убийство за углом, незаконный младенец этажом выше. И неизменно — зимы в четырех стенах из соображений экономии и долгие летние месяцы с кошмарами в духоте липких, тесных квартир... грязные кафе, где усталые, равнодушные люди кладут в кофе сахар своими уже облизанными ложками, оставляя в сахарнице твердые коричневые комки.

Если где-то собираются одни мужчины или одни женщины, это еще куда ни шло, особенно противно, когда они оказываются вместе, тут и стыд женщин, которых мужчины поневоле видят усталыми и нищими, и отвращение, которое усталые, нищие женщины внушают мужчинам. Тут больше грязи, чем на любом поле сражения, видеть это тягостнее, чем реальные ужасы — пот и размокшая глина, и смертельная опасность; это атмосфера, в которой рождение, брак и смерть равно омерзительны и таятся от глаз.

Он вспомнил, как однажды в метро, когда вошел рассыльный с большим погребальным венком из живых цветов, от их аромата воздух сразу стал легче и все лица в вагоне на мгновение засветились.

«Терпеть не могу бедных, — вдруг подумал он. — Ненавижу их за то, что они бедные. Когда-то бедность, возможно, была красива, сейчас она отвратительна. Самое безобразное, что есть на свете. Насколько же чище быть испорченным и богатым, чем невинным и бедным». Перед глазами у него четко возникла картина, в свое время показавшаяся ему полной значения. Хорошо одетый молодой человек, глядя из окна клуба на Пятой авеню, сказал что-то другому, и лицо его выразило предельную гадливость. Вероятно, подумал Эмори, он тогда сказал: «О господи, до чего же люди противны!»

Никогда раньше Эмори не интересовался бедняками. Теперь он холодно установил, что абсолютно не способен кому-либо сочувствовать. О'Генри обнаружил в этих людях

романтику, высокие порывы, любовь, ненависть, Эмори же видел только грубое убожество, грязь и тупость. Он в этом не раскаивался: никогда с тех пор он уже не корил себя за чувства естественные и искренние. Все свои реакции он принимал как часть себя, неизменную и вне нравственную. Когда-нибудь эта проблема бедности, в ином, более широком аспекте, подчиненная какой-нибудь более возвышенной, более благородной позиции, возможно, даже станет его личной проблемой, теперь же она вызывала только сильнейшую брезгливость.

Он вышел на Пятую авеню, увертываясь от черной слепой угрозы зонтов, и, остановившись перед «Дельмонико», сделал знак автобусу. Застегнув пальто на все пуговицы, поднялся на империал и ехал под упорным моросющим дождем, снова и снова ощущая на щеках прохладную влагу. Где-то в его сознании начался разговор, вернее — не начался, а опять заставил к себе прислушаться. Вели его не два голоса, а один, который и спрашивал, и сам же отвечал на вопросы.

Вопрос. — Ну, как ты расцениваешь положение?

Ответ. — А так, что у меня осталось двадцать четыре доллара или около того.

В. — У тебя еще есть поместье в Лейк-Джинева.

О. — Его я намерен сохранить.

В. — Прожить сумеешь?

О. — Не представляю, чтобы не сумел. В книгах люди всегда наживают богатства, а я убедился, что могу делать все, что делают герои книг. Собственно, я только это и умею делать.

В. — Нельзя ли поточнее?

О. — Я еще не знаю, что буду делать, — и не так уж стремлюсь узнать. Завтра я навсегда уезжаю из Нью-Йорка. Нехороший город, если только не оседлать его.

В. — Тебе нужно очень много денег?

О. — Нет, я просто боюсь бедности.

В. — Очень боишься?

О. — Боюсь, но чисто пассивно.

В. — Куда тебя несет течением?

О. — А я почему знаю?

В. — И тебе все равно?

О. — В общем, да. Я не хочу совершать морального самоубийства.

В. — Хоть какие-то интересы у тебя остались?

О. — Никаких. И не осталось добродетели, которую можно бы потерять. Как остывающий чайник отдает тепло, так мы на протяжении всего отрочества и юности отдаем калории добродетели. Это и называется непосредственностью.

В. — Любопытная мысль.

О. — Вот почему свихнувшийся «хороший человек» всегда привлекает людей. Они становятся в круг и буквально греются о калории добродетели, которые он отдает. Сара в простоте душевной сказала что-то смешное, и на всех лицах появляется приторная улыбка: «Как она невинна, бедняжка!» Но Сара уловила приторность и никогда не повторит то же словечко. Однако после этого ей станет похолоднее.

В. — И твои калории ты все растерял?

О. — Все до единой. Я сам уже начинаю греться около чужой добродетели.

В. — Ты порочен?

О. — Вероятно. Не уверен. Я уже не могу с уверенностью отличить добро от зла.

В. — Это само по себе плохой признак?

О. — Не обязательно.

В. — В чем же ты усмотрел бы доказательство порочности?

О. — В том, что стал бы окончательно неискренним — называл бы себя «не таким уж плохим человеком», воображал, что жалею об утраченной молодости, когда на самом деле жалею только о том, как приятно было ее утрачивать. Молодость — как тарелка, горой полная сластей. Люди сентиментальные уверяют, что хотели бы вернуться в то простое, чистое состояние, в котором пребывали до того, как съели сласти. Это неверно. Они хотели бы

снова испытать приятные вкусовые ощущения. Замужней женщине не хочется снова стать девушкой — ей хочется снова пережить медовый месяц. Я не хочу вернуть свою невинность. Я хочу снова ощутить, как приятно было ее терять.

В. — Куда тебя сносит течением?

Этот диалог несуразно вмешался в его обычное состояние духа — несуразную смесь из желаний, забот, впечатлений извне и физических ощущений.

Сто двадцать седьмая улица... Или Сто тридцать седьмая? Двойка и тройка похожи — впрочем, не очень. Сиденье отсырело... Это одежда впитывает влагу из сиденья или сиденье впитывает сухость из одежды?... Не сиди на мокрой земле, схватишь аппендицит, так говорила мать Фрогги Паркера. Ну, это мне уже не грозит... Я предъявлю иск Пароходной компании, сказала Беатриса, а четвертой частью их акций владеет мой дядя — интересно, попала Беатриса в рай?... Едва ли. Он сам — вот бессмертие Беатрисы и еще увлечения многих умерших мужчин, которые ни разу о нем и не подумали... Ну, если не аппендицит, так, может быть, инфлюэнца... Что? Сто двадцатая улица? Значит, тогда была Сто вторая — один, ноль, два, а не один, два, семь. Розалинда не похожа на Беатрису, Элинора похожа, только она отчаяннее и умнее. Квартиры здесь дорогие — наверно, полтора-два доллара в месяц, а то и двести. В Миннеаполисе дядя за весь огромный дом платил только сто в месяц. Вопрос: лестница на второй этаж была, как войдешь, слева или справа? В «Униви 12» она, во всяком случае, была прямо вперед и налево. Какая грязная река — подойти поближе, посмотреть, правда ли, грязная, — во Франции все реки бурые или черные, так и у нас на Юге. Двадцать четыре доллара — это четыреста восемьдесят пончиков. Можно прожить на них три месяца, а спать на скамейке в парке. Где-то сейчас Джилл — Джилл Бейн, Фейн, Сейн — о черт, шея затекла, ужасно неудобно сидеть. Ни малейшего желания переспать с Джилл, и что хорошего нашел в ней Алек? У Алека грубые вкусы по части женщин. Мой вкус куда лучше. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинора — истые американки. Элинора — подающий, скорее всего, левша. Розалинда — отбивающий, удар у нее замечательный. Клара, пожалуй, первая база. Как-то сейчас выглядит труп Хамберда... Не будь я инструктором по штыковому бою, я попал бы на позиции на три месяца раньше, вероятно, был бы убит. Где тут этот чертов звонок...

На Риверсайд-Драйв номера улиц едва проглядывали сквозь сетку дождя и мокрые деревья, но один он наконец разглядел — Сто двадцать седьмая. Он сошел с автобуса и, сам не зная зачем, свернул под гору по извилистой дороге, которая вывела его к реке, там, где за длинным молом приютилась стоянка мелких судов — моторок, каноэ, гребных шлюпок, парусников. Он пошел вдоль берега на север, перескочил через низкую проволочную ограду и очутился на большом дворе, примыкающем к пристани. Вокруг было множество лодок, ждущих ремонта, пахло опилками, краской и, едва уловимо и пресно, — Гудзоном. Сквозь густую мглу к нему приблизился какой-то человек.

— Пропуск есть?

— Нет. А это частное владение?

— Это яхт-клуб «Гудзон».

— Вот как, я не знал. Я просто хотел отдохнуть.

— Ну... — начал тот с сомнением в голосе.

— Если скажете, я уйду.

Сторож проворчал что-то, не означавшее ни «да» ни «нет», и прошел мимо. Эмори сел на перевернутую лодку и, наклонившись вперед, подпер щеку ладонью.

— Все эти напасти, того и гляди, сделают из меня совсем никудышного человека, — проговорил он медленно.

В ЧАСЫ УПАДКА

Под непрестанно морозящим дождем Эмори вяло оглянулся на реку своей жизни, на все ее сверкающие излучины и грязные отмели. Страх все еще владел им — не физический страх, но страх перед людьми, перед предрассудками, нуждой, однообразием. Однако в глубине

своей усталой души он спрашивал себя, в самом ли деле он настолько хуже других. Он знал, что с помощью двух-трех софизмов сумеет прийти к выводу, что его слабость обусловлена просто средой и обстоятельствами, что еще не раз, когда он начнет яростно обличать свой эгоизм, какой-то голос вкрадчиво шепнет: «Нет, гений!» Это было одним из проявлений страха — этот голос, нашептывающий, что нельзя быть одновременно великим и добрым, что гениальность — единственно возможное сочетание необъяснимых изломов и бороздок в его сознании, что всякая дисциплина сведет ее к нулю. Сильнее любого отдельно взятого порока или недостатка он презирал самого себя, с отвращением сознавая, что и завтра, и через тысячу дней он будет пыжиться в ответ на комплимент и обижаться на неодобрительное слово, как третьестепенный музыкант или первоклассный актер. Он стыдился того, что очень простые и честные люди обычно относились к нему с недоверием; что он часто проявлял жестокость к тем, кто готов был в нем раствориться, — к нескольким девушкам и кое-кому из мужчин в студенческие годы, что он оказал дурное влияние на людей, время от времени пускавшихся следом за ним в теоретические похождения, из которых он один выходил невредимым.

Обычно в такие вечера — а за последнее время их было много — ему помогали избавиться от этого изнурительного самокопания мысли о детях и о безграничных возможностях, в них заложенных. Он весь обращался в слух, когда в доме напротив просыпался в испуге младенец и ночная тишина звенела тоненьким плачем. Он содрогался от ужаса — неужели это его мрачное отчаяние легло тенью на крошечную душу? Дрожь пробирала его. Что, если настанет день, когда равновесие нарушится и он превратится в чудовище, которое пугает детей, во мраке пробирается в комнаты, общается с призраками, что поверяют жуткие тайны безумцам, обитающим на темных просторах луны...

Улыбка тронула его губы.

«Слишком ты поглощен самим собой», — сказал кто-то. И еще:

«Ступай, займись настоящим делом».

«Перестань терзаться...»

Когда-нибудь он, возможно, и ответит:

«Да, в молодости я, пожалуй, был эгоистом, но скоро понял, что слишком много думать о себе не полезно».

Внезапно его захлестнуло желание послать все к черту и исчезнуть — не покончить с собой, как подобает джентльмену, а спокойно и сладостно скрыться от людских глаз. Он вообразил себя в глинобитном доме в Мексике, — полулежит на тахте, покрытой коврами, в тонких изящных пальцах зажата папироса, рядом гитары наигрывают печальную мелодию, рожденную в Кастилии в незапамятные времена, и девушка с оливковой кожей и карминовыми губами гладит его по волосам. Здесь он мог бы жить день за днем, избавленный от добра и зла, от мук совести и от любого бога (кроме экзотического мексиканского бога, который и сам не без греха и не в меру привержен восточным благовониям), избавленный от успеха, и надежды, и бедности, блаженно скользя вниз по наклонной дороге, что спускается, в конце концов, всего лишь к искусственному озеру смерти.

Сколько есть на свете мест, где можно с приятностью идти ко дну, — Порт-Саид, Шанхай, некоторые уголки Туркестана, Константинополь, Южные моря — все края печальной, завораживающей музыки и многих ароматов, где наслаждение может стать укладом и смыслом жизни, где тени ночного неба и закаты отражают только состояния страсти — краски маков и губ.

МЫСЛИ, МЫСЛИ

Когда-то он безошибочно чуял зло, как лошадь ночью чует впереди сломанный мост. Но остроногий дьявол в комнате Фебы обернулся всего лишь светящейся пеленой над Джилл. Инстинктом он улавливал зловоние бедности, но уже не мог добраться глубже — до зла гордыни и похоти.

Не осталось мудрецов, не осталось героев; Бэрн Холлидэй исчез, словно никогда и не жил,

монсеньер умер; Эмори одолел сотни книг, сотни лживых вымыслов; он долго и жадно прислушивался к людям, которые притворялись, что знают, а не знали ничего. Мистические откровения святых, некогда наполнявшие его благоговением, теперь слегка ему претили. Байроны и Бруки, бросавшие жизни вызов с горных вершин, оказались на поверку позерами и фланерами, в лучшем случае принимавшими видимость мужества за реальную мудрость. Скопившееся в нем разочарование было словно пыльное, старое как мир шествие пророков, философов, мучеников, святых, ученых, Дон Жуанов, иезуитов, пуритан, Фаустов, поэтов, пацифистов, подобно питомцам колледжа, явившимся в парадных мантиях на встречу однокашников, они проходили перед ним: так некогда их мечты, их личности и идеи по очереди отбрасывали яркие отблески на его душу; каждый из них в свое время пытался прославить жизнь и утвердить первостепенную значимость человека; каждый похвалялся, что сумел связать прошлое с собственными шаткими построениями; каждый в конечном счете исходил из готовой мизансцены и из театральной условности, состоящей в том, что человек, алчущий веры, питает свой ум той пищей, что ближе и доступней.

Женщины, от которых он так много ждал, чью красоту он надеялся выразить в формах искусства, чьи непостижимые инстинкты, божественно противоречивые и невнятные, мечтал увековечить на основе опыта, стали всего лишь истоками собственного потомства. Изабелла, Клара, Розалинда, Элинора — самая их красота, на которую слетались мужчины, лишила их возможности обогатить его чем-либо, кроме сердечной тоски да странички, растерянно исписанной словами.

Утрату веры в помощь извне Эмори обосновывал несколькими смелыми силлогизмами. Допустим, что его поколение, хоть и поредевшее после этой викторианской войны, и травмированное ею, призвано наследовать прогресс. Но даже если отбросить мелкие расхождения в выводах, временами приводящие к смерти нескольких миллионов молодых мужчин, однако же поддающиеся объяснению, если признать, что в конечном счете Бернард Шоу и Бернгарди, Бонар Лоу и Бетман-Хольвег 26 равноправные наследники прогресса хотя бы потому, что все они выступали против мракобесия, — если отбросить антитезы и взять этих людей, этих властителей дум, по отдельности, — с отвращением замечаешь, до чего непоследователен и противоречив каждый из них.

Вот, к примеру, Торнтон Хэнкок — его уважает половина образованных людей во всем мире, он авторитет в вопросах жизни, человек, следующий собственному кодексу и верящий в него, наставник наставников, советчик президентов, — а ведь Эмори знал, что в глубине души этот человек равнялся на священника другой церкви.

А у монсеньера, на которого полагался сам кардинал, бывали минуты странных и страшных колебаний, необъяснимых в религии, которая даже безверие объясняет формулами собственной веры: если ты усомнился в существовании дьявола, это дьявол внушил тебе сомнение в том, что он существует. Эмори сам видел, как монсеньер, чтобы спастись от этого наваждения, ходил в гости к тупым филистерам, запоем читал дешевые романы, глушил себя повседневными делами.

И монсеньер, это Эмори тоже знал, был пусть поумнее, почище, но, ненамного старше его самого.

Эмори остался один — из маленького загона он вырвался в большой лабиринт. Он был там, где был Гете, когда начинал «Фауста», где был Конрад, когда писал «Каприз Олмейера» 27 .

Эмори подумал, что есть две категории людей, которые, в силу природной ясности мышления или в силу разочарования, покидают загон и стремятся в лабиринт. Во-первых, это люди, подобные Платону и Уэллсу, отмеченные своеобразной полуосознанной ортодоксальностью, приемлющие для себя только то, что считают приемлемым для всех, неисправимые романтики: им, как они ни стараются, никогда не войти в лабиринт в числе отважных душ. А во-вторых, это бесстрашные бунтари, первооткрыватели — Сэмюел Батлер, Ренан, Вольтер, — которые продвигаются намного медленнее, но заходят намного дальше — не по пути пессимистической умозрительной философии, но в неустанных попытках утвердить реальную ценность жизни...

Эмори прервал себя. Впервые в жизни он четко ощутил недоверие к каким бы то ни было

обобщениям и афоризмам. Слишком они опасны, слишком легко воспринимаются общественным сознанием. А между тем именно в таком виде серьезные идеи обычно лет через тридцать доходят до публики. Бенсон и Честертон популяризировали Гюисманса и Ньюмена 28 ; Шоу завернул в гляцевую обложку Ницше, Ибсена и Шопенгауэра. Рядовой человек знакомится с выводами умерших гениев по ловким парадоксам и назидательным афоризмам, созданным кем-то другим.

Жизнь — чертова неразбериха... футбол, в котором все игроки «вне игры», а судьи нет, и каждый кричит, что судья был бы на его стороне...

Прогресс — лабиринт... Человек врывается в него как слепой, а потом выбегает обратно как безумный, вопя, что нашел его, вот он, незримый король, — *elan vital* 29 — принцип эволюции... и пишет книгу, развязывает войну, основывает школу...

Эмори, даже не будь он эгоистом, начал бы поиски истины с себя самого. Для себя он — самый наглядный пример, вот он сидит под дождем — человеческая особь, наделенная полем и гордостью, волею случая и собственным темпераментом отторгнутая от блага любви и отцовства, сохраненная, чтобы участвовать в формировании сознания всего человечества...

С чувством вины, одиночества, утраты всех иллюзий подошел он к входу в лабиринт.

Новый рассвет повис над рекой, запоздалое такси промчалось по набережной, его непогашенные фары горели, как глаза на лице, побелевшем после ночного кутежа. Вдали печально прогудел пароход.

МОНСЕНЬЕР

Эмори все думал о том, как доволен остался бы монсеньер своими похоронами. То был апофеоз католичества и обрядности. Торжественную мессу служил епископ О'Нийл, последнее отпущение грехов прочел над покойным сам кардинал. Все были здесь, — Торнтон Хэнкок, миссис Лоренс, послы, итальянский и английский, без счета друзей и духовенства — но неумолимые ножницы перерезали все эти нити, которые монсеньер собрал в своей руке. Эмори в безутешном горе смотрел, как он лежит в гробу, с руками, сложенными поверх алого облачения. Лицо его не изменилось и не выражало ни боли, ни страха, — ведь он ни минуты не знал, что умирает. Для Эмори это был все тот же милый старый друг, и не для него одного — в церкви было полно людей с растерянными, подавленными лицами, и больше всех, казалось, были удручены самые высокопоставленные.

Кардинал, подобный архангелу в ризах и в митре, покропил святой водой, загудел орган, и певчие запели «Requiem Eternam» 30 .

Все эти люди горевали потому, что при жизни монсеньера в той или иной мере полагались на него. Горе их было больше, чем грусть о его «чуть надтреснутом голосе или чуть припадающей походке», как выразил это Уэллс. Эти люди опирались на веру монсеньера, на его дар не падать духом, видеть в религии и свет, и тени, видеть всякий свет и всякие тени лишь как грани бога. Когда он был близко, люди переставали бояться.

Из попытки Эмори принести себя в жертву родилось только твердое понимание того, что никаких иллюзий у него не осталось, а из похорон монсеньера родился романтический эльф, готовый вместе с Эмори вступить в лабиринт. Он обрел нечто такое, в чем всегда ощущал, всегда будет ощущать потребность, — не вызывать восхищение, чего прежде опасался, не вызывать любовь, в чем сумел себя убедить, но стать нужным другим, стать необходимым, он вспомнил, какая спокойная сила исходила от Бэрна.

Жизнь раскрывалась в одном из своих поразительных озарений, и Эмори разом и бесповоротно отбросил старый афоризм, которым не прочь бывал лениво себя потешить: «Очень мало что имеет значение, а большого значения не имеет ничто».

Сейчас, напротив, он ощущал сильнейшее желание вливать в людей уверенность и силы.

ТОЛСТЯК В КОНСЕРВАХ

В тот день, когда Эмори пустился пешком в Принстон, небо было как бесцветный свод, прохладное, высокое, не таящее угрозы дождя. Пасмурный день, самая бесплотная погода, день для мечтаний, далеких надежд, ясных видений. День, словно созданный для тех чистых построений и абстрактных истин, что испаряются на солнце либо тонут в издевательском смехе при свете луны. Деревья и облака были прорисованы с классической четкостью, деревенские звуки сливались в единый гул, металлический, как труба, беззвучный, как греческая урна у Китса.

Погода привела Эмори в столь созерцательное настроение, что он причинил немалую досаду нескольким автомобилистам, — чтобы не наехать на него, им пришлось значительно сбавить скорость. Так глубоко он ушел в свои мысли, что не очень удивился, когда какая-то машина затормозила рядом с ним и чей-то голос окликнул его — проявление человечности, почти небывалое в радиусе пятидесяти миль от Манхэттена. Подняв голову, он увидел роскошный автомобиль, в котором сидели двое немолодых мужчин: один — маленький человечек с озабоченным лицом, по всей видимости, паразитирующий на втором — крупном, внушительном, в очках-консервах.

— Хотите, подвезем? — спросил паразитирующий, уголком глаза взглянув на внушительного, словно по привычке испрашивая у него молчаливого подтверждения.

— Еще бы не хотеть. Спасибо.

Шофер распахнул дверцу, и Эмори, усевшись посередине заднего сиденья, с интересом пригляделся к своим спутникам. Он решил, что отличительная черта толстяка — безграничная уверенность в себе, притом что все окружающее вызывает у него смертельную скуку. Его лицо, в той части, что не была скрыта очками, принадлежало к разряду «сильных»; подбородок утопал в респектабельных валиках жира; выше имелись длинные тонкие губы и черновой набросок римского носа, ниже плечи без борьбы давали себя поглотить мощной массе груди и живота. Одет он был превосходно и строго. Эмори заметил, что он почти все время смотрит в затылок шоферу, словно упорно, но тщетно стараясь решить какую-то сложную шевелюрную проблему.

Второй, маленький, был примечателен лишь тем, что без остатка растворялся в первом. Человечек секретарского типа, из тех, что к сорока годам заводят себе визитные карточки со словами «Помощник президента» и без вздоха обрекают себя до конца дней на второстепенные роли.

— Далеко путь держите? — спросил человечек безразлично-любезным тоном.

— Да не близко.

— Решили пройтись для моциона?

— Нет, — деловито ответил Эмори. — Я иду пешком, потому что на проезд у меня нет денег.

— Вот как. — И после паузы: — Ищите работы? А работы, между прочим, сколько угодно, — продолжал он неодобрительно. — Уши вянут слушать эти толки о безработице. Особенно не хватает рабочих рук на Западе. — Слово «Запад» он подчеркнул, широко поведя рукой справа налево. Эмори вежливо кивнул.

— Специальность у вас есть?

Нет, специальности нет.

— Служили клерком?

Нет, клерком Эмори не служил.

— Чем бы вы ни занимались, — сказал человечек, словно согласившись с доводами Эмори, — сейчас время великих возможностей, блестящих деловых перспектив. — Он опять взглянул на толстяка, — так адвокат, когда тянет жилы из свидетеля, невольно взглядывает на присяжных.

Эмори решил, что нужно что-то ответить, но хоть убей не мог придумать ничего, кроме фразы:

— Я, конечно, хочу нажать много денег. Человечек посмеялся невесело, но старательно.

— Этого сейчас хотят все, а вот поработать ради этого никто не хочет.

— Ну что ж, вполне естественная, здравая точка зрения. Почти всякий нормальный человек хочет разбогатеть без особых усилий, это только в проблемных пьесах финансисты «идут на

все ради миллиона». А вас разве не прельщают незаработанные деньги?

— Разумеется, нет! — возмутился человек.

— Однако, — продолжал Эмори, пропустив его слова мимо ушей, — поскольку в настоящее время я очень беден, я в некотором роде склоняюсь к социализму.

Оба спутника с любопытством на него поглядели.

— Эти террористы с бомбами... — Человек умолк, потому что из чрева толстяка прозвучало гулко и внушительно:

— Если б я думал, что вы бросаете бомбы, я бы вас доставил прямо в тюрьму в Ньюарке. Вот мое мнение о социалистах.

Эмори рассмеялся.

— Вы кто? — спросил толстяк. — Салонный большевик? Идеалист? Большой разницы я, кстати сказать, между ними не вижу. Идеалисты — бездельники, только и могут, что писать чепуху, которая вводит в соблазн неимущих иммигрантов.

— Что ж, — сказал Эмори, — если быть идеалистом и безопасно, и прибыльно, почему не попробовать.

— С вами-то что стряслось? Потеряли работу?

— Не совсем, а впрочем, можно сказать и так.

— Какая была работа?

— Писал тексты для рекламного агентства.

— Реклама — дело денежное. Эмори скромно улыбнулся.

— Да, я согласен, в конце концов оно может стать денежным. Таланты у нас теперь не умирают с голоду. Даже искусство ест досыта. Художники рисуют вам обложки для журналов, пишут вам тексты реклам, сочиняют рэптаймы для ваших театров. Переведя печать на коммерческие рельсы, вы обеспечили безвредное, приличное занятие каждому гению, который мог бы заговорить собственным голосом. Но берегитесь художника, который в то же время интеллигент. Художника, которого не подстричь под общую гребенку, — такого, как Руссо, или Толстой, или Сэмюел Батлер, или Эмори Блейн.

— Это еще кто? — подозрительно спросил человек.

— Это, — сказал Эмори, — это один интеллигент, еще не очень широко известный.

Человек посмеялся своим старательным смехом и разом умолк под пылающим взглядом Эмори.

— Чему вы смеетесь?

— Ох уж эти интеллигенты...

— А вам понятно, что означает это слово? Человек беспокойно заморгал.

— Обычно оно означает...

— Оно всегда означает: умный и широко образованный, — перебил его Эмори. — Активно осведомленный в истории человечества. — Он намеренно говорил очень грубо. Он обратился к толстяку: — Этот молодой человек, — он указал на секретаря большим пальцем и назвал его «молодым человеком», как слугу называют «бой» безотносительно возраста, — весьма смутно представляет себе истинное значение многих заезженных слов — явление довольно обычное.

— Вы против контроля капитала над прессой? — спросил толстяк, уставившись на него очками.

— Да, я против того, чтобы проделывать за других всю умственную работу. У меня сложилось впечатление, что цель бизнеса состоит в том, чтобы выжимать максимум работы, безобразно низко оплачиваемой, из дураков, которые на это идут.

— Ну, знаете ли, — возразил толстяк, — рабочим-то платят немало, с этим вы не можете не согласиться — и рабочий день шесть часов, а то и пять, просто смешно. А если он член профсоюза, его вообще не заставишь работать как следует.

— Вы сами в этом виноваты, — стоял на своем Эмори. — Вы никогда не идете на уступки, пока их не вырвут у вас силой.

— Кто это мы?

— Ваш класс, тот класс, к которому и я принадлежал до недавнего времени. Те, кого

отцовское наследство, или собственное упорство, или смекалка, или нечестность, привели в ряды имущего класса.

— Вы что же, воображаете, что вон тот рабочий, что ремонтирует дорогу, охотнее расстался бы со своими деньгами, если бы они у него были?

— Нет, но при чем это здесь? Собеседник его помолчал, подумал.

— Пожалуй что, ни при чем. А какая-то связь все-таки есть.

— Мало того, — продолжал Эмори, — он повел бы себя хуже. У низших классов более узкий кругозор, они менее гибки, и, как индивидуумы, более эгоистичны, и, уж конечно, более тупы. Но все это не имеет ни малейшего отношения к интересующему нас вопросу.

— А в чем же именно состоит вопрос, который нас интересует?

Здесь Эмори пришлось призадуматься, прежде чем решить, в чем состоит этот вопрос.

ЭМОРИ ПРИДУМАЛ НОВЫЙ ОБОРОТ РЕЧИ

— Когда умный и неплохо образованный человек попадает в лапы к жизни, — начал Эмори медленно, — другими словами, когда он женится, он в девяти случаях из десяти становится консерватором во всем, что касается существующих социальных условий. Пусть он отзывчивый, добрый, даже по-своему справедливый, все равно главная его забота — добывать деньги и держаться за свое место под солнцем. Жена подстегивает его — от десяти тысяч в год к двадцати тысячам в год, а потом еще и еще, без конца крутить педали в помещении без окон. Он погиб! Жизнь заглотнула его! Он уже ничего не видит вокруг! У него душа женатого человека.

Эмори умолк и подумал, что последняя фраза прозвучала неплохо.

— Есть, правда, люди, — продолжал он, — которым удастся избежать этого рабства. Либо их жены не заражены честолюбием; либо они вычитали в какой-нибудь «опасной книге» особенно полюбившуюся им мысль, либо они, как я, например, уже начали было крутить педали, но получили по шапке. Так или иначе, это те конгрессмены, что не берут взятку, те президенты, что не занимаются политиканством, те писатели, ораторы, ученые, государственные деятели, что не пожелали стать всего лишь источником земных благ для нескольких женщин и детей.

— Это и есть радикалы?

— Да, — сказал Эмори. — Есть разновидности — вплоть до такого трезвого критика, как старый Торнтон Хэнкок. Так вот, у этого человека с душой неженатого нет прямой власти, так как, к несчастью, человек с душой женатого в ходе своей погони за деньгами прибрал к рукам серьезную газету, популярный журнал, влиятельный еженедельник — все для того, чтобы миссис Газета, миссис Журнал, миссис Еженедельник могла обзавестись более шикарным лимузином, чем тот, каким владеет нефтяное семейство в доме напротив или цементное семейство в доме за углом.

— А чем это плохо?

— Тем, что богачи становятся охранителями общественного сознания, а человек, владеющий деньгами при одной социальной системе, конечно же, не станет рисковать благополучием своей семьи и не допустит, чтобы в его газете появились требования изменить эту систему.

— Однако же они появляются.

— Где? В дешевых изданиях, которых никто не читает. В паршивых журнальчиках на скверной бумаге.

— Ладно, давайте дальше.

— Так вот, я утверждаю, что в результате ряда условий, из которых главное — семья, есть умные люди двух видов. Одни принимают человеческую природу такой, как она есть, используя в своих целях и ее робость, и слабость, и силу. А противостоит им человек с душой неженатого — тот непрерывно ищет новые системы, способные контролировать или обуздывать человеческую природу. Ему приходится труднее. Сложна не жизнь, а задача направлять и контролировать ее. В этом и состоит его цель. Он — элемент прогресса, а

человек с душой женатого — нет.

Толстяк извлек на свет три толстые сигары и, как на блюде, предложил их спутникам на своей огромной ладони. Человечек сигару взял. Эмори покачал головой и потянулся за сигаретой.

— Поговорите еще, — сказал толстяк. — Мне давно хотелось послушать вашего брата.

НА ПЕРВУЮ СКОРОСТЬ

— Современная жизнь, — снова заговорил Эмори, — меняется уже не от века к веку, а от года к году, в десять раз быстрее, чем когда-либо раньше. Население в некоторых странах удвоилось, цивилизации все больше сближаются, экономическая взаимозависимость, расовый вопрос, а мы — мы топчемся ни месте. Я считаю, что нам нужно двигаться гораздо быстрее. — Последние слова он слегка подчеркнул, и шофер бессознательно прибавил скорость. Эмори и толстяк рассмеялись, человечек, чуть отстав, рассмеялся тоже.

— У всех детей, — сказал Эмори, — должны быть для начала равные шансы. Если отец на первых ступенях воспитания может дать ребенку физическую закалку, а мать — привить ему начатки здравого смысла, это и должно стать его наследством. Если отец не в силах дать ему физическую закалку, если мать в те годы, когда она должна была готовиться к воспитанию детей, только гонялась за мужчинами, — тем хуже для ребенка. Не надо дарить ему искусственные подпорки в виде денег, обучать в этих отвратных частных школах, протаскивать через университет... у всех детей должны быть равные шансы.

— Понятно, — сказал толстяк, и очки его не выразили ни одобрения, ни протеста.

— А еще я попробовал бы передать всю промышленность в собственность государства.

— Пробовали. Не получается.

— Вернее — пока не получилось. Будь у нас государственная собственность, лучшие аналитические умы в государственном аппарате работали бы не только для себя. Вместо Бэрлсонов у нас были бы Маккеи. В казначействе у нас были бы Морганы; торговлей между штатами ведали бы Хиллы. В сенате заседали бы лучшие юристы.

— Они не стали бы работать в полную силу задаром. Макаду...

— Нет, — Эмори покачал головой, — деньги не единственный стимул, который выявляет лучшее в человеке, даже в Америке.

— А сами только что говорили, что единственный.

— Сейчас — да. Но если бы частная собственность была ограничена законом, лучшие люди устремились бы в погоню за единственной другой наградой, способной привлечь человечество, — за почетом.

Толстяк насмешливо фыркнул.

— Глупее этого вы еще ничего не сказали.

— Это не глупо. Это вполне вероятно. Если б вы учились в колледже, вы бы не могли не заметить, что некоторые богатые студенты учились ради всяких мелких почестей вдвое прилежнее, чем те, которым приходилось еще и зарабатывать.

— Ребячество, детская игра, — издевался его противник.

— Ничего подобного — или тогда мы все, значит, дети. Вы когда-нибудь видели взрослого человека, который стремится стать членом тайного общества? Или недавно разбогатевшую семью, которая мечтает быть принятой в широко известный клуб? У них при одном упоминании этих мест глаза разгораются. Что человека можно заставить работать, только если держать у него перед глазами золото, — это не аксиома, а наслоение. Мы так давно это делаем, что уже забыли, что есть и иные пути. В мире, который мы создали, это стало необходимостью. Уверяю вас, — Эмори все больше воодушевлялся, — если взять десять человек, застрахованных и от богатства, и от голода, и предложить им на выбор — работать по пять часов в день за зеленый бант или по десять часов в день за синий, девять из них стали бы состязаться за синий. Инстинкту соперничества не хватает только эмблемы. Если эмблема — большой дом, они будут трудиться не покладая рук ради самого большого дома. Если это всего лишь синий бант, я, черт возьми, уверен, что они будут стараться не меньше.

— Не согласен.

— Я знаю. — Эмори грустно покивал головой. — Но сейчас это уже не так важно. Думаю, что недалеко то время, когда эти люди сами возьмут у вас то, что им нужно.

Человечек злобно прошипел:

— Пулеметы?

— Вы же и научили их пускать в ход пулеметы. Толстяк покачал головой.

— У нас в стране достаточно собственников, они этого не допустят.

Эмори пожалел, что не знает процентного отношения американцев, владеющих и не владеющих собственностью, и решил переменить тему.

Но толстяк был задет за живое.

— Когда вы говорите «взять», вы касаетесь опасной темы.

— А как иначе им получить свое? Сколько лет народ кормили обещаниями. Социализм — это, может быть, и не шаг вперед, но угроза красного флага, безусловно, есть движущая сила всякой реформы. Чтобы к вам прислушались, нужно пустить пыль в глаза.

— Примером благотворного насилия, надо думать, служит для вас Россия?

— Пожалуй, — признал Эмори. — Разумеется, там хватают через край, как было и во время французской революции, но я не сомневаюсь, что это интереснейший эксперимент и проделать его стоило.

— А умеренность вы не цените?

— Умеренных вы не желаете слушать, да и время их прошло. Дело в том, что с народом произошло нечто поразительное, какое бывает раз в сто лет: он ухватился за идею.

— Какую именно?

— Что ум и способности у людей бывают разные, а вот желудки у всех в основном одинаковые.

ЧЕЛОВЕЧКУ ТОЖЕ ДОСТАЕТСЯ

— Если бы взять все деньги, существующие в мире... — глубокомысленно произнес человечек, — и разделить их на рав...

— А, бросьте! — отмахнулся Эмори и, даже не взглянув на его возмущенную физиономию, продолжал свое. — Человеческий желудок... — но тут толстяк раздраженно перебил его:

— Я слушал вас внимательно, но очень прошу, не касайтесь желудков. Мой мне сегодня с утра не дает покоя. В общем, с половиной того, что вы тут наговорили, я не согласен. В основе всех ваших рассуждений — государственная собственность, а государственный аппарат — рассадник коррупции. Не станут люди работать ради синих бантов. Чепуха это.

Когда он умолк, человечек уверенно кивнул и заговорил снова, словно решив на этот раз не дать себя сбить с толку.

— Есть вещи, заложенные в самой природе человека, — изрек он с умным видом. — Так было всегда и всегда будет, и изменить это невозможно.

Эмори беспомощно перевел взгляд с него на толстяка.

— Вот, слышали? Ну как тут не отчаиваться в прогрессе? Нет, вы только послушайте! Да я могу с ходу назвать вам десятки природных явлений, которые человеческая воля изменила, десятки инстинктов, которые цивилизация убила или обезвредила. То, что сказал сейчас этот человек, тысячелетиями служило последним прибежищем для болванов всего мира. Ведь этим сводятся на нет усилия всех ученых, государственных деятелей, моралистов, реформаторов, врачей и философов, которые когда-либо посвящали свою жизнь служению человечеству. Это отрицание всего, что есть в человеческой природе достойного. Каждого гражданина, достигшего двадцатипятилетнего возраста, который всерьез это утверждает, надо лишать права голоса.

Человечек, побагровев от ярости, откинулся на спинку сиденья. Эмори продолжал, обращаясь к толстяку:

— Полуграмотные, косные люди, такие, как этот ваш приятель, только воображают, что способны думать, а на самом деле какой вопрос ни возьми, в голове у них полнейшая

путаница из готовых штампов... То это «бесчеловечная жестокость пруссаков», то «немцев надо истребить — всех до единого». Вечно они толкуют, что «дела сейчас плохи», но притом «нет у них веры в этих идеалистов». Сегодня Вильсон у них «мечтатель, оторванный от практической жизни», — а через год они осыпают его бранью за то, что он пытается претворить свои мечты в жизнь. Мыслить четко, логически они не умеют, умеют только тупо противиться любой перемене. Они считают, что необразованным людям не следует много платить за работу, но не понимают, что если не платить прилично необразованным людям, их дети тоже останутся без образования, и так мы и будем ходить по кругу. Вот он — великий класс, средняя буржуазия!

Толстяк, расплывшись в улыбке, пригнулся к своему секретарю.

— Здорово он вас честит, Гарвин. Ну, и как оно?

Человечек попытался улыбнуться и сделать вид, будто все эти нелепости и слушать не стоит. Но Эмори еще не кончил.

— Теория, согласно которой народ способен сам собой управлять, упирается в этого человека. Если возможно научить его мыслить четко, сжато и логично, освободить его от привычки прятаться за трюизмы, предрассудки и сентиментальный вздор, тогда я — воинствующий социалист. Если это невозможно, тогда, думается мне, не так уж важно, что станется с человеком и с обществом сейчас или когда бы то ни было.

— Слушать вас интересно и забавно, — сказал толстяк. — Вы очень молоды.

— Это может означать только одно — что современный опыт еще не успел ни развратить меня, ни запугать. Я владею самым ценным опытом, опытом истории, потому что, хоть и учился в колледже, сумел получить хорошее образование.

— Язык у вас неплохо подвешен.

— Не все это чепуха! — страстно воскликнул Эмори. — Сегодня я в первый раз в жизни ратовал за социализм. Другой панацеи я не знаю. Я неспокоен. Все мое поколение неспокойно. Мне осточертела система, при которой кто богаче, тому достается самая прекрасная девушка, при которой художник без постоянного дохода вынужден продавать свой талант пуговичному фабриканту. Даже не будь у меня таланта, я бы не захотел трудиться десять лет, обреченный либо на безбрачие, либо на тайные связи, ради того, чтобы сынок богача мог кататься в автомобиле.

— Но если вы не уверены...

— Все равно! — вскричал Эмори. — Хуже моего положения ничего не придумаешь. Революция могла бы вынести меня на поверхность. Да, я, конечно, эгоист. Я чувствую, что при всех этих обветшалых системах был как рыба, вынутая из воды. Из всего моего выпуска в колледже только я и еще каких-нибудь два десятка человек получили приличное образование. А они там принимали в футбольную команду любого идиота-зубрилу, а меня считали недостойным этой чести, потому, видите ли, что какой-то выживший из ума старикашка считал, что мы все должны усвоить коническое сечение. Армия мне глубоко противна. Деловая жизнь тоже. Я влюблен во всякую перемену и убил в себе совесть.

— И будете кричать на всех перекрестках, что нам следует двигаться быстрее.

— Это хотя бы бесспорно, — не сдавался Эмори. — Реформы не будут поспевать за требованиями цивилизации, если их не подгонять. Политика невмешательства — это все равно как баловать ребенка, уверяя, что в конце концов он станет порядочным человеком. Да, станет — если его принудить.

— Но вы сами не верите во все эти социалистические бредни.

— Не знаю. До разговора с вами я об этом серьезно не задумывался. Во многом из того, что я сказал, я не уверен.

— Вы меня удивляете, — сказал толстяк. — А впрочем, все вы такие. Говорят, Бернард Шоу, несмотря на все свои доктрины, самый прижимистый из драматургов, когда дело касается гонорара. Не уступит ни фартинга.

— Что ж, — сказал Эмори, — я просто констатирую; что во мне говорит пытливый ум беспокойного поколения, и я имею все основания поставить свой ум и перо на службу радикалам. Даже если бы в глубине души я считал, что все мы — слепые атомы в мире,

который теснее, чем размах маятника, я и мне подобные стали бы бороться против отжившего, пытаться на худой конец заменить старые прописи новыми. В разное время мне начинало казаться, что я правильно смотрю на жизнь, но верить очень трудно. Одно я знаю. Если не посвятить жизнь поискам святого Грааля, можно провести ее не без приятности, в преданье.

Минуту оба молчали, потом толстяк спросил:

— Вы в каком университете учились?

— В Принстоне.

Толстяк как-то сразу оживился. Выражение его очков слегка изменилось.

— У меня сын был в Принстоне.

— В самом деле?

— Может быть, вы его знали. Его звали Джесси Ферренби. Он убит во Франции, в прошлом году.

— Я очень хорошо его знал. Могу даже сказать, что он был одним из моих ближайших друзей.

— Он был... хороший мальчик. Мы с ним были очень дружны.

Теперь Эмори заметил сходство между отцом и погибшим сыном, и ему уже казалось, что он с самого начала уловил в лице толстяка что-то знакомое. Джесси Ферренби, тот, что завоевал корону, которой он сам домогался. Как давно это было. Какими они были детьми, лезли из кожи вон ради синих бантов...

Автомобиль замедлил ход у въезда в обширное владение, обсаженное густой изгородью и обнесенное высокой железной оградой.

— Может, заедете ко мне позавтракать?

— Большое спасибо, мистер Ферренби, но я спешу.

Толстяк протянул ему руку. Эмори было ясно, что тот факт, что он знал Джесси, намного перевесил неодобрение, которое он заслужил своими еретическими взглядами. Как могущественны призраки! Даже человек пожелал пожать ему руку.

— До свидания! — крикнул толстяк, когда машина стала сворачивать в ворота. — Желаю удачи вам и неудачи вашим теориям.

— И вам того же, сэр! — отозвался Эмори, улыбаясь, и помахал ему вслед.

«ОТ КАМЕЛЬКА, ИЗ КОМНАТЫ УЮТНОЙ...»

До Принстона оставалось еще восемь часов ходьбы, когда Эмори сел отдохнуть у дороги и окинул взглядом тронутую морозцем окрестность. Природа, думалось ему, если понимать ее как нечто в общем-то грубое, состоящее по преимуществу из полевых цветов, которые при ближайшем рассмотрении оказываются поблекшими, и муравьев, вечно снующих по травинкам, таит в себе одни разочарования; куда предпочтительнее природа в виде неба, водного простора и далеких горизонтов. Сейчас мороз, предвестник зимы, будоражил его, вызвал в памяти отчаянную схватку между командами Сент-Реджиса и Гротона, с которой прошла целая вечность — семь лет, и осенний день во Франции год назад, когда он залег со своим взводом высокой траве и выжидал, прежде чем тронуть за плечо пулеметчика. Он видел обе картины разом, и обе воскрешали в душе наивный восторг — две игры, в которых ему довелось участвовать, по-разному азартные, но равно далекие от Розалинды и от темы лабиринтов, к чему в конечном счете свелась его жизнь.

«Я эгоист», — подумал он.

«Это свойство не изменится от того, что я буду „видеть чужие страдания“, или „потеряю родителей“, или стану „помогать людям“.

«Эгоизм — не просто часть моего существа. Это его самая живучая часть.

Внести в мою жизнь какую-то устойчивость и равновесие я могу не освободившись от эгоизма, а скорее шагнув за его пределы.

Нет тех достоинств неэгоистичной натуры, которые я не мог бы использовать. Я могу принести жертву, проявить сострадание, сделать другу подарок, претерпеть за друга, отдать

жизнь за друга — все потому, что для меня это может оказаться лучшим способом самовыражения; но простой человеческой доброты во мне нет ни капли».

Проблема зла для Эмори претворилась в проблему пола. Он уже начал отождествлять зло с фаллическим культом у Брука и раннего Уэллса. Неразрывно связанной со злом оказалась красота — красота, как непрерывное волнение крови, мягкая в голосе Элинора, в старой песне ночью порой, безоглядно бушующая, как цепь водопадов, полуритм, полутьма. Эмори помнил, что всякий раз, как он с вожделением тянулся к ней, она поворачивалась к нему лицом, перекошенным безобразной гримасой зла. Красота большого искусства, красота радости, в первую очередь — красота женщины.

Слишком много в ней общего с развратом и пороком. Слабость часто бывает красива, но добра в ней нет никогда. И в том новом одиночестве, на которое он обрек себя во имя еще неясной великой цели, красота не должна главенствовать; иначе, оставаясь сама по себе гармоничной, она прозвучит диссонансом.

В каком-то смысле это постепенное отречение от красоты было следующим шагом после окончательной потери иллюзий. Он чувствовал, что оставляет позади всякую надежду стать определенного типа художником. Казалось настолько важнее стать определенного склада человеком.

Мысль его сделала крутой поворот, и он поймал себя на том, что думает о католической церкви. У него сложилось убеждение, что тем, кому нужна ортодоксальная религия, недостает чего-то важного, а религия для Эмори означала католичество. Вполне возможно, что это не более чем пустой ритуал, но, видимо, это единственная неизменно действенная защита от падения нравственности. Пока у широких масс не удастся воспитать нравственные критерии, кто-то должен кричать им «Нельзя!». И, однако, принять это для себя он считал пока невозможным. Для этого требовалось время и отсутствие нажима со стороны. Требовалось сохранить идею в чистом виде без внешних украшений, до конца осознать направление и силу этого нового разбега.

После трех часов целительную прелесть осеннего дня сменило золотое великолепие. Еще позднее он прошел сквозь ноющую боль заката, когда даже облака словно исходили кровью, и в сумерки оказался возле кладбища. Там темно и тихо пахло цветами, в небе чуть наметился лунный серп, шевелились тени. Внезапно у него возникло желание отомкнуть ржавую железную дверь склепа, встроенного в склон холма, — склепа, чисто вымытого дождем, поросшего поздними немощными водянисто-голубыми цветами, может быть, выросшими из чьих-то мертвых глаз, липкими на ощупь, издающими запах гнили.

Эмори захотелось почувствовать, что значит «Уильям Дэйфилд, 1864».

Он подумал, почему это могилы наводят людей на мысль о тщете жизни. Сам он не видел ничего безнадежного в том, что какое-то время прожил на свете. Все эти поверженные колонны, сцепленные руки, голубки и ангелы дышали романтикой прошлого. Он подумал, что было бы приятно, если бы через сто лет кто-то молодой стал гадать, какие у него были глаза, карие или синие, и от души понадеялся, что его могила будет производить впечатление очень, очень давнишней. Станным показалось, почему из длинного ряда надгробий солдатам Гражданской войны только два или три вызвали у него мысль об умершей любви и умерших любовниках, хотя они были точь-в-точь такие же, как и остальные, во всем, вплоть до облепившего их желтоватого мха.

Далеко за полночь он различил впереди башни и шпили Принстона, кое-где освещенные окна и вдруг, из прозрачного мрака — колокольный звон. Звон этот длился, как бесконечное сновидение, дух прошлого, благословляющий новое поколение, избранную молодежь из мира, полного пороков и заблуждений, которую все еще вскармливают на ошибках и полузабытых мечтах давно умерших государственных мужей и поэтов. Новое поколение, день за днем, ночь за ночью, как в полусне выкрикивающее старые лозунги, приобщаемое к старым символам веры, обреченное рано или поздно по зову любви и честолюбия окунуться в грязную серую сутолоку, новое поколение, еще больше, чем предыдущее, зараженное страхом перед бедностью и поклонением успеху, обнаружившее, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана...

Жалея их, Эмори не жалел себя. Он чувствовал, что какое бы поприще ни ждало его — искусство, политика, религия, — теперь он в безопасности, свободен от всяческой истерии, способен принять то, что приемлемо, скитаться, расти, бунтовать, крепко спать по ночам...

Он не носил в сердце бога, во взглядах его все еще царил хаос по-прежнему была при нем и боль воспоминаний, и сожаление об ушедшей юности, и все же воды разочарований не начисто оголили его душу — осталось чувство ответственности и любовь к жизни, где-то слабо шевелились старые честолобивые замыслы и несбывшиеся надежды. Но — ах, Розалинда, Розалинда!

— Все это в лучшем случае слабое возмещение, — произнес он печально.

И он не мог бы сказать, почему бороться стоит, почему он твердо решил без остатка тратить себя и наследие тех выдающихся людей, которых встретил на своем пути.

Он простер руки к сияющему хрустальному небу.

— Я знаю себя, — воскликнул он, — но и только!

Объяснение автора

Я не хочу рассказывать о себе, так как — признаюсь — я уже сделал это в своей книге. Фактически на её написание ушло три месяца; на замысел — три минуты; на сбор материала — вся моя жизнь. Идея её написания возникла в первых числах июля прошлого года, в качестве замены чересчур бурному образу жизни.

Всю свою теорию творчества я могу сформулировать в одном предложении: «Автор должен писать для молодежи своего поколения, для критиков следующего и для профессоров всех последующих».

Итак, господа, прошу вас рассматривать все коктейли, упомянутые в этой книге, как выпитые мною за здоровье членов Американской ассоциации книгопродавцов.

Май 1920,

искренне Ваш, Ф. Скотт Фицджеральд.

[этот текст прилагался к третьему изданию «По эту сторону рая»]

Перевод А. Руднева. The Author's apology.

Екатерина Бачурина «Я хочу рассказать вам о книге...»

Дорогой друг! Я хочу рассказать тебе о книге Фрэнсиса Скотта Фицджеральда «По эту сторону рая». Читал ли ты ее? Если нет, то послушай меня. Почему-то, не знаю почему, но книга эта не стала популярна, как другие книги Фицджеральда, может быть, именно поэтому ты и не прочитал ее? Вот ты спрашиваешь, почему она не популярна, а знаешь, по-моему, ее просто никто не понимает. Помнишь замечательные слова Уайльда о том, что ненависть девятнадцатого века к реализму похожа на ненависть Калибана, увидевшего себя в зеркале? Вот и наш мир увидел себя в этой книге, как в зеркале, и разъярился. Это первое большое произведение, написанное Фицджеральдом. Он был молод, беспечен и потрясающе талантлив, поэтому первый свой роман он написал о себе, о своем времени и о месте человека в этой жизни. «Писать нужно для молодежи собственного поколения, которое придет на смену, и для профессоров всех поколений,» — слова самого Фицджеральда.

Мне кажется, что главный герой — это сам автор, это его поколение, это каждый человек, это я и ты. Когда я читала книгу в первый раз, я почему-то увидела в Эмори идеал, когда я читала книгу в седьмой раз, я увидела в нем себя.

Каждый год я перечитываю роман, и каждый год я вижу в характере Эмори все больше и больше знакомых черт. Ты знаешь, все мои друзья и враги, все мои соседи и товарищи похожи на него. Один улыбается, как Эмори, второй говорит, как Эмори, а я, я живу, как

Эмори. Он — это я, а я — это он. Странно, правда? Боюсь, ты не понимаешь меня, так ведь? Да не возражай, я это знаю. Все довольно-таки просто: ты не знаешь, кто такой Эмори.

Эгоизм, позерство, лень — вот главные его черты. Он личность. В нем есть острота ума, но нет смекалки, есть тщеславие, но нет гордости. Он не способен сильно любить, ему по-настоящему никто не нужен, но он не способен и предавать. Что ж, никто из нас не способен на сильную любовь. Видел ли ты когда-нибудь таких влюбленных, которые любили бы друг друга три года подряд? Хотя бы три года? Я не видела. Любовь, если она вообще существует, не продолжается дольше, чем один-два месяца. А если мы любим всего два месяца, можно ли назвать такую любовь сильной? И вспомни, я ведь не говорила тебе, что Эмори неспособен любить, нет, он любил, но любил по-настоящему, так, как любили бы ты или я — не со страстью, но увлеченно.

Все же я не буду утверждать, что Эмори — точная копия каждого из нас. Этого просто не может быть. Но Фицджеральд проделал огромную работу: он собрал в своем Эмори всех молодых людей на свете. Получается, что он скрестил между собой миллионы характеров и вывел портрет Молодого Человека на все времена.

Знаешь, существует фраза о том, что юность всегда бессердечна, а бессердечный человек просто обязан быть эгоистом, ведь так? Вот эту-то бессердечную и эгоистичную юность и изобразил Фицджеральд в своем романе. Юность всегда в поиске, юность всегда в дороге. И еще, ты слышал о «потерянном поколении»? Так говорят о молодежи десятых и двадцатых годов нашего с тобой века. Они были в дороге. Они были в поиске, как и положено юности, но они потеряли себя. Их надежды, мечты и планы сжевала война. Их пуританскую мораль смял декаданс, их будущим была вторая мировая война. Они, как и Эмори, потеряли себя, в них остались лишь пустота и неверие. Ты знаешь, я боюсь, что и со мной случится такое. Я боюсь, что, разочаровавшись в жизни, я тоже стану себе не нужна, а если ты не нужен себе, есть ли тогда смысл жить?

Мир, который построил себе Эмори, развалился на его глазах, что происходит с каждым молодым человеком. Это пора взросления. Все мы пройдем через это, а выжив, либо потеряем себя, либо станем такими же машинами, как люди вокруг нас. Я боюсь этого, а ты? А самое страшное, что оба финала одинаково нелепы. Превратившись в машины, мы никогда не будем счастливы, как не бывают счастливы будильники и гаечные ключи. Потеряв себя, мы тоже не будем счастливы, так как счастье — это гармония, а о какой гармонии может идти речь, если мы не единое целое, а лишь часть того, чем были раньше. Это закон. Хорошо жить, если ты его не знаешь. Если ты обыватель, не думающий и не страдающий вместе с миром — ты не поймешь сути, но если в тебе все же есть зачатки того, что обычно принято называть душой, то, прочитав Фицджеральда, ты поймешь, что у нас нет будущего.

«По эту сторону рая» — это не просто книга, это, как и «Мастер и Маргарита» Булгакова — необъятное пространство. Обе книги можно бесконечно продолжать как в одну, так и в другую сторону, как придумать что-то новое в начале, так и продолжать с конца.

Книга — крик поколения. Отчаянный крик людей, не надеющихся ни на что. Эмори — это путь взросления человечества. Путь, через который пройдем все мы — от человека, начинающего думать (12-15 лет), до человека, начинающего жить (здесь нет определенного возрастного порога, для каждого человека — он свой).

Книга — крик поколения, понимающего, что нельзя жить прошлым. «...дух прошлого, благословляющий новое поколение, избранную молодежь из мира, полного пороков и заблуждений, которую все еще вскармливают на наших ошибках и полузабытых мечтах давно умерших государственных деятелей и поэтов. Новое поколение, день за днем, ночь за ночью, как в полусне выкрикивающие старые лозунги, приобщаемые к старым символам веры; обреченное рано или поздно по зову любви и честолюбия окунуться в грязную серую сутолоку, заряженное страхом перед будущим и поклонением к успеху...». Новое поколение... Оно ведь каждый раз новое — в двадцатых — свое, в шестидесятых — свое, и сейчас, в девяностых — тоже свое. Но неужели в шестидесятых или тридцатых люди думали иначе, чем сейчас? Неужели тогда они ратовали за иное? Все течет, ничто не меняется! Все мы всегда боролись за одно, искали одного, мечтали о том же. Молодежь снова и снова ищет

свободы, каждый раз думая, что делает это в первый раз. И мы не можем сказать, почему бороться стоит, почему мы решаем тратить себя без остатка, сгореть, любить, бунтовать и возрождаться из пепла. Мы, новое поколение, понявшие, что все боги умерли, все войны отгремели, всякая вера подорвана. Мы! Неужели нам с тобой нужно другое, не то, за что боролись, будучи молодыми, наши дедушки и бабушки?

Книга Фицджеральда — на все времена, для всех молодых. Это мы, это наши печали, это наше будущее.

Путь становления личности — основная идея романа.

Ты знаешь, как заканчивается эта книга? Она заканчивается фразой «Я знаю себя, но и только!» Вдумайся, прочитай еще раз, а теперь скажи мне, для чего ты живешь? Ну, почему ты опустил глаза? Не плачь, не нужно плакать!

Примечания

1

«Галантные праздники» (фр.).

2

Хенти Джордж Элфред (1832-1902) — английский журналист, написавший несколько авантюрно-исторических романов для детей.

3

«L'Allegro» — ранняя поэма Джона Мильтона (1608-1674), в которой автор изображает себя беззаботным юношей, наслаждающимся созерцательной жизнью на природе.

4

Таркингтон Бут (1869-1946) — американский прозаик и драматург, автор романа «Джентльмен из Индианы». Воспитанник Принстонского университета.

5

Филлипс Стивен (1868-1915) — английский поэт. Филлипс Дэвид Грэм (1867-1911) — американский писатель, автор нескольких пьес в стихах. Был близок к литературному движению «разгребателей грязи», написал несколько нашумевших романов о положении женщины в американском обществе.

6

«Безжалостная краса» (фр.) — стихотворение Китса.

7

Джонсон Сэмюел (1709-1784) — знаменитый английский лексикограф и писатель. Его друг и почитатель Джеймс Босуэлл (1740-1795) составил жизнеописание доктора Джонсона, считающееся классическим образцом жанра литературной биографии.

8

«Ода к соловью» — знаменитое стихотворение Джона Китса (1795-1821). Из него Фицджеральд взял эпиграф и заглавие романа «Ночь нежна».

9

Бус Вильям (1829-1912) — английский филантроп, основатель общества «Армия спасения» (1865).

10

«Новый Макиавелли» (1910) — роман Герберта Уэллса (1866 — 1946), пропагандирующий идею союза ученых и предпринимателей для осуществления социальных реформ.

11

«Мэссис» — американский литературный ежемесячник. в котором печатались Джон Рид и другие передовые писатели эпохи. Был закрыт в 1917 г. за антивоенную агитацию.

12

Крам Ральф Адамс (1863-1942) — американский архитектор и писатель, крупный специалист по истории готики. В 1911 г. перестроил собор св. Иоанна в Нью-Йорке, придав ему готические очертания.

13

Лодж Оливер (1851-1940) — английский физик; пытался научно обосновать идеи спиритов о возможности общения с умершими.

14

Бэрр Аарон (1756 -1836) — политический деятель времен Войны за независимость, вице-президент США в 1805-1807 гг.; Ли Генри (1756-1818) — генерал американской армии в годы революции.

15

Пэрриш Максфилд (1870-1966) — американский художник, иллюстратор и декоратор, прославившийся в начале века как поборник современного стиля в искусстве.

16

Лови мгновенье (лат.).

17

Не мешай жить по-своему (фр.).

18

«Лунный свет» (фр.) — стихотворение Верлена.

19

Очень (фр.).

20

Мадам де Монтеспан (1641-1707) — фаворитка Людовика XIV.

21

«Герой как великий человек». — Имеется в виду книга Томаса Карлайла (1795-1881) «Герои, культ героев и героические истории» (1841), в которой утверждается, что историю создают не народы, а великие одиночки.

22

«Бостонские барды и Херстовские обозреватели». — Иронически перефразированное заглавие сатиры Байрона «Английские барды и шотландские обозреватели» (1808), направленной против консервативной критики его времени. Бостон — в XIX и начале XX в. центр так называемых «браминов» — поэтов и критиков, тяготевших к европейской культуре. Газеты, издаваемые Херстом, пользуются репутацией «желтой» прессы.

23

Хилл Джеймс Джером (1838-1916) — крупный железнодорожный подрядчик, владелец нескольких промышленных банков.

24

Издалека
Льется тоска
Скрипки осенней —
И, не дыша,
Стынет душа
В оцепененье.

Час прозвенит —
И леденит
Отзвук угрозы,
А помяну
В сердце весну —
Катятся слезы (франц.)

25

«Христианская наука» — религиозная доктрина, суть которой — исцеление молитвой духовных и физических недугов. Сформулированная в 1864 г. Мэри Бейкер Эдди, эта

доктрина имела в США на рубеже XIX и XX вв. множество приверженцев.

26

Бернгарди Фридрих фон (1849-1930) — немецкий генерал, командовавший войсками Германии на Западном фронте в годы первой мировой войны. Лоу Бонар (1858-1923) — английский политический деятель, ставший в 1922 г. премьер-министром. Бетман-Хольвег Теобальд фон (1856-1921) — канцлер Германии в 1909-1924 гг.

27

«Каприз Олмейера» (1897) — роман, которым дебютировал Джозеф Конрад (1857-1924). Здесь уже намечена главная тема писателя — тема одиночества людей в буржуазном обществе.

28

Ньюмен Джон (1801-1890) — английский католический кардинал и религиозный писатель. С деятельностью Ньюмена связано обновленческое движение в англокатолицизме.

29

Сила жизни (фр.).

30

«Вечный покой» (лат.).